



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

2 (14)'2015

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Алёна ЯВОРСКАЯ

Общественный совет:
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Кирилл Ковальджи (Москва), Татьяна Липтуга (Одесса),
Марина Матвеева (Симферополь), Виктор Петров (Ростов-на-Дону),
Александр Петрушкин (Кыштым), Юрий Работин (Одесса),
Илья Рейдерман (Одесса), Анна Стреминская (Одесса),
Александр Хинт (Одесса), Евгений Черноиваненко (Одесса).

Издание журнала осуществляется при поддержке Одесского городского совета
в рамках программы «Сохранение и развитие русского языка в Одессе»

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2015

ПОЭЗИЯ

Одесса: Елена Росовская. Месторасположение моей земли. Стихи	4
Одесса: Екатерина Янишевская. «Есть слова, коим лучше уснуть во рту...». Стихи	9
Одесса: Валерий Юхимов. «Туман, уходя, оставляет босые следы на песке...». Стихи	15
Одесса: Елена Боришполец. Речка без устья. Стихи	20

ПРОЗА

Одесса: Сергей Остапко. Місто ПГТ. Рассказы	25
Одесса: Евгений Деменок. Легенда о происхождении одесского юмора. Рассказ	43
Одесса: Ольга Ильницкая. Игра в кубики не по правилам. Рассказ	53

«МЕГАФОН»

Преодолевая мерцание. Интервью с Александром Петрушкиным	58
Поэзия (Маргарита Ерёменко, Евгения Изварина, Наталья Косолатова, Дмитрий Машифьгин, Александр Петрушкин, Наталия Черных)	61

ПОЭЗИЯ

Москва: Константин Кедров. Ягуар листопада. Стихи	71
Москва: Вилли Мельников. «Пока матриарх не вернётся из ссылки...». Стихи	75
Москва: Елена Кацюба. Мороз рисует пальмы. Стихи	82
Курск: Александр Бубнов. ...А Каина манит сияя истина маниака... Палиндромические стихи	85

ПРОЗА

Одесса: Валерий Сухарев. Астролябия. Отрывки из романа	91
Симферополь: Марина Матвеева. Её небесность. Новелла	96
Одесса – Иерусалим: Евгений Кузьмин. Моя дорогая наставница. Рассказ	103
Одесса: Анастасия Зиневич. Кошачий апокалипсис. Рассказ	109

ПЕРЕВОДЫ

Роберт Фрост (переводы с английского Жанны Жаровой)	111
---	-----

ПОЭЗИЯ

Киев: Дмитрий Бураго. В диком поле горит водоём. Стихи	117
Тернополь: Алёна Васильченко. Гулливера разбудит дождь. Стихи	123
Москва: Арина Грачёва. Дорога в лето. Стихи	128
Липецк: Татьяна Скрундзь. Рыбы не знают ревности. Стихи	133
Москва: Анна Галанина. Грунтовка для тротуаров. Стихи	137
Екатеринбург: Юлия Безуглова. Над островом моим. Стихи	142

ПРОЗА

Москва: Светлана Солдатова. Под куполом мора. Рассказы	146
---	-----

ПОЭЗИЯ

Одесса: Владимир Кац. Венок сонетов. Стихи	160
Одесса: Илья Рейдерман. Мир переполнен словами. Стихи	166

«ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

Литературный журнал «Кольцо А». От редколлегии	170
Братск: Владимир Монахов. Древо познания тишины. Стихи	171
Москва: Анна Гедымин. Предчувствие тепла. Стихи	173
Москва: Юрия Ряшенцев. Всё, друг мой, бесконечно... Стихи	176
Москва: Галина Нерпина. Изобретение паруса. Стихи	180
Москва: Наталья Полякова. Сквозь копчёное окно электрички. Стихи	182
Москва: Роман Михеенков. Сакральный массаж. Рассказ	185

«ЛИТМУЗЕЙ»

Марк Тарловский. Весёлый странник. Глава 2. Стихотворные мемуары	189
---	-----

«ШКАФ»

Одесса: Евгений Голубовский. Человек собирает книги, книги собирают человека. <i>Эссе</i>	199
Москва: Емельян Марков. Поэтическая соль Евгения Чигрина. Рецензия	202
Москва: Александр Карпенко. О книге Левона Осеяна. Рецензия	205
Москва: Андрей Краевский. Механика небесных жерновов. Рецензия	206

ЕЛЕНА РОСОВСКАЯ

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ МОЕЙ ЗЕМЛИ

«АУСВАЙС»

фиолетовый берег, три домика, храм, лесок,
и покой, словно боженька выдал мне «аусвайс»:
мол, податель сего долетал до таких высот,
а потом упокоился с миром, кого-то спас.
мол, податель сего был банально убит, забыт,
обездвижен, оплакан и выброшен в добрый путь.
где смирился, ушёл с головой в безвозвратный быт.
фиолетовый берег, три домика, как-нибудь...
всё по плану, по делу, по правде, по самый крест:
и до жизни, и после жизни, и без неё.
мол, податель сего до сих пор безобразно трезв,
и живёт, и кому-то молится, и живёт.

СЕГОДНЯ

Месторасположение моей земли не случайно,
спрятана она в большой золотистой коробке.
То, что было явным, теперь становится тайным,
то, что было тягостным, теперь становится лёгким.
Вечность сидит, замурившись в белом сутробе,
держит в руках фонарь в виде мятной сосульки.
Я выхожу на улицу воздух руками трогать,
и замираю в центре чьего-то дня и рисунка.
Мимо проходит дерево, машет зелёной веткой,
светится на верхушке его ангел в янтарной шубе.
Шепчет мне ангел: «Главное – не говорить об этом,
главное – просто верить и всё непременно будет...

№ 16 И ДРУГИЕ

...где-то в далёком прошлом...

Первый ангел всегда улыбчив, и сквозь стекло
Он приветливо машет рукой, пролетая мимо.
И шестнадцатый номер слышит: ну здравствуй, Ло,
Что в кармане, опять обломки от Хиросимы?



Ло качает большой головой, и жуёт бамбук,
Он боится великих ангелов всех почти что.
Только первый надёжный и настоящий друг,
Угощает конфетами часто, и дарит книжки.

На пижаме у Ло нарисован сакральный знак,
Под кроватью коробка, в коробке живые души.
Ло – шестнадцатый ангел, путливый, смешной дурак,
Любит снег, Челентано и много ночами кушать.

По команде подъём, стустки каши, затем драже.
И собачки зелёные прыгают в коридорах.
Над обломками Хиросимы летает шерсть,
И живые души в коробке глотают порох.

А затем тошнотворный и едкий дождливый день,
Пресный ужин: на дне тарелки комочек фарша.
Ло не любит мясо, он должен спасать детей,
И бежать, что есть сил, и как можно, как можно дальше...

Гасят свет, первый ангел трубит отбой,
Очищает от солнечной кожицы мандарин.
– Всех простил, шестнадцатый, правда? Ну, Бог с тобой.
– Накорми живые души, мой Господин.

МАШЕНЬКА

Все детали сегодня важны, потому что
Будет Машенька ёлку одна украшать:
Черепашки, снежинки, солдатики, пушки
И на самой верхушке оранжевый шар.

Так спокойно, снегурка и дед краснощекий,
Ни беды, ни еды, только снег и луна.
Очень хочется праздника, пряников, сока,
И немного здорового крепкого сна.

За окошком сиротствуют город и ветер,
А на праведном небе сиротствует Бог.
На земле же хватает гробов и отметин,
Правда, в этом году было больше гробов.

Жаль, чудес не случилось, и Машеньке ясно,
Что подарки под ёлкой – родительский трюк,
Но сегодня под ёлкой дырявая каска,
И уродливый старый угрюмый утюг.

Сон приходит внезапно, целует в затылок,
Время сладкое, будто бы сахар-песок,
Предлагает на выбор: верёвку и мыло,
Или небо, разорванное под шансон,

Под весёлые вспышки и грохот крошечный.
Но за небом дорога из белых камней.
И в саду Гефсиманском молящийся грешник
Так доверчиво смотрит и плачет о ней,

О единственной маленькой глупенькой Маше,
О прощённых убийцах и добрых царях,
О смертельно здоровых и временно павших,
О земле плодородной и мёртвых морях.

И остаться бы здесь, и прилечь под оливой,
И, свернувшись калачиком, плакать о том,
Что сегодня зима и сегодня мы живы
В нашем городе-голоде полупустом.

Но часы замирают от воя сирены.
Сон уходит без боя, сдавая дома.
Мапа делит людей на героев и пленных,
На сошедших с небес и сошедших с ума.

Город дышит огнём без единого шанса
Сохранить прежний вид до скончания лет.
Мапа кутает ёлку в своё одеяльце
и твердит: мамынетпапынетмашинетбога...нет.

ЛУТИСТ

странные праздники, небо качается,
тело по улицам плавает медленно.
что-то случится, наверное, в пятницу:
мальчик Артур до сих пор ищет Мерлина.

схема известная: детство наивное
(тайне писал тебе письма). без паники,
долго качается небо фиктивное,
я – не – хочу – эти – странные – праздники!!!

лозунг в окне: дураками становятся,
плавают буквы по ходу истории.
пятые сутки бега и бессонница.
письма хранятся в твоём крематории.

мысли и те на двоих – уравнение,
выжжены солнцем в моём подсознании,
Мерлин не жалуется маленьких гениев,
он награждает их небом и манией.

давит на психику рыхлое прошлое:
дети задорные, барды, ботаники,
томные женщины, боги дотошные,
крепкие челюсти, тульские пряники.

праздники, праздники, душ формалиновый.
все пиротехники в полночь расстреляны.
мальчик Артур с головой пластилиновой
в пятницу встретит великого Мерлина.

ХРУТ

...жил, ибо ты создал, умер, ибо ты призвал...

Вот первый снег пришёл на остров Хрут,
И остров море поманил на берег.
В пустых домах захохотали двери,
А после упокоились к утру.

На небосводе сером и сыром
Висело солнце, словно белый камень,
И деревья костлявыми руками
Ловили обезумевших ворон.

«Помилуй, Боже, грешного меня», –
Монах Игнатий принялся молиться.
Ему всё чаще снились чьи-то лица,
И младший брат на линии огня.

Пришёл декабрь, жесток и нелюдим,
Он стекла бил в замёрзшем старом храме.
Монах Игнатий, потерявши память,
неделю куда-то не выходил.

Творил молитву, после долго спал.
И снился брат – весёлый и свободный,
А вместе с братом – Николай угодник,
И зеркала, ведущие в астрал.

И был январь, голодный сирота,
Он в ледяной рубахе шёл над морем.
Монах Игнатий с январём не спорил.
На небосводе солнечный янтарь

Висел покорно. Теплилась свеча,
Монах Игнатий спал, творил молитву,
И видел брата с веточкою мирта:
Брат улыбался и молчал, молчал.

И был февраль, юродивый слепой,
Он обнимал рукой дрожащей остров,
Как будто сам недавно принял постриг
И шёл теперь монашеской тропой.

Последний снег укрыл дощатый пол,
Где схимник спал и видел сон о брате.
Брат прошептал: пойдём домой, Игнатий.
И сон, как отзвук колокола, смолк.

ВСЁ БУДЕТ

Лишь раз в году и раб, и господин
спешат к своим столам одновременно.
Домохозяйки, вырвавшись из плена,
С мужьями проплывают вдоль витрин.
И пьют вино старушки и спортсмены:
салют, чин-чин.

Под детский хохот режут оливье,
труба дымится, печь дрова глотает,
и Герда отправляется за Каем.
Больной, с улыбкой, поправляет плед,
как будто понял главную из тайн,
что Бога нет.

А Бог летит на синем корабле
над гордой Ригой, над мостом Нью-Йорка,
над Сомали, над фермами и фьордом,
И девочке со спичками теплей.
Промозглый ветер, кажется, надолго
приник к земле.

ЕКАТЕРИНА ЯНИШЕВСКАЯ

«ЕСТЬ СЛОВА, КОИМ ЛУЧШЕ УСНУТЬ ВО РТУ...»

расскажи мне, откуда приходит смерть.
чёрный агат этих глаз разрезает меня пополам
я сделала всё, что нельзя. я любила тех, кого нет.
сочетание нужных черт. и воздалось мне по делам.

ай, расскажи мне, откуда приходит смерть.

расскажи мне, откуда приходит стыд.
из какой страны, из какой потайной двери.
раздеваться не страшно раньше, чем перейти на ты.
раздеваться проще, когда мертва. снаружи, или внутри.

ай, расскажи мне, откуда приходит стыд.

расскажи мне, откуда приходит ночь.
день кончается, когда хочется больше всего
впервые за много лет увидеть себя живой,
почувствовать в себе свет. и некому мне помочь.
колыбелью и тешу немое дитя – беду.

расскажи мне, куда я потом уйду.

как чайки заглушают крыльями шум прибоя
только хлеба им крошки,
как бормочет разбуженный засветло Коктебель,
так и я хочу говорить, говорить, говорить с тобою,
прикрывая ладонью рот, снимая покровы души,
каждое полнолуние, новолуние, каждую оттепель.

как плачет пастушья флейта в швейцарских альпах,
как гремит барабан из верблюжьей кожи в руках скитальца,
как трубит менестрель на параде любви к колбасе и салу,
так и я, так и я, так и я приношу в дом барвинки, мальвы,
и снимаю белье, и кружусь в откровенном словесном танце,
говорить бы с тобою до смерти, до смерти самой...

ибо стремление к телу любви есть суть,
ибо желанию нужного берега не найти –
остатся залиться кофе или ещё вздремнуть,
пусть придуманный стрелочник скрестит во сне пути,

перекрестит пути... ты всегда даже больше чем далеко,
с человеческой массой воюешь, где каждый за себя сам.
а я разливаю по блюдам – свежайшее молоко.
за победы твои всё же кланяюсь греческим небесам.

у меня нет войны, ни снаружи, ни изнутри.
караульный вселенской боли, сновидица наяву.
от любви, говорят, умирают. а я – смотри!
не такая. я как-то ещё живу.

сегодня утром, открыв газету, я с удивлением узнал,
что мир захвачен группой людей
с идеальными пальцами на ногах, чистыми пятками,
открытыми душами.
они забросали наш город снарядами красоты и правды.

пока я читал таблоид, в дом постучал полицейский,
лет сорока, спросил, можно ли пройти внутрь,
осмотреться немного,
старательно вытер ноги о коврик.
я обеспечил ему свободу действий.

и, закончив инспекцию жилых комнат,
коп выудил откуда-то сборник стихов Буковски
ударил им меня по лицу и сказал:
чертов Карл, какого [...] ты читаешь
эту сраную книгу два месяца, Карл?
возьми выходной на работе.
будь мужиком, дочитай её, впредь
никогда не поступай, как последний мудака,
со своими книгами.

потом я долго стоял на крыльце,
подглядывая за тем, как в другие дома
заходят копы, осуществляют досмотр
на наличие картин,
на любовь к животным
на бережное отношение к книгам.

кого-то даже арестовали.

софия, мир рухнет, но мы будем плоть и кровь,
летят годы, не вспомнить, какого престола наследник.
на дрожжах растут дети – молись, чтобы был здоров
наш долгожданный, наш выстраданный последний.

софия, мне купаньем райским в ту ночь показались твои уста,
я пошёл против всех, чтоб тебя целовать во всех арочках хаутплацц,
а в груди сколько лет клокочет, безрадостно барахлит, устал,
тем не менее, долг есть долг... и нам следует собираться.

хоть твердишь, что ты видела некогда дивный сон,
где звучало обрывочно «принсип» и «млада босна»,
пусть забралом послужит трон габсбургов,
вечный имперский закон,
но менять кортежи перед ратушей будет поздно.

со всех боков здравицы, празднична улица и свежа,
ветер под лобовым наши волосы столь беззаветно полощет.
мы прибываем в сараево, моя пылая госпожа,
погляди, сколько флагов! какая нарядная площадь!

и к столу не зовут, и присесть не могу,
ибо страх, древний страх, не дремлет
ибо скудный кусок заворачивают в фольгу
и швыряют мне прямо на землю.

отводят глаза, когда я стучу в окно,
набрасывают кант шторы, изрядно поеденной молью.
кому я здесь нужен со своею неспражничной тишиной,
со своею заслуженной болью?

в голове моей хор голосов, бесконечный пасхальный звон
мне, как гостю публичных домов и знатоку окраин,
не в новинку поймать пулей в лоб однозначное «пошёл вон!»
у нас нет лишних братьев. ты некогда взял своё, каин».

целовать тебя – и крестить. острым ногтем по животу
и ещё тебя целовать. талым снегом умыть – не спорь,
я уверена, есть слова, коим лучше уснуть во рту,
есть и песни, что стройно поются лишь только в скорбь,

и языки есть, которые зычно и гулко звучат,
языки, которые только проклятию и годны,
языки, на которых толковые люди молчат,
языки хазарских племён, избравших тропу войны.



в прошлой жизни я была жрицей,
когда билась в жару малярии,
меня рвали когтями птицы –
так началась моя брухерия.

я зазывала любого духа,
я спускалась в царство теней.
есть поцелуй не для губ, есть созвучия не для слуха.
но нет страшней человека, кто не ищет своих корней.

...поэтому, целовать тебя – небезопасный спорт.
это будто затеять во время лавины горячий спор,
будто бросить бульжник в витрину, швартоваться
в затопленном нефтью порту, искупаться в аральском море,
в день победы горланить куплеты вселенской скорби
и живые слова мёртвым грузом хранить во рту.

не трать время на тех, кто с тобой не в одной связи,
кто не в паре с тобой на весле, ненавидя хозяев галеры,
кто не делит с тобой постоянство любви, одиночество веры,
кто не брат во Христе, не сестра в Иегове, не пасынок во грязи.

не трать время, Алиса. твой кролик давно изжарен,
не клянись незнакомцам испить за компанию эликсир,
предание, как мир, старо: тебя гложут ночные кошмары,
знать, к сестре твоей, Маргарите, всё навевается Мессир.

не трать время на тех, кто в тебе не разжёт пожарище,
кто страшится твоей высоты, не решаясь пойти на взлёт.
не трать время, Изольда. Тристан тебе не товарищ,
он рождён спасать Корнуэлл, он за Корнуэлл и умрёт.

«...звери вошли и убили всех...»

когда наступает полярная ночь, исчезает не только свет,
но и смысл, и надежда на то, что всё кончится, как в кино:
непременно вернется друг, и Мухтар возьмёт верный след,
и уймётся злодей, и герои, обнявшись, утешатся тишиной.

когда наступит полярная ночь, наглухо дверь запри
ибо в юрту твою будет долго и нудно проситься зверь,
ибо волк будет выть, что подмёрз. эти лютые январь,
эти подлые марты губительны для зверей,
ни за что не верь.

а не то ведь ворвутся, тебя, как хозяина, первого, загрызут,
и ложе твоё займут, и детей твоих обглодают, и будут правы,
ибо всякий становится кроток, коль некая выгода на кону,
потому-то они и врут, и наивность твоя приходится им по нраву.

лучше перекумарь на дне вплоть до самой оттепели,
и какими речами тебя ни манили бы лисы рыжие,
не бери себе в голову, пусть будет всё равно тебе
...может, выстоишь. может, выживешь...

ну что же ты замер. скорее иди на свет:
сколько времени даром промаялись сущей дурью,
мы думали – выхода нет, и надежды, конечно, нет,
но неведомо как пережили очередную бурю.

неведомо, кто нас вывел из адового котла,
неведомо, кто отвел нас подальше от места схода
лавины, весеннего паводка, не дав нам сгореть дотла.
не дав захлебнуться, пока беззаботно болтали о непогоде.

пока мы сидели с тобою и тратили кислород,
да гадали судьбу по монеткам, латунным кольцам,
трясая над нами, пытаясь упрятать от всех невзгод,
усталый, немного задумчивый незнакомец.

как же глухо звучит – будто только ударили под ребро –
будто колокол медный в соборе Василия на покрова,
будто выглянул за окно – а там ливня бездушный шквал –
та мольба, что случайно включила в себя слова
– Боже, я не заметил всё то добро, которое ты мне дал,

я не заметил, как ты приходил в мой дом,
совершить исцеление душ, укрепление тел,
как протирали белой тряпочкой образа,
и глазами моими порочными ласково ты глядел
и слово готов был молвить моим не достойным ртом –
да вот только, как сильно б я ни хотел,
объективно – мне нечего рассказать.

я не заметил, как ты потушил огонь,
который меня, как тростинку, слизать бы мог,
я не заметил, как ангел забрался в мою ладонь,
и пел мне псалмы, когда я не мог заснуть,
терзаясь вопросами, есть ли на небе Бог,
и если он есть, какова во всем этом суть?

и когда ты ушёл, незамеченное добро
в котомку смотал, и раздал неким новым людям,
лишь мне предназначенное волшебство
я впервые почувствовал, будто меня

и ударили под ребро, и схоронили
за шахтой под угольной чёрной грудой,
будто я здесь совсем один, кроме меня – никого
вместо меня – никого, после меня – никого
не будет.

а ты ведь меня берёг от полымя да льда,
от аспиды и ужа, глупой жизни и глупой смерти,
и Бог знает сколько ещё ты бы мог мне дать.
...ты стоял за моей спиной, как же я тебя не заметил...

напиши мне стих о Лилит.
напиши о том, как Адам
любил – не перелюбить,
болел - не переболит,
как себя ломал пополам,

как грыз ногти в райском своём саду
как во всем видел замкнутый круг,
как сидел на адском своём заду
как просил сварганить других подруг,

как – ничтоже сумняшеся – бремя духовных скреп
зарыл под какой-то там яблоней за углом,
как змею на груди у себя, аки чадо, грел
как в любви искупавшись, чуть было не ослеп,
чуть ли не озверел. как назло

вторая была нежна, пахла кашей и завтраками в кровать
маслом чайного дерева, чуть-чуть широка в кости
с такими ужасно жить, но здорово умирать.

неисповедимы Твои пути.

ВАЛЕРИЙ ЮХИМОВ

«ТУМАН, УХОДЯ, ОСТАВЛЯЕТ БОСЫЕ СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ...»

ветер гонит следы в залив,
воздух прозрачен и тень легка,
если кто тебя так любил –
плачь обо мне, река.

волна загребает кролем песок,
душой и телом крепка,
вытекая в дверной глазок,
плачь обо мне, река.

стынет лист и рука холодна,
и над тобой река
мутнеет, только и ты одна –
плачь обо мне, река.

лёд нарастает день ото дня,
тяжелеет под ним строка,
и промерзая до самого дна,
плачь обо мне, река.

плачь в тишину, не тая греха,
в край, прощаясь с обрывом,
ты всё ещё плачь обо мне, река,
cry me a river.

гроза заплетала косы лиловым жгутом
и шнуровала покрывку моря крест-накрест,
набирало силу шато мутон
полнотелой грудью в объятьях дакнесс.

тьма, пришедшая с моря, набросила сеть,
собирая тройную подать с лампы
в туто наполненный боекорсет,
переживший рим и его упадок.

в порту прижимались к стенке слоны,
многозвенная цепь гудела от напряжения,
нарезные башенные стволы
ощупывали пространство и время.

одно из них протекало. в его дыру
смывались римские водостоки,
акведуки, разлуки и весь домен ру,
сработанный рабами на востоке.

откупорить гран крЮ, лиловая змея,
глаза закрыв, свернулась на подушке,
светает, и остывшая зола
сквозь сон бормочет пушкина на пушту.

так давно, что запах смазки затвора напоминает, ты всё ещё дома,
натасканный распознавать силуэт фантома
против солнца и на догонном курсе,
запуская руку в халатик нюрси.

так давно, что забыли за сбором ягод,
у деревьев уши, язык у ябед,
на вечерней поверке ряды реденют,
за майором петровым ушёл майор деев.

на границе тучи ходят стаей,
гремя огнём, сверкая блеском стали,
петух кукует третий раз подряд
пионерский боевой отряд.

трубач вызывает к спящим безмятежно,
под локоток товарищ мисс надежда,
богиня старокомсомольского пробела,
в кармане согревает парабеллум.

таки давно, в не лучшем из отечеств,
где, в силу уродённости, калечен,
и ямка на плече не от снежка,
чтобы к прикладу ладилась щека.

давно настолько, что ружейным изотопом
пропитана в полураспаде сфер,
ложится отпетая насмерть пехота,
рождённая в ссср.

ещё свежо. прошедшим ливнем
напоен воздух и луга,
и самолетик реактивный
роняет бомбу на врага.

задравший голову астрином
следит её земной полёт,
гроза окликнет дальним громом,
но прежде вспышку разольёт.

вот вспышка слева, вспышка справа,
накройся, пряча кисти рук,
давай, скорей под одеяло,
как наставлял нас военрук.

вода стоит в пустых глазницах,
стекает струйкою лазурь
в песочницу, игра зарница
и счёт с нулями амбразур.

за перелеском отголосок
той неоконченной игры,
где папиросы и матросы
под рельсы шпалами легли.

за полустанком полустанок,
следит за небом звездочёт,
роняет маленький гагарин
войны незавершённой счёт.

два валентных электрона,
атом цинка в бороде –
вся любовь, гормон с гармонью,
никогда, никак, нигде.

перевыпитых любовей
послевкусие бордо,
бредит бочкой сивый овен,
в ожидании годо.

бродит бочкой дух крылатый,
дуб набухший почку дал,
это всё виновник – пятый,
перевыпитый тантал.

это всё – удары грома,
провозвестники грозы,
по-над морем реют дроны –
все бараны сочтены.

вот они всплеснут, кудлаты,
златорунной чешуёй,
воспаряет скот рогатый,
мелкий скот с большой душой.

ещё не случилось, но предгрозовые разряды
сплетались змеисто, эльмы вконец опалели
на проводе коротко замкнутых взглядов,
батистовый занавес вздрагивал, вытянув шею,
на радость гальвани при каждом порыве из щели,

пока не был сброшен на спинку сутулого стула.
гроза подступала, примерная дочь адонаи,
читая раскатисто грозную ругань катулла,
в затылочной ямке стояла вода слюдяная,
чтобы обернуться козлёночком, к ней припадая,

и пить её долго. игристые капли катались как бусы,
их перебрать не хватило бы ночи, ложбинкой стекая,
пугливо, прятались в тень, пара зёрен робусты
отвердевали под пальцами, губы кусая,
и выше фудзи вставала волна хокуся.

море охрится, когда косой свежак
пилит волнами отмель, оглядываясь на восток,
искры песка обжигают, словно ручной наждак,
с визгом рвущий свой поводок.

разбойник сметает косу в бугаз,
шкурит унылый берег и сыплет опилки брызг,
воет струной электрички мост-контрабас,
с утра надравшейся вдрызг.

она размазывает тушь по стеклу,
её машинист сошёл на платформе с рельс,
пусть они не сойдутся в пасьянс, никому –
моряку, бригадиру, пилоту стелс...

дурной баклан вываливает язык,
упираясь крылом-костылём в поток,
его несёт в направлении оз.сасык
и не в помощь ему батог.

если бы он с тошнотой посмотрел вниз,
где рельсы сходятся, искривляя мост,
там зарёванная вскарабкалась на карниз
и со всхлипом выпрямляется в рост...

горизонт продавлен, старый матрас,
силою обстоятельств, выпавших на её веку,
линза пространства мутнеет, как рыбий глаз,
когда уже пофигу.

стынут скользкие русалки
в алюминиевом отливе,
опостылело русалкам,
что на них глядят брезгливо,
блекнет видимость заката,
пахнет заревом и дымом,
их водянка в три наката
под волной неутомимой,
там на дне морские раки
пилят цепи, точат якорь,
замирают зодиаки,
надышавшись аммиака,
тянут руки брадобрен,
мертвецы волочат сети,
упоительный вермеер
фотокамеру калечит,
эта камера обскура,
это камера платона,
тенью бродит птица кура,
носит тень яйца платона,
чахнет в поле экскаватор,
пограничная траншея
тянется ему в кильватер
строчным лаем москвошвее.

на крик ревуна туман приходит, развесив лосем рога,
разрезает сабвуфер и капли дрожат, и совсем провода
промокли, и соль оседает, чтобы слизал туман,
а ревун зовет корабли, уходящие в океан,
и некому дернуть стоп-кран.

постой, пароход, колотящийся дрожью, машина в ходу
и капли, как пальцы на поручнях, крепко вцепились, чтоб скрыть ерунду,
стучащую в левый висок, механический вой
настигает за мысом голодным волком конвой,
не разбирая, где свой.

кильватерный след крошится мелом на серой доске
и туман, уходя, оставляет босые следы на песке,
и ревун затихает под утро, а губы ещё солонь,
облизавшей их и утолённой волны,
и не вспомнить имя страны.

ЕЛЕНА БОРИШПОЛЕЦ

РЕЧКА БЕЗ УСТЬЯ

ЗАКАТ

*Это какая улица?
Улица Мандельштама.
О. Мандельштам*

Солнце садится без права на переписку,
Без права на весть о смерти,
Без права.

На Приморской улице тот же
Бессменный индекс.
Берег и берег соединяет
Старая переправа.

Клином все птицы,
Клином друг друга люди,
Чтобы не застояться,
И от еврейского счастья –
Вряд ли оно убудет –
Солнечное пространство.

Береговая линия
Тянется в поле зрения.
Все другие линии тянет кто-то ещё.
Ты ведь уже не спас меня,
Лучше не сохрани меня.
Солнце садится на западе,
А кажется – на плечо.

НА БОРТУ

*В эту тренья
скорость света есть скорость зренья;
даже тогда, когда света нет.
П. Бродский*

И не видно ни звезды, ни перекрёстка,
Ни подсвеченной огнями полосы.
Только слышно, как из плеера подростка
Контральто разгоняется в басы.

Мы летим над океаном беспокойным,
Над старухами с вязанием летим.
Бродский – он живой или покойный?
В середине где-то поместим.
Взбита облаков густая мяготь,
Чей-то пёс в багажном холоде сопит.
Стюардесса, не умеющая плакать,
Между делом совершенствует санскрит.
По собачьему, по вымытому телу
Вдовьи руки ненасытные прошлись.
С Рождества вдова в Италию хотела, –
К Рождеству удачно п/минки приплысь.
Но пока вдова расхаживает в чёрном,
И не в зоне жизни телефон,
Бабочка в обличье Джона Донна
Путешествует, как призрак за бортом.
В креслах пыль глотают старые журналы,
Всем вчерашнее жаркое подают.
Где вдова собаку летом подстригала,
Там сто шкур теперь с любого пса сдерут.
Если кто-то и летит до Мичигана,
Через Вену – шляпа, водка, чемодан,
То у бабочки не стало чемодана,
И без бабочки остался Мичиган.

ПОБЕГ

*Ты твердишь: «Я уеду в другую страну, за другие моря.
После этой дыры что угодно покажется раем...
К. Кавафис*

Если этот рассвет не достанет меня из сетей,
И не купит мне новое имя
И новые руки, –
То утащат меня рыбаки на спасательном круге,
Вслед за старой моторкой,
Не знавшей больших скоростей.

Но утонет быстрее, чем я, старичок у руля.
Скажет: «Если ты дочка
Любви на земле не видала...».

Я покину свой крут, только город я не покидала.
И со старой моторки неистово крикну:
«Земля!»

ПУТЕВОЙ ЛИСТ

Боги со мной не хотят мириться.
Говорят – прощение последнее дело.
Говорят, что ещё далеко не птица –
В городском акведуке всплывшее тело.

И меня морозит, трещат покровы,
Может это я под мостом почила
И не дожила до страстей и слова,
А доковыляла, перескочила.

А под пальмой лает собачья свора,
Юг взрастит ещё не такое чудо.
И несут покойницу вдоль забора,
На заборе пишут: «куда» «откуда».

АКАЦИЯ

Пока бульдог окучивал газон,
А гимн (не мой) входил в дверной глазок, —
Акация цвела душистым снегом,
И у соседа с потолка в тазок
Стекала не вода,
А голубое небо.
Пока ручьями воины в запас,
И полиэтилена чёрный класс
О них заботился, как шёлковые нити,
Оборки на гробах, не подведите!

Пока живые жили за троих,
А мёртвые писали этот стих, —
Мне ямб под абрикосом говорил: «скорее»
И убивал, как все, ослабшего хорей.

МУТНАЯ ВОДА

И она застыла, словно птица над мутной водой реки.
Ни упасть, ни перекреститься, ни взмаха одной руки.
Ни жирка под перьями, даже пера в крыле.
Нет крыльев в небе,
Тем более — на земле
И солнце заходит раньше, чем в воду уходит день.
И точно она не ястреб, не кошка и не олень.
И падает луч на водную злую муть,
И кто её видел, знает —
Зовут её — кто-нибудь.

Но так её любит небо без имени, без лица.
Такой её помнит речка без устья и без конца.
Сидит её старый демон всегда на краю пруда
И машет своим копытом
«Сюда, кто-нибудь, сюда!».

ВИДЕНИЕ

Иду по длинному ручью,
Несу в мешке судьбу ничью.
Там, где её борода отросла,
Нет ни плота, ни воды, ни весла.

Нет сизого голубя в голубятне,
Нет моего убийцы в подворотне,
Нет завода, что выпускает порох,
Даже каменщика зачатия.

Полой воды дождусь,
Мешок развяжу
Выйдет ничья,
Бороду сбреет свою у ручья,
Обнимет меня руками.
Она – мне камень
И я ей – камень.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Последний лист на абрикосе
Ноябрь сбреет для порядка.
Как пепел снитися папиресе,
Беспалой девочке – перчатки.

Как две породистые курвы
Ведут детей с похмелья в садик.
Так осенью несутся куры,
Как будто жизнь кончают сами.

Так Оська, шулер-горемыка,
Продав в кредит жильё и почку.
На хлеб теперь он мажет прикуп
И ждёт, как поц, билет до Сочи.

Так где-то лаяла собака,
Весь род её отменно лаял.
Так девочке беспалой папа
Купил нарядные сандалии.

ПРЕКРАСНАЯ АЛЁНА

То ли чёрную корону,
То ли белую ворону
Принесли

И на голову Елене, той,
Которая Алёна,
Прикрепили

Ели, ели
Пили, пили
Пили, пили

И любили половину от земли,
А другую половину не любили

Ой, Елена
Ах, Алёна
Страшный суд

Вон весы с большими чашами несут
Вон причалили не лодки –
Корабли –
Двух коней
Одну кобылу привезли.
Выбирай себе скорее часть земли,

Хочешь с косточками друга,
Хочешь без,
Хочешь стройные березы –
Тёмный лес,

Небо чистое,
Опавшая листва.
Языку не отвечает голова.

Ни вороны,
Ни короны –
Убрались.
Косы девичьи свободно
Расплелись

Ели, ели,
Пили, пили.
День за год.

Онемевшая Елена
У ворот

Пахнет памятью со страхом
Пополам.
А земля дается даром
Лишь ветрам.

Пахнет йодом.
Пахнет болью.

Пахнет городом палёным.
Завернувшись в свои косы,
Спит прекрасная Алёна.

СЕРГЕЙ ОСТАШКО

МІСТО ПГТ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Муза прилетала к нему во сне, но, не добудившись, улетала обратно...

Откровения от Морфея

ПОСЁЛОК, КОТОРЫЙ МЕЧТАЛ СТАТЬ ГОРОДОМ

Сколько Он себя помнил, Его всегда называли Посёлком Городского Типа. Хотя до «городского типа» Он явно не дотягивал. Так, небольшое село на обочине огромного лимана. В сорока километрах клекотала жизнь большого города, а у лимана царило полное спокойствие, изредка нарушаемое драками «улица на улицу». А так как улиц было всего две, то и драки происходили нечасто. Правда, раз года в четыре случалось и событие покрупнее – массовое побоище с соседней деревней. Этакое олимпийское троеборье местного значения: бокс, владение боевым сельхозинвентарём, и для проигравших – бег на малую марафонскую дистанцию от олимпийского выгона до своего населённого пункта. Место сражения служило постоянным пастбищем раздора, но, как и положено на олимпиадах, на время побоища все остальные боевые действия из-за выгона прекращались.

Других развлечений у жителей не было. Даже пьянства особого на селе не наблюдалось, хотя самогон гнали исправно. Мужиков в селе было раз-два и обчёлся, а от баб какая польза в смысле питания?

Сельчане особо не задумывались об отсутствии светских развлечений, а вот Посёлку их сильно не хватало. «Так вся жизнь пройдёт мимо», – думал он долгими зимними вечерами, вздыхая так, что избы начинали потрескивать, и старики, обратив взор на зандевшие стёкла, говорили, что такого мороза не припомнят. Происходило это каждый год и, следуя логике, за время жизни стариков уже давно должен был наступить ледниковый период.

Если бы Посёлок был человеком, Он бы бросил всё и уехал. Так поступали многие его жители. Учиться ли, работать ли – какое это имело значение? Главное – выбраться из обволакивающей безысходности. Но куда уедешь, если ты не человек, а всего лишь село. И оставалось лишь мечтать, что когда-нибудь Он станет большим, пусть районным, но всё-таки центром.

Изменения пришли неожиданно. Как-то мимо проезжал иностранец. То ли с деловым, то ли с дружественным, а то ли просто с визитом. Остановившись на высоком берегу и окинув взором окрестные красоты, он вздохнул полной грудью и молвил, как некогда русский царь: «Здесь будет город сооружен». С высказываниями царя иностранец знаком не был и даже вряд ли подозревал о его существовании, поэтому цитата получилась неточной. Но для Посёлка и эта неточная фраза, сказанная к тому же на непонятном языке, была как манна небесная. «Вот оно, начинается», – обрадовался Он.

Вскоре выяснилось, что радость была преждевременной, и для зарубежного благодетеля превращение села в город являлось не главной задачей.

Первым делом – на окраине появились вагончики строителей, вторым – зачем-то огородили всеми любимым выгон на берегу лимана, как потом оказалось, вовсе не из пацифистских соображений. И закипела работа. Рычали экскаваторы, визжали бетономешалки, чадил проносившиеся по сельским улицам КАМазы. Постепенно из-за трёхметрового забора начали вырастать не стройные жилые кварталы, как хотелось бы Городку, а уродливые переплетения труб, которые и в страшном сне не могли присниться даже иностранному инженеру Эйфелю.

Центральные СМИ во все рупора раструбили, что строится огромный завод, который положит начало целой отрасли. Это чрезвычайно радовало нашего героя. «Чем крупнее завод, тем больше рабочих, а значит и населения, и тем скорее я стану настоящим Городом», — думал Он. И постепенно его предчувствия начали оправдываться.

Сельские улицы заасфальтировали, что вызвало недовольство у местных коров, не привыкших бить копыта о твёрдое покрытие. Впрочем, до забастовок не дошло, так как в связи с отсутствием выгона поголовье крупного рогатого скота вскоре сократилось до одного зоотехника.

Главную улицу переделали из отрезка бывшего стратегического шоссе и превратили затем в пешеходную зону. Чтобы не ломать стратегию, иностранец проложил объездную дорогу, заставлявшую чертыхаться всех дальнбойщиков. За шоссе худо-бедно следили, а объездная дорога никакой сметой не предусматривалась. На центральной площади, расположенной, естественно, в центре, воздвигли трёх-этажную «высотку» мэрии с городскими часами на башне и чутунной табличкой «Мерия». Табличку отпили с орфографической ошибкой, но переделывать никто не стал. Наоборот, местные жители чрезвычайно гордились достопримечательностью, справедливо полагая, что такой ошибки нет больше нигде на просторах когда-то великой страны.

И бывшее село стало как две капли воды напоминать рабочие посёлки на родине иностранца. На иностранчине такие посёлки назывались городами, и наш герой приготовился с гордостью носить это имя.

Но недовольные всегда найдутся.

Поползли слухи, что завод чрезвычайно опасен, и именно поэтому иностранец решил построить его здесь, а не у себя дома, где такие вредные производства запрещены.

Чтобы пресечь слухи, завод объявили секретным, и с поступающих на работу стали брать подписку о неразглашении.

Кто-то сообразил, что секретным заводом не может владеть иностранец, и последнего сократили, впрочем, выплатив ему изрядную компенсацию.

Посёлок все эти события волновали мало. Для него было главным, что сам Он рос, жителей становилось всё больше, а его имя стало известно далеко за пределами, причём не только стараниями обиженного иностранца. Единственное, что огорчало нашего героя – пресловутая формулировка «городского типа», от которой никак не удавалось избавиться.

Шли годы. Завод, теперь уже национализированный, успешно функционировал на иностранном оборудовании, платил своим работникам зарплату и строил жильё, школы, детские сады. Однажды по просьбе Посёлка он воздвиг огромный Дворец культуры, который местные жители тут же стали называть *наш Оперный* и рассказывать, что подобного ему нет на всей европейской части. С тех пор Завод и Посёлок подружились, и их даже начали путать. Наш герой поделился с приятелем своей заветной мечтой, и тот обещал помочь. Они вообще старались помогать друг другу, особенно в трудные времена. А они вскоре и наступили.

Менялась страна, деньги, памятники. Как-то вдруг выяснилось, что раньше Посёлок назывался Селом, Хутором и даже Куренем. Появились люди, предлагавшие вернуть исторические названия, но с этим Посёлок смириться не мог, вплоть до лёгких земельных трясений.

Другие историки откопали, что именно в этом селе задушили одного русского императора. Зачем царю понадобилось переться через всю империю, чтоб принять удушение именно здесь, – этим вопросом историки себя не утруждали. Они даже предложили поставить царю памятник, не столько из любви к самодержавию, сколько из нелюбви к северному соседу. Против этого Посёлок не возражал, справедливо полагая, что в настоящем Городе памятников должно быть много.

С номерного предприятия через многочисленные дыры в заборе постепенно вынесли все секреты. В конце растащили и сам забор, а с массивной чутунной вывески «Почтовый ящик № ...» сбили номер, тем самым усугубив секретность. Посреди выгона осталась стоять проходная, охраняемая столетним дедком.

Дедок стоял насмерть со дня основания завода и пережил всех директоров. Увольнять старика боялись, так как на лапкане ветерана красовался значок «50 лет ВЧК-КГБ», и по его собственноручному утверждению: «Мне сам Феликс Эдмундович пропуск предъявлял». Сомневающимся дед предъявлял замусоленное до полной обезличенности удостоверение, которое могло бы оказаться читательским билетом в местную библиотеку, если бы: а) дедок умел читать и б) на корочке не красовалась собственноручная подпись: «Ж. Феликс». Подпись крепкий старик регулярно подновлял послушьявленным чернильным карандашом.

Завод же, несмотря на большие перемены, продолжал действовать и приносить стране изрядную прибыль. Он даже, чтобы порадовать друга, сделал ему ко дню рождения подарок – красивейший каскадный

фонтан, которому позавидовал бы даже Петергоф. И как оказалось, этот фонтан пролил последнюю каплю на мечту нашего героя.

Бьющие в небо струи, а вместе с ними и завод заметили наверху. «Как же так, – подумали свыше, – есть нечто, которое приносит абстрактную прибыль, а не конкретные бабки. Непорядок».

И завод выставили на аукцион.

А поскольку возникли опасения, что покупателей, готовых платить конкретные деньги за изношенное оборудование, не найдётся, решили повысить привлекательность лота, изменив статус его месторасположения.

И на въезде со стратегического шоссе вместо опостылевшей нашему герою таблички: «Посёлок Городского Типа» появился новый гордый, выполненный на государственном языке указатель «Мисто ПГТ».

КОЛЛЕКЦИОНЕР

Книга была где-то в городе. Это Коллекционер знал абсолютно точно. Вернее, чувствовал. Точнее, предполагал со стопроцентной степенью уверенности. Коллекционер никогда не ошибался в таких вещах и привык себе верить. Книга! Была! В городе!

Коллекционер очутился в нём случайно, – его «Москвич» заглох на объездной дороге, споткнувшись о небольшую ямку, на которой в других условиях он бы даже не подпрыгнул. Причиной инцидента стал водитель встречной фуры, выскочившей из-за поворота так неожиданно, что Коллекционер еле успел отвернуть. Впрочем, из-за малости радиуса кривизны объездной дороги предъявлять кому-либо претензии было бы глупо.

Выйдя из машины и чертыхнувшись вслед дальнобойщику, Коллекционер залез под капот и приуныл. Поломка оказалась не серьёзной, но вредной, и починиться своими силами не представлялось возможным. Коллекционер оглядел окрестности в поисках станции техобслуживания и вдруг почувствовал, что эта поломка неспроста. КНИГА НАХОДИЛАСЬ ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ!

Решение пришло мгновенно – надо задержаться и искать. Как по мановению волшебной палочки, из-за злополучного поворота появилась машина с надписью «Ремонтная». И уже через полчаса Коллекционер на ожившем «Москвиче» въезжал в город.

Легализоваться получилось просто. На столбе у мэрии висело объявление о продаже старого дома, причём за вполне умеренную цену. Особо требовательным к бытовым условиям Коллекционер не был никогда, хоть и в средствах стеснения не испытывал. Его антикварно-букинистический бизнес, оставшийся в другой стране, был отлажен настолько, что управлять им можно было из любой точки земного шара – по интернету.

Оформление покупки заняло на удивление мало времени, и первое, что сделал новоявленный домовладелец, вступив на порог своего домовладения, – это полез на чердак. На разборку накопившегося там хлама пришлось потратить несколько дней. Строение представляло собой чудом сохранившийся флигель бывшей помещичьей усадьбы. Чердак хранил отслужившие предметы домашнего обихода века за полтора. На языке обывателей это называлось мусор, а среди знатоков – раритеты. Когда Коллекционер рассмотрел их, стало ясно, что покупка дома оказалась удачной. Дом окупился полностью и даже принёс небольшую прибыль. Единственное, что огорчало, – отсутствие Книги.

Книга была заветной мечтой Коллекционера. Существовала она в единственном экземпляре и пока никому из серьёзных людей не принадлежала. В каком веке её издали, даже представить себе трудно, потому что даже папирусные книги так долго не живут. Что в ней написано, также никто не знал. Известно только, что называется раритет «Книга Счастья» и стоит невероятно дорого. Правда, для тех, кто знал её истинную ценность. Для остальных Она выглядела стопкой обветшалой бумаги, облачённой в такой же обветшалый переплёт. И существовала опасность, что нынешние владельцы могут принять папирус за бумагу и отнести Книгу в макулатуру.

О! Макулатура! Это идея! Коллекционер помнил времена, когда за дефицитную книжку люди готовы были отдать вещи гораздо более ценные, чем новоизданные Дюма и Джек Лондон. Собственно на макулатуре он и сделал свои первые деньги. Договорившись за бутылку с несколькими пунктами приёма, он стал рыться в кучах старых газет, и, поминутно чихая от пыли и миазмов прелой бумаги, выуживать непреходящие ценности.

Когда б вы знали, из какого сора вырастают ранее неизвестные стихи Анны Ахматовой, вы бы не морщили сейчас нос, а читали дальше.

Первые дни на приколоченную к дому Коллекционера вывеску «Пункт приёма макулатуры» никто не реагировал. И только когда он сделал внизу разъясняющую приписку: «старые газеты, журналы, книги», к нему потянулся народ.

К счастью, газет несли немного. Видимо, прежние книжно-дефицитные времена изрядно порастрясли старые запасы, а новых печатных СМИ здесь не выписывали, предпочитая узнавать новости по телевизору. Журналы тоже не пользовались особой популярностью. Зато книг натаскали изрядно.

Больше всего приносили различные покёт-букные детективы, но попадалась и литература художественная. Много сдавали учебников – свидетельств обязательного среднего и выборочного высшего образования. Встречались научные и научно-популярные трактаты. Имелись в достаточном количестве детские издания сильно прошлых лет. Зачитанные до дыр, они приобрели ещё большее обаяние. Но главной Книги так никто и не нёс.

Томов набралось на добрую библиотеку районных размеров, которую Коллекционер со временем и открыл. Вначале он сомневался, что люди, продавшие свои книги, пойдут читать их же в библиотеку, но его сомнения быстро развеялись. Оказалось, что народ до сих пор тянется если не к знаниям, то, по крайней мере, к детективным покёт-букам.

Библиотека, кроме общественно-полезного значения, приносила конкретную пользу и её содержанию. Она давала возможность Коллекционеру расширить круг поисков. Теперь под предлогом закупки новых фондов он ходил по домам и перезнакомился с населением практически всего городка. Но к заветной цели не приблизился ни на шаг, хотя всё больше убеждался, что Книга где-то рядом.

Оставалась одна надежда – библиотека завода, но попасть в неё было проблематично, так как завод считался секретным, а допуска у Коллекционера, как у представителя другого государства, естественно не было. Наш герой уже подумывал под покровом темноты проникнуть в заводоуправление, но тут помог случай.

Однажды в его библиотеку зашла девушка. День выдался пасмурным, но Коллекционеру вдруг почудилось, что солнце вспыхнуло внутри дома и осветило своей улыбкой убогие самодельные стеллажи. Каждый потёртый книжный переплёт засиял, будто бы только-только после реставрации, а паутина по углам приобрела радостный золотистый цвет.

Девушка оказалась заведующей той самой заводской библиотекой, и пришла с деловым предложением. Предложение начиналось со слов: «Как вы, наверное, знаете, завод сейчас переживает не лучшие дни...». Дальше Коллекционер не слушал, но вовсе не потому, что не лучшие дни переживала вся страна. Журчание нежного голоса буквально заворожило его, закружило, сделало бестелесным и вознесло на вершину блаженства. Он даже не сразу понял, что судьба послала ему долгожданный шанс, и только услышанное как бы с небес слово «Книга» вернуло его на землю.

– Что?.. – приходя в себя, выдавил он.

Девушка слегка озадаченно взглянула на Коллекционера, и этот взгляд вызвал в нём очередной прилив эйфории. Пожав плечами, девушка повторила: руководство завода знает, что он покупает книги, и интересуется – не согласился бы он приобрести часть заводской библиотеки. Список у неё с собой.

Дрожащими руками Коллекционер взял список. Пробежав глазами строчки ничего не говорящих ему научно-технических терминов, он уткнулся в последнюю запись: «Дореволюционное рукописное пособие на иностранном языке. Сохранность плохая. Текст практически выпел. Особой ценности не имеет». «ОНА!» – почувствовал Коллекционер.

– Сколько вы хотите за это? – дрожащим от волнения голосом прошептал он.

– Все фонды стоят пять тысяч, но можно поторговаться, – сказала девушка и взглянув, куда упирается его палец, добавила, – а это, если договоримся, мы можем вам презентовать.

В ожидании он не мог найти себе места. Ещё совсем немного, и сбудется мечта всей его жизни – он увидит Её. Её глаза, волосы, услышит её голосок... Впрочем, какие глаза и волосы. Он же ждёт Книгу! Книга не умеет говорить. Просто её голосок может очаровывать... Опять! Наваждение какое-то...

Он даже не услышал, когда подъехала машина, и только когда солнышко вновь вошло в его дом, пришёл в себя.

– Вот, пожалуйста, наш презент, – сказала девушка и протянула ему свёрток.

Как величайшую драгоценность, он взял в руки Книгу и раскрыл её. Первая страница была чистой. Вооружившись сильной лупой, он изучил поверхность листа и убедился, что никакого выпетшего текста там нет. Коллекционер перевернул страницу и обнаружил, что там тоже ничего не написано. Так же как и на следующей, и на следующей, и на следующей... «Да что же это такое?» – разволновался Коллекционер. Книга Счастья сияла нетронутой белизной.

И только на заднем форзаце он обнаружил чуть видимую надпись: «Вот ты и нашёл своё счастье!». Коллекционер медленно закрыл книгу и поднял глаза на девушку.

ВОСЬМАЯ НОТА,

или

КЛАРНЕТ В РОССИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КЛАРНЕТ

Восьмая нота приснилась Пенделееву под утро. Он даже вначале не понял, что именно подняло его с постели. И только когда чистил зубы, вдруг осознал – вот же оно, открытие! И как всё просто! Даже удивительно, что никто раньше не додумался. Нота звучала в мозгу, не похожая ни на что слышанное ранее.

К музыке Пенделеев имел весьма отдалённое отношение. Просто любил хорошую и старался не замечать плохую. У него даже слух был, несмотря на регулярные подначки жены. Ну не любила она, когда муж по утрам напевал в душе. «Моему Дмитрию Ивановичу медведь на ухо наступил», – с очаровательной улыбкой клеветала она подругам.

Сама жена считала себя в музыке специалистом. Она работала гримёром в оперном театре, и ей приходилось часто общаться с вокальными знаменитостями, а один раз даже гримировать известного тенора. Правда, тенор к тому времени уже перешёл рубеж преклонного возраста, стал хуже слышать и поэтому никак не реагировал на её попытки завести светскую беседу. Тем более что говорила мастер макияжа по-русски, а тенор понимал только по-итальянски.

К домашнему эксперту и прибежал Пенделеев со своим открытием. Супруга внимательно выслушала своего Димасю, покрутила пальцем у виска и прокомментировала в том духе, что его «медвежья болезнь» прогрессирует. Хорошо хоть не заразна. Дмитрий Иванович обиделся. Он решил доказать супруге, насколько прекрасен найденный им звук.

Продемонстрировать восьмую ноту оказалось затруднительно. Нота по-прежнему звучала в мозгу, но напеть её почему-то не получалось. Пенделеев несколько раз попробовал, и голос из кухни попросил, чтобы он прекратил дразнить кошку. Да и сам изобретатель чувствовал, что голосовые связки издадут что-то не то. Может быть, жена была не так уж и не права?

Дмитрий Иванович залез на антресоль и снял пылившийся там кларнет. Инструмент остался от уехавшего на ПМЖ дяди-лауреата вместе с кошкой и нотами, в отличие от кошки и нот. Мышей он не ловил, в макулатуру его не принимали, а просто выкинуть — не поворачивалась рука, как-никак национальное достояние. Во всяком случае, именно так объяснили дяде на границе, отбирая у музыканта средство существования.

Пенделеев дунул в кларнет, пробежался по клапанам и убедился, что нужного звука не происходит.

По образованию Дмитрий Иванович был инженер, а по призванию – мастер золотые руки. После их прикосновения любой прибор вновь начинал работать, упавшая полка как бы сама собой становилась на место, и даже маявшаяся животом кошка вдруг выздоравливала. Пенделеев взял дрель и начал колдовать. Почему нужно сверлить дырочку именно в этом месте, он объяснить не мог. Просто ему так подсказывала интуиция, а ей он привык верить. Интуиция и на этот раз не подвела. Изобретатель аккуратно сдул опилки, поднёс мундштук ко рту, и из раструба полилась его нота.

– Соня, Соня, послушай, какая прелесть, – крикнул он на кухню, но оказалось, что жена уже ушла. Разделить радость не с кем.

На работе открытия тоже не оценили. Начальство сказала, что исследование колебаний звуковой частоты не входит в тематику лаборатории, и посоветовало заниматься своим делом. А коллегам Дмитрий Иванович даже говорить не стал. Они и так подтрунивали над ним из-за почти полного – с точностью до одной буквы – совпадению его имени, отчества и фамилии и ФИО знаменитого химика. Наверное, завидовали, что у Пенделеева больше изобретений, чем у них у всех вместе взятых. «Вот где меня должны оценить!», – обрадовался первооткрыватель и направился в патентное бюро.

Радость с наскака не удалась. В бюро Дмитрия Ивановича долго пасовали по кабинетам, не зная, к какой области науки отнести его открытие, а в конце заявили, что искусством они вообще не занимаются, а культура их волнует только с точки зрения обслуживания населения. Причём, волнуется по этому поводу даже не бюро, а собственно, население.

Дирижёр оперного театра слушать начинающего гения тоже не стал. Он давно подбивал клинья под симпатичную гримёршу, и знакомство с мужем в планы не входило.

Дмитрий Иванович решил зайти с другой стороны и двинулся к приятелю – заслуженному деятелю

искусств. Приятель давно зарился на кларнет, но был не настолько близким, чтобы просто подарить ему инструмент, и не настолько далёким, чтобы взять с него деньги. Теперь же Пенделеев в обмен на раритет предложил другу сыграть его ноту во время одного из концертов. Приятель мысленно покрутил пальцем у виска и... согласился – очень уж хотелось заполучить национальное достояние. Он даже сдержал своё обещание при исполнении одной мощной увертюры, в надежде, что в общем крещендо это пройдёт незамеченным.

Результат превзошел всё ожидания. Деятеля уволили из искусства без всяких объяснений. Правда, не исключено, что это было совпадением. На место приятеля давно претендовал молодой и наглый племянник дирижёра. Музыкант в ярости разломал несчастливый кларнет на мелкие части, и даже золотые руки не смогли его отреставрировать. Скорее всего потому, что фрагмент раструба со злополучной дырочкой безвинно репрессированный сжёг, а пепел развеял по ветру. А потом долгими зимними вечерами с тоской прислушивался, не завоет ли выюга Ту Самую Ноту, которую ему удалось сыграть только один раз в жизни.

Демонстрировать открытие Пенделееву стало нечем. К духовым инструментам его больше не подпускали, а дырочки, просверленные в тихой старенькой гитаре, на звучание не влияли. «Надо ехать в столицу, там разберутся», – решил Дмитрий Иванович.

Столица встретила изобретателя мокрым снегом и липким навязчивым сервисом таксистов. Оказалось, что здесь заслуженного изобретателя и рационализатора никто не знает. Он долго обивал пороги, унижался перед вахтёрами, заигрывал с секретаршами и, наконец добился своего. Важный чин всемирно известнейше разрешить соизволил заполнить заявку на изобретение и провести патентный поиск. Это восьмой-то ноты! Поиск, как и следовало ожидать, прошёл успешно, аналогов не нашлось, и Пенделеев вернулся домой окрылённый.

Ожидание славы было долгим и изматывающим. Дмитрий Иванович худел, бледнел и, в конце концов, извёлся настолько, что жена прекратила подначивать и даже попросила спеть в ванной. Впрочем, выйдя предварительно на балкон.

На работе тоже все валилось из золотых рук. И после того, как Пенделеев разбил очередную колбу с дорогостоящим и очень редкоземельным элементом, его незаметно сократили. На освободившуюся вакансию пришёл племянник дирижера, которого к тому времени из театра уволили и взяли обратно заслуженного деятеля.

Приятель в пароксизме счастья посоветовал Дмитрию Ивановичу обратиться в Национальную академию музыкальных наук. Пенделеев даже не знал о её существовании. И не знал, как выяснилось, не зря. Организации с таким названием в стране не существовало. То ли музыкантов было маловато, то ли их национальность не соответствовала. По слухам что-то подобное имелось в Швеции, и изобретатель уже начал искать переводчика, но тут пришёл ответ, в том числе и на только готовящееся письмо.

Пенделеев углядел официальный конверт в прорезь почтового ящика. Дрожащими руками он распечатал его и...

Ответ прогремел своей лаконичностью и безысходностью.

«Извещаем вас, что Национальная академия наук, так же как и шведская (sic!), не принимает к рассмотрению проекты вечных двигателей и дополнительных нот музыкальной грамоты». Подпись. Печать.

Всё было кончено. Пенделеев, натужно преодолевая каждую ступеньку, поднялся к себе, сел в кресло и машинально взял в руки пульт от телевизора. Кнопка нажалась как бы сама собой.

Шла передача «Очередное невероятное». В кадре с эмблемой CNN бодрый голос рассказывал об очередной победе зарубежного разума над отечественным. «Американские музыковеды-теоретики, – синхронно Левитана вещал “ящик”, – вычислили, что между “до” и “соль-диез” должна существовать ещё по крайней мере одна, ранее неизвестная нота. Музыканты-экспериментаторы уже приступили к её поиску. На исследования выделены огромные средства, так что великое открытие не за горами». В картинке возник увенчанный сединами и собственной значимостью ведущий передачи. Он пожевал губами и коротко резюмировал: «Вот видите, какими “утками” кормят нас зарубежные СМИ. Нам такая лже-музыка не нужна».

Пенделеев задумчиво выключил телевизор, namного посидел, уставившись в одну точку, а затем полез на антресоль и достал пылившийся там вот уже несколько лет вызов на ПМЖ от дяди-лауреата.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Одни собирают марки, другие – утюги, а Вовка коллекционировал Предмет. Именно так – Предмет, а не предметы. Предметов много, а Предмет – один. Началось это ещё в школе, когда у многих мальчишек появляется хобби. Одни собирают марки, другие утюги... Впрочем, это мы уже, кажется, проходили.

Объект своего увлечения он выбрал из чувства противоречия – чтобы было не как у всех. А потом незаметно увлёкся. Предмет он увидел по телевизору в передаче «Феномен». Какой-то деятель раскопал его в глухом заброшенном селе и вывез в столицу, чем очень гордился. Предмет же казался невзрачным, безликим, с выступающими в разные стороны углами. Но у Вовки ёкнуло сердце: «Вот оно! Такого ни у кого не будет».

Первый экспонат своего домашнего музея Вовка нарисовал сам, благо способности у него имелись. Рисунок получился слегка кривоватым и не очень похожим, но Вова им очень дорожил и не согласился бы расстаться с ним никогда, хотя впоследствии некоторые люди предлагали за него очень неплохие деньги.

Затем новоявленный галерист повесил на стену вырезку из многотиражки, где репортёр, дословно записав рассказанное деятелем, опубликовал под своей фамилией небольшую заметку. Снимок, похоже, он тоже сделал с телевизора, но при таком качестве печати разобрать, что именно изображено, всё равно было нельзя.

Вначале пополнение фондов шло медленно. Кому придёт в голову публиковать фото в общем-то ничего собой не представляющего предмета? Потом стало легче. Многие заинтересовались феноменом, а некоторые даже поняли, что на нём можно сделать деньги. Поползли слухи об уникальных свойствах феномена, который может доставлять людям счастье или, наоборот, заставлять плакать. Впрочем, распространяли эти слухи в основном те, кто хотел на нём заработать.

Вова рос, и вместе с ним росла коллекция. С годами он превратился в Володю, Владимира, а затем и Владимира Романовича. Казалось бы, пора остепениться, перерасти, но детское увлечение не исчезало, а, наоборот, становилось сильнее и глубже.

Он стал относиться к Предмету как к доброму старому другу и даже полюбил. Угловатость, которая, казалось, с годами только увеличилась, вызывала у Володи целую гамму чувств, среди которых преобладало обожание. В остальном же Предмет, как и положено всем предметам, совершенно не менялся. Разве что стал более лакированным, что неудивительно, если твои фото печатают в глянцевых журналах. Предмету же от Вовкиного увлечения было, как говорят, ни холодно, ни жарко. Собираешь меня – и ладно. Мне-то что? Многие собирают. Предмет даже не знал о его существовании. Если неодушевленные предметы вообще могут чего-то не знать.

Теперь Предмет часто показывали по телевизору. Володя смотрел все передачи, и каждый раз возмущался от того, как с ним обращаются. Некоторые даже позволяли себе носить святыню на руках. А были такие, что вообще считали его чуть ли не своей собственностью. Это нечестно, думал Владимир Романович, я первый обратил на него внимание, совсем забывая о том деятеле, который откопал феномен. Впрочем, о нём забыли все. Так часто бывает. Когда дело уже сделано, всегда находятся люди, желающие его возглавить.

Иногда люди совершали совсем возмутительные поступки. Однажды, ещё в студенчестве, Вова увидел, что чья-то корявая рука нарисовала Предмет на заборе. Да ещё снизу, чтобы никто не ошибся, написала: «Предмет». Такого Володя стерпеть не мог. Он выпилил граффити, принёс домой и соорудил для него специальную рамочку. Рамки вообще были его вторым хобби, которое со временем стало профессией. Их Вова начал делать, чтобы хоть как-то разнообразить похожесть развешанных по стенам изображений. Рамочки получались красивые, резные, с завитушками. Или массивные литые, своей тяжестью как бы оттеняя эфемерность самого Предмета. Или стеклянные, переливающиеся, олицетворяющие хрупкость и многогранность оригинала.

Рамочки заметили и стали заказывать, сначала друзья – для свадебных фотографий, а потом и художественный музей – для своих экспонатов. Сам Владимир так и не женился, посвятив всего себя одной страсти. Да и какая бы жена потерпела, чтобы весь дом заполнял один совершенно бесполезный в хозяйстве предмет, пусть даже в красивых рамочках. Друзья, отчаявшись вытащить его туда, где бывает много одиноких дам, стали намекать, что нужно сходить хотя бы к психиатру. Но Володя только отмахивался. У него была мечта. Ему хотелось, пусть не сейчас, пусть через много лет увидеть святыню, так сказать живьём, а если повезёт, и прикоснуться к ней.

И однажды эта мечта сбылась. Как-то, будучи в столице, Володя заглянул в картинную галерею. Очень уж хотелось изучить рамочки. Предмет Своего Обожания он заметил издали. Тот стоял среди шедевров мирового искусства, а вокруг суетились фотографы, заслоняя от Вовки его мечту.

Сам понимая абсурдность своего поступка, Вова попытался заговорить, но мечта, естественно, не ответила. «Может, я стою слишком далеко, и мой голос не слышен?» – Володя как зачарованный приблизился почти вплотную и... оцепенел.

Перед ним стоял абсолютно незнакомый предмет. Куда девалась угловатость, которую он так любил? Где обворожительная невзрачность, заставлявшая грезить ночами? Безликость, сжимавшая нежностью сердце?

Володя зажмурил глаза, встряхнул головой и взглянул ещё раз. И вдруг понял:
ПРЕДМЕТ ЕГО ОБОЖАНИЯ СДЕЛАЛА ПЛАСТИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ!

Вернувшись домой, Владимир Романович сжёг свою коллекцию, сдал рамочки в музей и женился.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС

Александр Чупкин на досуге грешил литературой. Не большой и глобальной, а мелкой – так сказать, регионального уровня. Стихов он, правда, не писал, но его рассказы время от времени появлялись в местной прессе, а один раз автора даже показали по телевидению в программе «Не очень-то молодые дарования». А так как человеком Чупкин был не только творческим, но и плодовитым, компьютер у него не выключался вообще. Вирусов дарование не боялось. Приятель поставил ему экспериментальную сильно антивирусную программу, которой позавидовал бы даже сам Билл Гейтс.

Первое время Сапа не мог нарадоваться на новшество, и даже забыл, что такое спам. Но однажды включив компьютер, писатель увидел нечто странное. На экране мигало сообщение: «Обнаружен неизвестный вирус», а прямо на рабочем столе лежала какая-то неизвестная зараза. Немедленно нажатая кнопка «блокировать» тоже не дала ожидаемого результата. Вместо этого антивирус, пораскинув электронными мозгами, высветил не предусмотренное никакими разработчиками сообщение: «Вирус опасности не представляет».

Сапа удалил заражённый файл с рабочего стола, затем очистил корзину и перезагрузил машину. Всё повторилось в точности. Только теперь вирус пролез в святая святых – папку с его, Чупкина, творениями.

Немедленно вызванный приятель-компьютерщик долго чесал в затылке. С подобным ему сталкиваться не приходилось. Гуру дважды переустановил систему, разобрал машину на составные части и вновь собрал её, как бы пытаясь вручную вынуть непрошеного гостя. Но ничего не помогло. Приятель ушёл, обещав посмотреть литературу, и больше не появлялся.

Загадочный документ так и остался лежать в творческой папке. Он никому не мешал, ничего вредного не делал, но открывать его Чупкин боялся – иди знай, какие пакости содержатся внутри. Файл же упорно лез в верхнюю строчку списка, независимо от способа сортировки.

Наконец любопытство взяло своё. Александр дрожащей рукой дважды кликнул на иконке, но ничего страшного не произошло. Документ оказался не спамовской рекламой и даже не гнусными предложениями от похабных сайтов, а обыкновенным рассказом. Милым, непосредственным, но ничего особенного из себя не представляющим. Чем-то он даже напоминал опусы самого Чупкина, только был ярче и лучше. Это Сапа с сожалением признал, правда, после долгой внутренней борьбы.

С этих пор потусторонние тексты стали появляться в компьютере регулярно. Они были смешные и не очень, грустные, но не слишком, одни заставляли задуматься, другие проглатывались на одном дыхании и оставляли послевкусие как от не очень сытного обеда – «хорошо, но мало».

Долго так продолжаться не могло, и однажды Сапе захотелось вступить с вирусом в контакт – им нашлось бы о чём поговорить. Но попытки успехом не увенчались. Да и если подумать: каким образом можно вступить в контакт с Word-овским файлом? Пусть даже слегка заражённым.

Александр решил зайти с другой стороны. Теперь он стал править возникающие тексты. Но это помогало мало. После перезагрузки текст восстанавливался в первоизданном виде, а абзацы, на которые Чупкин посмел поднять руку, ехидно выделялись курсивом. Правда, на исправление орфографических ошибок вирус реагировал благосклонно. Видно, с грамматикой у него было плоховато ещё со школьных времён. Если, конечно, вирусы вообще ходят в школу.

Отчаявшись, Александр решил поступить кардинально. В очередном «пришельце» он стёр весь «гостевой» текст и там же написал свой. В ответ вирус начал нахальничать. Утром Чупкин обнаружил, что вчерашний его рассказ подвергся постороннему вмешательству. Исправления казались, в общем-то, незначительными, но текст после них вдруг как бы ожил и стал подмигивать автору с монитора. Сапа отправил рассказ в редакцию и тут же получил восторженный отзыв и просьбу присылать ещё.

Это было что-то новое. Обычно его произведения валялись в редакции по несколько месяцев, и только после неоднократных напоминаний заведомо культуры обращал на них свой милостивый взгляд. Впро-

чем, взгляд этот был благосклонным не всегда. Чаще рассказ возвращался немилосердно почёрканным, и его приходилось сильно перерабатывать или вообще писать заново. В этот же раз рассказ появился в газете через два дня и без малейших изменений.

Подверглись внешнему воздействию и другие тексты писателя. Они стали смешнее и одновременно печальнее, и даже автора заставляли задуматься: «Боже, неужели я это всё написал?». В них появилось то самое послевкусие – «хорошо, но мало», и тянуло снова сесть за компьютер. А вот «вирусные» тексты исчезли, как их и не было. И только один, самый первый, вновь переместился на рабочий стол.

Александр понял, что долгожданный контакт установлен. Он вздохнул, перечитал этот единственный оставшийся рассказ и отправил его в редакцию.

Вскоре из редакции по электронной почте пришло письмо от автоответчика: «Сообщение доставлено не было, так как редакционный компьютер заражен вирусом».

НОЧНОЙ УЗОР

Всю ночь Кузя не мог найти места. Нет, в физическом смысле его координаты были фиксированы – на собственной холостяцкой кровати – и лишь слегка флуктуировали по её ширине. Но в пространстве Морфея он как угорелый носился по общежитию Ленинградского государственного университета в поисках комнаты, куда его поселил администратор съёмочной группы, членом которой Кузьма имел честь быть.

Нужно сказать, что в бодрствующей жизни Кузя в северной столице никогда не был и к кино никакого отношения не имел. Разве что забрёл лет восемь назад случайно по пьянке на какой-то индийский фильм, но ничего в нём не понял. Видимо, потому что там все: и актёры, и билетёры, и возмущённые зрители, и милиционер, который выводил его из зала, короче, абсолютно все разговаривали на индийском языке.

Знать, как выглядит главный вуз Ленинграда, а тем более его общежитие, Кузьма, конечно же, не мог. Но во сне он очень чётко представлял себе многоэтажное многокорпусное сооружение с башенкой-шпилем, напоминавшее высотку МГУ. Её он тоже видел где-то, может даже как раз в том же индийском фильме.

И вот сейчас, во сне, Кузя бежал по этажам этого архитектурного монстра в поисках своей комнаты. И её обязательно нужно было найти, потому что завтра группа улетала, а в комнате у него лежали вещи, паспорт и заветная бутылка, которую он с корешами собирался распить сразу по приезду за начало съёмочного процесса.

В корешах он считал всех, кому хоть раз налил своей недрогнувшей рукой. Даже режиссёра, который напоминал ему участкового, – и внешне, и по манере орать за что ни попадя.

Но уважить друзей в тот раз не пришлось. По две бутылки водки на брата было тогда у каждого члена группы, даже у помрежа, который всегда укоризненно качал головой, когда после напряжённого трудового дня его приглашали присоединиться к застолью. Но каждый раз соглашался.

Поэтому в первый день Кузьма только бросил вещи под койку в огромной, рассчитанной человек на двадцать комнате, и поспешил вниз, где уже выдыхалось.

Больше он на свой этаж не поднимался. Утром его будили, где нашли, вливали бутылку пива и везли на съёмочную площадку. Он ещё, помнится, удивлялся, какой бардак творится в группе: съёмочная площадка, вроде, всегда одна, а здания вокруг каждый раз другие. В чём именно заключались его кинематографические обязанности, Кузя не знал, так как, повторюсь, в обычной жизни был далёк от кино.

Скорее всего, он был разнорабочим, потому что искали его в самых разных местах ленинградской природы и, что обидно, каждый раз находили.

А однажды – это Кузьма помнил точно – ему пришлось подменять самого режиссёра, когда тот охрип. И он исправно орал на всех, пока не подвезли запасного. В тот день за самоотверженный труд директор картины даже премировал его бутылкой водки, которую самолично отнёс к нему в комнату и засунул в рюкзак.

Тогда, в одном из прошлых снов, комнату удалось найти сравнительно легко. Правда, в основном благодаря директору, который умел считать этажи до десяти. Сейчас же этажей стало уже четырнадцать, Кузя был один, и всё оказалось гораздо сложнее. А найти нужно было обязательно, потому что, повторюсь, группа завтра улетала, а без паспорта в самолёт не пустят. Даже чёрт с ним, с паспортом, он перекаптовался бы на верхней боковой у туалета, сколько там лететь. Но бутылка... Даже две!.. Собственно, за бутылкой его и послали, а подвести друзей он не мог. Не такой он был человек.

И вот теперь Кузьма беспомощно метался по общежитию в поисках своей койки, под которой лежал

заветный рюкзак. Где находится сама койка, он знал точно: в среднем ряду вторая от окна. Да и дорогу к комнате представлял себе, хоть и приблизительно, но абсолютно чётко: от лестницы налево, потом направо, потом ещё раз налево, пяток ступенек вверх, ещё раз направо и налево. Кто так строит! Но на каком этаже находится эта самая «две шага налево, три шага направо», Кузя напрочь забыл.

Он распахивал каждую похожую дверь и всякий раз попадал не туда.

Один раз это была учебка, пустующая по причине летних каникул. Кузьма честно заглянул под все столы и даже стулья, но своего рюкзака, а тем более койки, не нашёл.

В другой раз комната оказалась женской. Девочки, обрадованные появлением нового, хоть и не совсем трезвого, но всё же лица, попытались его зазвать, но он не остался, во-первых, из чувства долга перед товарищами, а во-вторых, потому что все дамы до одной напоминали ему Ньюрку, а Ньюркой он был сыт по горло и дома.

Туалет на следующем этаже оказался, слава Богу, мужским, но и там рюкзака почему-то не оказалось.

За одной из дверей декан проводил со своими подчинёнными ответственное совещание. Он укоризненно погрозил Кузьме пальцем, но не налил, пожалел, видно.

А вот аспирант-геометр, встреченный между пятым и двенадцатым этажом, не только налил, но и выпил, а заодно объяснил загадочную сложность университетской архитектуры. Оказывается, в общежитии жили математики, а им, неевклидчикам (вот какие умные слова приносят иногда случайные знакомства), так сподручней. И он же предложил гениальную идею: узнать номер комнаты у вахтёра, о существовании которого Кузя до сих пор даже не подозревал, так как в общежитие его обычно вносили в качестве реквизита. Геометр даже спустился с ним на первый этаж и поработал переводчиком, благо дело свою фамилию Кузьма всегда произносил чётко.

Номер комнаты оказался простым – 8-12. Столько в былые времена стоил коньяк. Даже удивительно, что Кузьма его не запомнил. Он на посошок, как мог, отблагодарил благодетеля, и совсем уж было собрался нажать кнопку лифта, чтобы ехать на вождеденный этаж, как вдруг...

Проснулся.

Он лежал дома, на своей холостяцкой кровати, в пустой комнате с сильно выцветшими обоями, украшенными подтёками былых баталий. Приснится же такое, не подумав, подумал Кузьма и застонал. Работать мыслью было трудно. Сильно болела голова. Хотелось пива, а ещё больше водки, но на водку денег не было.

И вдруг он вспомнил – 8-12. Два раза налево и три раза направо. В среднем ряду вторая койка от окна. А под ней рюкзак с заветным граалем. Даже с двумя.

Ме-е-е-едленно обозрев взглядом россыпь стеклотары, он подумал (и застонал), что если всё сдать, то на поезд, пожалуй, хватит. А то и на самолёт, но в него без паспорта не пустят.

Он вытащил из-под койки рюкзак и удивился: как же так, водка там, а рюкзак здесь? Впрочем, долго думать было больно, а жажда звала в дорогу.

На вокзале поезда на Ленинград не оказалось. Выяснилось, что этот город переименовали ещё лет двадцать назад. «Во дела, – подумал Кузьма, – оказывается, теперь, чтобы добраться до заветной жидкости, придётся путешествовать не только в пространстве, но и во времени. Лишь бы денег хватило».

Остальные вопросы совмещения пространственного и временного континуумов его не волновали. Он ещё со школьных времен помнил, что скорость измеряется в километрах в час.

ДЕСЯТЬ ЗНАКОВ ЗОДИАКА

Аукционист Эрик нервничал. Сегодня ему предстояло продать очень странный лот – десять знаков Зодиака. Странность состояла, во-первых, в том, что изображения, олицетворяющие созвездия небесной сферы, были отлиты, а точнее, выдуты из стекла каким-то абстракционистом и совершенно не походили на общепринятые. Исключения составляли разве что Рыбы, Рак и Водолей, да и то лишь потому, что в воспалённом печью мозгу стеклодува все знаки ассоциировались с аквариумами. Но не может же Зодиак состоять сплошь из рыб? Рыба-Стрелец, Дева-Рак и Близнецы-Водолей. Сиамские, что ли? Тогда точнее не Водолей, а наоборот – Не-разлей-вода. Бред какой-то!

Таблички на «статуэтках», естественно, отсутствовали. Да и появились они в Доме аукционов необычно. Придя на работу, аукционист обнаружил их на собственном столе с запиской, написанной загадочными закорючками. Понятными в тексте были только цифры – «\$10 000» и «20%», и резолюция начальника: «Знаки Зодиака. Срочно к продаже 9 марта». Уточнить, что означает сей лот, не представлялось возмож-

ным, потому что шеф в субботу укатил вместе со своей секретаршей на Бермуды, а языка эльфов Эрик, конечно же, не знал.

10 000 – могло означать стартовую цену, хотя кому придёт в голову выложить за грудку стекляшек, пусть и необычной формы, такую бешеную сумму. Тем более что стекло от старости слегка потускнело и как бы подернулось сеткой микроскопических трещинок. 20 – скорее всего, число процентов, которые владелец лота пообещал за продажу. Это вдвое превышало максимальную посредническую ставку, что объясняло срочность в резолюции шефа – пока заказчик не передумал. И хоть аукционисту из этих процентов перепали крохи, всё равно стоило постараться.

Кроме всего прочего, смущало, что изображений всего десять. Полистав Интернет, аукционист убедился, что знаков Зодиака действительно двенадцать, и задумался. Откуда шеф взял такое название? Ведь от рунной письменности он был так же далёк, как от туманности Андромеды. Почему бы не назвать этот набор неудержимых фантазий «Чудеса света» или, к примеру, «Времена года»? Впрочем, чудес света было, кажется, семь, а времен года – это Эрик знал точно – четыре. Даже в сумме получалось одиннадцать, и всё равно одной не хватало.

Эрик ещё раз залез в интернет и выудил название романа «Десять негритят». В данной ситуации это было абсолютно бесполезно – что-то, а уж негритят прозрачные переливающиеся фигуры никак не напоминали. Хотя... Кто их, абстракционистов, поймёт?

В памяти всплыла загадочная фраза из школьного курса астрономии: «Пояс Зодиака – 12 созвездий, в которых последовательно в течение года пребывает Солнце при своём движении по небесной сфере». Эту фразу аукционист не понимал никогда. Как может Солнце находиться в каком-то созвездии, если звёзды бывают ночью, а солнце светит днем?

9 марта было сегодня. Аукцион начинался через полчаса, а как представлять лот, Эрик, извините за каламбур, так и не представлял. В подобную ситуацию попадать ему ещё не доводилось, хотя опытом потомственный аукционист обладал изрядным. Ходили слухи, что это его прадед выставил с аукциона самого Остапа Бендера. Впрочем, верить этим слухам было нельзя, так как распространял их сам Эрик.

Телефонный звонок раздался внезапно.

– Ска-жи-те, что э-то зна-ки Зо-ди-а-ка в сис-те-ме Анд-ро-ме-ды, – вместо «здравствуйте» с рваным иностранным акцентом отчеканил металлический голос.

– Позвольте, а вы не думаете, что за такую цену ваши безделушки никто не купит? – спросил Эрик.

– Не вол-нуй-тесь, ку-пят, – проскрипел голос, – глав-но-е ни-че-му не у-див-ляй-тесь. – И в трубке раздалась далекие, еле слышные гудки. «Бред какой-то», – подумал аукционист и двинулся на сцену.

Зал аукциона был полон. Сегодня на торги выставались несколько заманчивых предложений по недвижимости, ряд предметов искусства и антиквариат.

Первые три лота прошли без особых эксцессов. Участок в престижном районе поднялся в цене в три раза. За лакомый кусок побережья, стыдливо обозначенный как рекреационно-оздоровительная зона, произошла целая драчка. А вот копия эскиза проекта офорта Леонардо да Винчи в исполнении главы местного союза художников-авангардистов никакого интереса не вызвала. И вот, наконец, ассистент вынес стекло.

Аукционист выдохнул и откашлялся.

– Следующий лот – десять знаков Зодиака, баальбекский хрусталь, – отчеканил он первую фразу. Дальше было проще.

– Раритет обнаружен отечественными археологами у западной оконечности Баальбекской террасы. По наклонам граней и соотношениям углов пространственных фигур учёные установили, что этот набор представляет собой изображения знаков Зодиака в туманности Андромеды, так как именно там год продолжается десять месяцев. Поэтому фигурок всего десять. Возраст находки – полтора миллиона световых лет.

Остапа, извините, Эрика несло. Его не смущало, что Баальбекская терраса находится в Ливане и вывезти оттуда любую археологическую находку практически невозможно. Что год – период обращения вокруг звезды планеты, а туманность Андромеды – галактика. Что световой год – это единица длины, а не времени. Впрочем, не смущало это и покупателей.

– Давай купим эти висюльки, – раздался тонкий блондинистый голосок.

– Стартовая цена – десять тысяч долларов! – прозвучало со сцены, и в зале повисла тишина.

– Десять тысяч долларов – раз! – без особой надежды провозгласил Эрик. – Де-сять ты-сяч дол-ларов – два! – Аукционист растягивал буквы как мог. – Д-е-с-я-т-ь т-ы-с-я-ч д-о-л-л-...

– Ну, давай, – занял тот же голосок. – Представляешь, как они будут смотреться на нашей люстре!

Представить люстру, на которой будут смотреться эти стеклянные монстры, было трудно, но вооб-

ражения спутнику блондинки, похоже, хватало.

- Одиннадцать тысяч, – громогласно провозгласил он.
- Одиннадцать тысяч – раз, – снова начал аукционист свой отсчёт, но его перебили.
- Двенадцать тысяч...
- Тринадцать тысяч...
- Четырнадцать...

Было похоже, что люстры всех местных нуворишей срочно нуждаются в модернизации.

Вначале предложения сыпались как августовские звёзды, но к тридцати тысячам их поток начал редеть, а к пятидесяти практически иссяк. Упорно продолжали сражаться двое: высокий абсолютно лысый джентльмен с сильно вытянутой вверх головой и острыми ушами и дама с голубоватым цветом лица и странной причёской. Казалось, что волосы на ней шевелятся после каждого шага аукциона.

- Сто тысяч долларов...
- Двести тысяч...
- Пятьсот...

Пора прекращать этот балаган, подумал аукционист, и тут же прямо в голове у него зазвучал металлический голос из телефонной трубки: «И не ду-май! Пускай раскошелниваются!»

- Десять миллионов долларов...
- Тридцать миллионов...
- Семьдесят...

Казалось, стены зала раздвигаются, чтобы вместить всё увеличивающиеся ставки. Участники аукциона, превратившиеся в безмолвных статистов, поблекли и стали почти прозрачными. Яркими пятнами выделялись только дама, исходившая голубым сиянием, и джентльмен с заостренной головой. Их голоса доносились, как бы издавдалека, ослабленные мегапарсекными расстояниями и приглушённые космическими шумами.

- Один миллиард долларов...
- Два...
- Пять...

Сражающиеся оперировали астрономическими суммами с потрясающей лёгкостью. «Головой бюджет страны составляет около 25 миллиардов долларов», – вдруг вспомнилась Эрику услышанная где-то цифра.

– Двадцать семь миллиардов девятьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят две тысячи двести сорок три, – изрёк остроголовый.

– Три, – эхом повторил аукционист и машинально ударил молотком. – Продано!

Зал схлопнулся до обычных размеров. Дама с голубыми щеками раздражённо поднялась и, хлопнув дверью, вышла. Джентльмен, злорадно потирая руки, направился к кассе.

«Бред какой-то», – повторил по себе аукционист, устало опускаясь на стул, и начал думать о приятном. – Однако сколько же это мне причитается? Полпроцента... с двадцати семи миллиардов?!. Долларов?!! Бред какой-то!

Опять зазвонил телефон.

– Поздравляю, – сказал всё тот же металлический голос, но уже без всякого акцента. – Вы блестяще выдержали тест на поведение в нестандартной ситуации и по своим показателям можете служить в спецподразделении «Альфа Центавра». Ждём вас на собеседование. Завтра за вами прилетят.

И, слушая короткие гудки, аукционисту вдруг захотелось отказаться от гонорара и спрятаться на планете, где в году всего десять месяцев, в стране с десятью временами года, а созвездия на небе выглядят, как акварюмы.

ПРИШЕЛЕЦ

Нефантастический, к сожалению, рассказ

Иван Михайлович Кузькин был пришелец. Звали его, конечно, не Иван Михайлович, и по фамилии не Кузькин, да и слов таких в родном языке инопланетянина, слава богу, не было.

В космических сферах предпочитали общаться запахами, а голосовые связки использовали только в официальных случаях. Нечто вроде круглой печати. В смысле: «сказано – сделано».

На Землю Иван Михайлович попал случайно. Не заладилось что-то в тарелочке, и вместо привычного Альдебарана выбросило гуманоида на третьей планете, в районе парка имени Культуры и Отдыха.



Была весна. Пахло надписями «Осторожно – окрашено». Местные жители чинно благоухали в ритме светской беседы. Иван Михайлович осмотрел тарелочку и загрустил. Если двигатель и бортовой компьютер он мог починить сам, то облупившаяся обшивка требовала более квалифицированного ремонта. Приходилось идти на контакт.

Первая попытка контакта сорвалась. Абориген, к которому обратился Иван Михайлович, долго принохливался к витиеватым оборотам старинного альдебаранского приветствия, а потом неожиданно спросил:

– Ты, старик, где пиво пил?

Запах, исходивший от аборигена, хоть и был грубоватым по форме, но, в общем, соответствовал альдебаранскому «привет». Воодушевившись, пришелец пахнул о своих неполадках – и вокруг мгновенно образовалась толпа.

– Кто крайний за шашлыками? – осведомился усатый мужчина в майке.

– За мной ещё двое, – вынырнула из-за его спины плотная женщина и, оттеснив усача, напала на альдебаранина.

– А вы, гражданин, здесь, по-моему, не стояли.

Запахло скандалом, и Иван Михайлович, который терпеть не мог этого запаха, предпочёл ретироваться.

«Видно, тут без языка нельзя. Серьёзная планета», – подумал пришелец и засел за словари.

Язык оказался несложным. Всего каких-нибудь 150 тысяч слов. Инопланетянин выучил их за два дня. Ещё полдня ушло на грамматику и исключения из неё, и к вечеру альдебаранин уже двигался в уличной толпе, жадно вдыхая букет только что освоенного языка.

Уверенно пахли подлежащие и сказуемые, благоухали придаточные предложения, пованивали бесконечные «это вот», «значит», «так сказать»... Отдельные слова имели много запахов, а были и такие, которые пахли абсолютно одинаково, и даже чуткий нос пришельца был не в состоянии их различить. Несколько выражений оказались новыми, и от них потянуло терпким ремонтным ароматом. Прямо на инопланетянина шли двое. Их комбинезоны и кепки казались заляпанными даже изнутри.

– Товарищи граждане, – обратился к ним Иван Михайлович на чистейшем местном диалекте. – Я нуждаюсь совершить капитальный ремонт.

Граждане остановились.

– Большой ремонт? – спросил один.

– 75 квадратных метров обшивки.

– Фасад, значит, – подключился второй. – Это мы моём.

– Значит, вы и сделаете?

– А чего же... Мы всё моём. Ежели сказали, значит, сделаем.

Слова были хорошие, правильные, да и ребята вроде работающие, но носом Иван Михайлович чуял: здесь что-то не так.

– В общем, с нашим материалом – двадцать, – сказал первый.

– Двадцать... чего?

– Ты что, с луны свалился?

Замечание про луну было справедливым. Дома Иван Михайлович жил не на самом Альдебаране, а на третьем спутнике, и в настоящий момент свалился именно с него.

– Двадцать тысяч рублей!

Про рубль Иван Михайлович знал одно: это не деньги. С другой стороны, деньги он представлял себе довольно смутно. В одном из словарей пришелец вычитал пословицу «Деньги не пахнут». Пословица объясняла отсутствие этого понятия на Альдебаране, но на Земле помочь не могла. Мастера выразительно переглянулись и, покрутив у виска пальцем, ушли. «Очевидно, так на Земле прощаются», – отметил гуманоид.

Запах извести привел его к дому с загадочной надписью ЖЭУ.

– Кто? От кого? По какому вопросу? – повеяло изнутри.

– Я прилетел из планетной системы Альдебарана по вопросу ремонта обшивки.

– Фасад, значит, облупился. Понятно. Валя, поставь человека на октябрь. Всё в порядке. Зайдите в октябре.

Иван Михайлович вернулся на корабль, раскрыл словари и выяснил, что октябрь будет через полгода. К счастью, генератор времени на тарелочке был цел, и полгода пролетели за два часа.

– Что? Уже октябрь! – удивилась Валя. – Во, время летит!

Она долго шелестела бумагами, звонила по телефону, и, наконец, сказала:

– Зайдите через недельку.

Через пять минут Иван Михайлович снова был у неё.

– Вот настырный, – взорвалась Валя. – Всё ходит и ходит. Было же сказано – «Сделаем в этом квартале». Сиди дома и жди!

Иван Михайлович вышел на улицу. Запах табличек призывал не жечь во дворах опавшие листья, и гуманноду пришлось подчиниться. Тем более, что листья всё равно были мокрыми.

Что такое квартал, Иван Михайлович не знал, а узнал только через три месяца, когда квартал кончился. Он снова пошёл в контору.

— Где вы были три дня назад? — встретила его Валя. — Нам как раз для плана не хватало одного фасада.

– Иван Михайлович мигом смотался в три дня назад, и там валял начальник подтвердил ему, что «да, сейчас, со всем этим авралом, только вашего фасада и не хватает». Эта фраза хотя и была похожа на валину, но пахла совершенно по-иному. Пока припелец размышлял над этим парадоксом, начальник буркнул загадочное заклинание: «янаобъект» – и мгновенно исчез. Иван Михайлович мог и сам перемещаться в пространстве, но такие скорости на Альдебаране были недоступны. Пытаясь догнать начальника, гуманоид повторил заклинание, но ничего не произошло. Только стоявшие вокруг люди выразительно попрощались с альдебаранином уже известным ему способом.

– Вы понимаете, я припелец, – застонал Иван Михайлович. – Я пролетел 65 световых лет. У меня на Альдебаране жена и дети. Помогите...

— И чего только люди не напридумывают ради ремонта, — вздохнула Валя. — Ну, что ты от меня хочешь? Ну, заштукатурят тебе завтра по морозу. А будет оттепель — всё отвалится. Ты этого хочешь?

Этого Иван Михайлович не хотел.

— Ну, тогда жди тепла. Как потеплеет — придут рабочие. Даяю слово.

Иван Михайлович дождался тепла. Потом холода. Потом снова тепла. Ремонт и не пахло. Обветшавшая обшивка пришла в такое состояние, что однажды прищелец проснулся от нестерпимого запаха, проникавшего сквозь её щели. Это пахла свежеприколотенная табличка «Памятник архитектуры. Охраняется законом». Какие-то люди стали выяснять, кто же именно охраняет столь ценный экспонат. И так как никто на Земле не смог бы повторить, а тем более записать полное имя альдебаранина, пришлось ему назваться Иваном Михайловичем Кузькиным.

И живёт на нашей планете пришелец Иван Михайлович Кузькин и ждёт, когда же на Земле слово станет чем-то вроде круглой печати. В смысле «сказано – сделано».

ОХОТНИК ИЗ ПЛЕМЕНИ ДЕЛОВАРОВ

С недавних пор Джек Хантер считался преуспевающим бизнесменом. Хотя ещё каких-нибудь пять-шесть лет назад он бы обиделся, если бы его так называли. Бизнесмены были его клиентами, вернее, объектами, на которые указывали клиенты, и перейти в эту категорию считалось зазорным. В той среде, где он тогда обитал, это называлось «западло» и каралось довольно строго. И именно этого наказания Джек сейчас боялся.

В той прошлой жизни Джек, а тогда просто Жека, занимался «делами». Пошло это, скорее всего, с фразы: «Шо за дела?», с которой они, собственно, и начинались. То, что «дело» с английского переводится как «бизнес», Хантер тогда не знал. Как, впрочем, и сейчас. Как, впрочем, и всего остального английского.

Нет, не всего. Ещё два слова были ему все же известны. Название специальности Хантеру перевели, когда повышали по службе из простых «быков», а погоняло со страху пояснил один клиент, хотя Жека хотел вынуть из него совершенно другие сведения.

Переход в бизнесмены был вынужденным. На последней охоте зверь оказался зубастым, и эти зубки подпортили здоровье Хантера настолько, что выполнять свои служебные обязанности он уже не мог. То есть внешне Джек продолжал оставаться таким же огромным весельчаком с несколько специфическим чувством юмора, которого многие знали, а некоторые даже любили, хотя и с трудом. Но внутренне... Он начал бояться, а что это за охотник, который боится дичи? И поразмыслив все два месяца, пока отдыхал в гипсовых объятиях травматологии, Джек решил отойти от «дел» и заняться, извините за тавтологию, бизнесом.

Каким, спросите вы? Да какая разница! Торговал ли он оргтехникой, открыл ли казино или начал вышивать крестиком – бизнес есть бизнес. Хотя вышивать кресты было, скорее, ближе к его прошлой специальности.



Собственных сбережений у него скопилось немного, но тут, что называется, повезло. Хотя везение ли это, Джек был до конца не уверен. Дело в том, что Хантер оказался последним, кто видел старого Кукольника.

В отличие от всяких Бухгалтеров, Адвокатов и Часовщиков, с которыми приходилось общаться Хантеру, Кукольник была не кличка, а фамилия. Но человеку, который, оставаясь невидимым, умело дёргал за верёвочки, управляя чуть не половиной города, она подходила как нельзя лучше.

Кукольник был для Жеки, да и всей местной коза ностры, как отец, причём крёстный. Жеку он буквально за уши вытащил из засасывающей трясины улицы и пристроил к «шо-за-делам». А впоследствии лично дал в руки профессию калибра 7,62 мм. Хантер его боготворил, и именно к нему пришёл в тот чёрный день поговориться насчёт смены профессии.

Но поговорить так и не удалось. Едва крёстный начал произносить то короткое слово, которым обычно характеризовал вопиющие нарушения трудовой дисциплины, как раздались трели свистков, и в дверь стал ломиться неизвестно кто, прикрываясь нахальным слоганом «Откройте, милиция!». Единственно, что успел предпринять старый авторитет до того, как начали свистеть пули, – это открыть перед Джеком люк, ведущий в катакомбы, сунуть любимому выкормышу заветный мешочек общим весом 300 карат и благословить на дорогу: «Смотри у меня, если что – из-под земли достану».

Из-под земли Хантер выбрался сам. Наверху оказалось, что «законнику» и на этот раз удалось уйти из цепких объятий закона. Причём теперь уже навсегда. Хоронили Кукольника на центральной аллее кладбища возле церкви. А поскольку милицейские чины прикатили попрощаться со своим закадычным противником на новеньком «Мерсе», все решили, что брильянты достались им.

Фирму, открытую на деньги учителя, Джек назвал в его честь – ООО «Кукольник».

Переквалифицироваться из деловара в бизнесмена оказалось не так уж и сложно. Юрист, приглашённый на работу, помог Хантеру разобраться в хитросплетениях законов. Причём «юрист» была не кличка, а профессия, поэтому в ведомости на зарплату писалась с маленькой буквы, но с большой цифры. Юрист объяснил работодателю, что принятые в обществе законы отличались от привычных тому «понятий» только на первый взгляд. И дело пошло.

Вначале он с помощью старых связей подмял под себя основных конкурентов, потом неосновных, а потом дошло и до старых связей. Джек надолго запомнил, как трудно ему было в первый раз применять профессиональные навыки не к какому-то абстрактному лоху, а к вполне конкретному пацану. Второй раз было уже легче. Причём Хантеру, а не пацану. Постепенно, но твёрдо фирма становилась на свои ноги и чужие мозолы.

Бизнес рос, и вместе с ним росли амбиции Джека. Он даже подумывал о том, чтобы перейти от дел к словам и выставить свою кандидатуру на выборах. Но тут ему позвонил один из переквалифицировавшихся коллег, и предупредил, что в этом случае он обнародует прошлое Хантера. И хотя прошлое подельщика было ничуть не кристальней, принадлежал он к мощной партии, а это многое отбеливало.

Появились новые приятели. Одни знакомство с Хантером почитали за честь, а другие служили ему за совесть. А старые испытанные дружбаны куда-то пропали. Они больше не звонили, не приглашали на шашлык и на девочек, а при встрече делали вид, что не замечают. Вначале Джек даже это даже устраивало. «Чувствуют, шестёрки, кто банкует, – радовался он. – Четыре сбоку – ваших нет». Но однажды, сидя вечером на лоджии своего свежестроенного особняка, он вдруг поразился окружавшей его тишине. Именно такое вакуумное безмолвие должно было обволакивать его бывших клиентов в последние дни их существования, вдруг подумал Джек, и ему стало жутко.

Хантер стал вспоминать, скольким он перешёл дорогу, причём в неположном, по прежним понятиям, месте, и содрогнулся. «Да Кукольник за гораздо меньшие прегрешения...», – мелькнула мысль, и тут же прямо в мозгу Джека сам собой зазвучал надтреснутый голос учителя: «Смотри у меня, если что – из-под земли достану». И эта фраза имела совсем другой смысл, чем в первый раз.

С тех пор Джек Хантер изменился. Он начал бояться за свою жизнь, завёл охрану, а чуть позже ещё одну, чтобы охраняла от первой.

При встрече с бывшими друзьями теперь уже Джек переходил на другую сторону. В любом встречном ему виделся перст судьбы с глушителем, а на каждом чердаке – блеск оптического прицела.

Он прекратил появляться на людях, а свой дом – свою крепость – обнёс двумя высоченными стенами, между которыми по рву плавали волкодавы.

Бизнесом он теперь руководил по телефону, не подпуская к себе даже Юриста, который к тому времени стал писаться с большой буквы, а следовательно, и его тоже нужно было опасаться.

«Хватит, продаю всё и уезжаю за границу», – решил он как-то, уже засыпая. Но в эту же ночь ему приснился Кукольник со своей сакраментальной фразой. И Джек понял, что за граница ему не поможет.

В отчаянии Хантер даже назначил сам себе «стрелку», но ответчик почему-то не явился. Такого неуважения к Джеку до сих пор не позволял себе никто.

Дальше так жить было нельзя. Учитель снился уже каждую ночь. Заказчики чудились даже в залетевшей во двор птице, а в лае волкодавов слышалось клацанье затвора исполнителя.

И окончательно измучившись, Джек Хантер набрал полузабытый номер из прошлой жизни и, изменив голос, заказал самого себя.

НОВОГОДНЯЯ СИЛА ИСКУССТВА

Каких только необычных историй не происходит под Новый год. Особенно в городе, обладающем экстрасенсорными способностями. Хотя кто знает – может быть, то, что для человека паранормально, для города как раз естественно.

Город давно заметил, что может оказывать на своих жителей гипнотическое воздействие. Может, например, заставить человека в проливной дождь пойти гулять на бульвар. И обоим – и человеку, и бульвару – будет приятно. Может, наоборот, в яркий весенний день задержать на лестничной площадке выпешдшую на прогулку семью. И огромная сосулька разобьётся в трех метрах от выходящей из дома ячейки общества, лишь слегка осыпав её ледяными брызгами.

Городской гипноз, в отличие от человеческого, распространялся и на невоодушевлённые предметы. Об этом Город узнал совершенно случайно, когда, повинувшись мгновенному наитию, заглушил мотор одного проезжавшего мимо Коллекционера. В результате в городе появилась своя библиотека, а Коллекционер обрёл не только мечту всей своей коллекции – Книгу Счастья, но и само счастье – лучезарное, улыбчивое, с ямочками на щеках.

Позже, проанализировав этот случай, Город понял, что знал всё заранее. То есть дар предвидения ему был тоже присущ. Так же, как и телекинез. Ещё будучи Посёлком Городского Типа, он успешно перемещал от греха подальше всяческие комиссии по благоустройству и облагораживанию урбанистического дизайна.

Левитировать Город, впрочем, не пытался, не зная, как это может сказаться на геополитической обстановке в стране. Зато всеми фибрами своей разноэтажной души он чувствовал каждого жителя. И не только чувствовал, но и мог ими управлять, хотя до определённых пределов. Например, у него так и не получилось отучить от алкоголя местную достопримечательность Кузьму. Единственное, что удалось – это сделать так, чтобы Кузьму не бросила его сожительница Нюрка. Правда, для этого пришлось приучить пить и её.

Экстрасенсорные способности Города обострялись под Новый год. Вот и сейчас он вдруг почувствовал, что в городе появился пришелец. Не тот настоящий Пришелец, который жил в летающей тарелке на территории парка культуры. С ним Город дружил и частенько общался – запахами, как это и было принято на его родной планете. Местные экологи так и не пришли к окончательному выводу, кто виновен в периодическом появлении странных ароматов, обвиняя в этом то местный промышленный гигант, то крекинг-завод, находящийся за сорок километров. А между тем это были просто побочные результаты беседы представителей двух цивилизаций о судьбах Вселенной.

Нынешний пришелец был совсем другим. От него веяло тёмным прошлым и целенаправленной агрессией. Причём целью был один из жителей, известный в определённых кругах как Джо Хантер.

Минувшая жизнь Хантера тоже отнюдь не блистала чистотой. Вначале, когда тот только поселился, Город даже подумывал телекинировать его куда-нибудь в места не столь отдалённые. Но потом, решив, что избавляться надо не от человека, а от проблемы, начал перевоспитывать. И постепенно если не прошлое, то по крайней мере настоящее Хантера стало светлеть. Это, скорее всего, и не понравилось бывшим друзьям Джо, раз они подослали к нему пришельца. Город прислушался к своим телепатическим способностям и содрогнулся: от гостя веяло... смертью. Этого Город допустить не мог. Срочно нужна была идея, как предотвратить преступление.

В трудных ситуациях Город всегда обращался к своему закадычному другу – градообразующему заводу-гиганту. Но тут и он оказался бессилён. Единственное, с чем завод умел бороться, так это с убийцами рабочего времени на своих рабочих местах.

Тогда Город решил обратиться к местному специалисту детективного жанра. Тот был ему обязан, хотя сам об этом и не догадывался. Оригинальных идей у литератора всегда хватало, но связно изложить их на бумаге он не умел. И Город начал прямо в компьютере «таланта» править его достаточно слабенькие

рассказы. Вскоре Писателя напечатали в толстом журнале, что дало повод учителю гордиться своим учеником. Гордость эта была двойной. Город всегда стремился походить на своего старшего и более крупного соседа, расположенного на расстоянии сорока километров. А Сосед научил писать очень многих.

Когда Город проник в сознание ученика, тот как раз маялся воздействием искусства на судьбу человека. Он пытался положить на бумагу реальную историю чудака, который, всю жизнь профанатировав на одной сверхпопулярной, но довольно средней певиче, так ничего и не достиг в жизни. А потом, познакомившись с певичей, разочаровался в ней и достиг всего.

Идейка была сомнительная, но других всё равно не было.

Город сфокусировал внимание на том, как обстоят дела возле особняка дома Хантера, и ужаснулся. Киллер уже пристроился с оптическим прицелом в новостройке напротив ворот, а хозяин как раз собирался ехать встречать Новый год. Времени оставалось в обрез.

Пошарив по эфиру, Город обнаружил, что один из телеканалов транслирует концерт вышеупомянутой певичи на главной площади страны. В этом не было ничего удивительного – каждый год, 31 декабря, по телевизору, как пронию судьбы, традиционно «крутили» её выступления. Необычным было другое. В этот раз певича пела не под фонограмму, и оказалось, что её голос не так плох, как это было принято считать. Он лился из динамиков не искажённый откорректированными обертонами, а естественный в своей природной красоте, завораживая и покоряя многотысячную толпу.

Вот оно – решение, подумал город, и на полную мощность врубил на своей главной площади несуществующие громкоговорители.

Первым на голос выглянул тот самый чудака, прототип рассказа Писателя. Он как зачарованный вслушивался в пространство, лишь изредка поглядывая на свою довольно среднюю жену, на которой женился после того, как разочаровался в певиче.

Вторым отреагировал сам Писатель. Он, с трудом узнав исполнительницу, задумался, затем сел за компьютер и в уже готовом рассказе стал менять фамилию певичи.

Хантер, распахнув ставни, наглухо закрытые из-за боязни покушения, высунулся в окно. Город, оцепенев, перевел взгляд на киллера и... вздохнул с облегчением. Тот, подложив под голову приклад «Remington 700», спал как младенец. Оказалось, именно так действует на тёмные силы светлая музыка. Хантер вышел из ворот и как лунатик побрёл на главную площадь. Киллер даже не пошевелился, лишь зачмокав во сне губами.

То тут, то там начали хлопать двери. Народ выбирался из-за праздничных столов и тянулся к высокому и громкому искусству.

Первым на площадь вышел Коллекционер в обнимку со своим лучезарным счастьем. И оказалось, что под двадцатиметровой ёлочкой их уже поджидает неожиданно протрезвевший Кузьма, одетый Дедом Морозом, со своей неизменной Снегурочкой – Нюркой. Причём, глядя на обалдевшего Кузю, можно было предположить, что он в первый раз видит не только главную площадь, но и саму Нюрку.

Следующим вальяжно прошествовал местный аукционист, знаменитый тем, что однажды, продавая набор стекляшек, взвинтил цены до такой величины, что им заинтересовался Международный валютный фонд.

Появился и Писатель с ноутбуком, подвешенным к шее на шарфе. Под влиянием музыки ему «попёрло», и он даже на ходу продолжал творить.

Пришёл непризнанный гений-изобретатель Дмитрий Иванович Пенделеев. Обиженный на всех и вся, он уже подготовил документы для выезда на ПМЖ, и в эту ночь вдруг неожиданно для себя решил остаться.

Из здания со странной табличкой «Мерия» выдвинулись городские власти. Лингвистический курьёз таблички заключался в том, что она была отлита с орфографической ошибкой. Это знали все, кроме, собственно, властей, которые считали, что надпись сделана на государственном языке. О том, что тогда должно было бы писаться «Мерія», их никто не проинформировал.

Толпа на площади становилась всё больше и больше, и вскоре в домах не осталось ни одной живой души. Какое раздолье для домовников, подумал Город, но тут же успокоился. Все домовники тоже были на площади.

А последним приковылял заспанный киллер. Своё орудие труда для исполнения заказов он где-то оставил, и было похоже, что цель приезда начисто выветрилась из его сознания.

Концерт по телевизору закончился, и зазвучало поздравление президента. Но Город не стал переключать каналы на другого президента. Что нового тот мог сказать, тем более, что оставалось ему совсем недолго. Город начал бисировать певичу и держал толпу до тех пор, пока и не раздался перезвон курантов.

А затем со стороны промышленного гиганта грянул мощнейший салют, напоминающий работу артиллерии резерва главного командования. Так закадычный друг решил поздравить Город с победой. Пламенеющие цветы, разноцветные спирали, взрывающиеся шары, серебриющиеся блёстки, рассыпающиеся искры, – вся эта огненная феерия взмывала в небо и опадала до тех пор, пока со стороны старшего Соседа не послышался вой сирен пожарных машин.

ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНКО

ЛЕГЕНДА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОДЕССКОГО ЮМОРА

рассказ

Жара в Одессу всегда приходит неожиданно. Ещё вчера мы кутались в пальто и куртки и даже не думали менять сапоги на туфли, а уже сегодня днём вполне можем загорать под жаркими лучами солнца на террасе любимого кафе, напряжённо вспоминая, на каких полках лежат летняя одежда и обувь. Природа тоже просыпается внезапно, всячески делая вид, что никакой зимы в принципе не было. Куда-то торопливо ползут букашки, заливаются птицы, а на фруктовых деревьях в считанные дни расцветают волшебные белые или розовые цветы.

А потом наступают майские праздники, все едут на море, на дачи, жарят шашлыки – и считается, что лето прочно вошло в жизнь одесситов.

Одним из таких майских дней во дворе дома номер шесть по Воронцовскому переулку собралась уже известная нам компания.

Никита за год вытянулся и подрос, а русые волосы его стали ещё светлее. Он начал делать успехи в большом теннисе, тренер был им доволен и даже говорил о будущих соревнованиях. Родители купили ему велосипед, и он теперь ездил на нём по городу, глядя на пешеходов несколько свысока – в прямом и переносном смысле.

Женя, впечатлённый рассказом о Чёрном антикваре и пообщавшись с Костиком и Ильёй Соломоновичем, перешёл в художественную школу. Нельзя сказать, чтобы родители его были в восторге, но он настоял на своём и теперь пытался смотреть на окружающий мир «картинками» – представлял, что и как можно нарисовать.

Аркаша по-прежнему терзал скрипку в школе Столярского. Весной он становился ещё более рыжим, а на лице проступали веснушки. Ребята шутили, что для того, чтобы понять, какая пора года на дворе, не нужно смотреть в окно – достаточно посмотреть на Аркашу.

А вообще это были самые обычные одесские ребята, которые больше всего любят купаться в море, играть в футбол и сидеть в Интернете.

Дверь на террасе второго этажа открылась, и оттуда показалась табуретка.

– Илья Соломонович, здравствуйте! С праздником вас! – крикнул Женя.

– Спасибо, спасибо, – ответил Илья Соломонович, выходящий из двери. – Сейчас я к вам спущусь. Как ваши дела, ребята?

– Хорошо! Когда не нужно ходить в школу – это всегда хорошо, – пошутил Никита.

– Ну что ж, я вас понимаю, – сказал Илья Соломонович, спускаясь. – Когда-то и я так думал. До тех пор, пока к нам в школу не пришёл новый, совсем тогда ещё молодой учитель истории. После первых его уроков я уже был влюблён в историю, а со старших классов – в археологию.

– А как его звали? – спросил Аркаша.

– Учителя звали Александр Семёнович, – ответил Илья Соломонович, усаживаясь на табуретку рядом с ребятами. – Он был потомственным одесситом, прошёл всю войну, несколько раз горел в танке, и лицо его было обожжено. Но когда он начинал говорить, его лицо казалось самым прекрасным на свете. Он был влюблён в Одессу, и именно от него узнавали мы урок за уроком славную историю нашего края – от далёкого неогена до наших дней.

– Какого такого неогена? – выпалил Никита, и мальчишки дружно засмеялись.

Илья Соломонович улыбнулся:

– Вы, наверное, думаете, что неоген имеет отношение к генам или даже к неоновым лампам. Однако это вовсе не так. Неоген – это название одного из геологических периодов Земли.

– А что это такое? – пробормотал смущённо Никита.

– А это вот что такое. Геологический период – это промежуток времени, в течение которого отложился определённый слой геологических пород. Вы же знаете, что уголь, нефть и газ, которые сегодня добывают из-под земли, образовались пятьдесят миллионов лет назад?

– Нет, не знаем, – Никита смутился ещё больше.

– Ну так знайте. Это было в эпоху эоцена. А вот известняки, глина и сланцы, например, образовались в Юрском периоде. А мел – это легко запомнить, – образовался во время Мелового периода.

– В Юрском периоде? Я смотрел фильм «Парк Юрского периода!» – воскликнул Женя. – Про динозавров!

– Совершенно верно. А сам Юрский период был средним периодом мезозойской эры. К концу Мелового периода – последнего периода мезозойской эры, – динозавры вымерли. То была одна из эпох великого вымирания – вместе с ними вымерло множество семейств и морских, и сухопутных животных.

– Ничего себе! – охнул Аркаша.

– Да-да, таких великих вымираний ещё до появления человека было целых шесть. Во время великого пермского вымирания на нашей планете вообще исчезло девяносто пять процентов всех живых существ.

Ребята сидели молча, переваривая услышанное. Илья Соломонович помолчал немного и продолжил:

– Теперь вы понимаете, насколько хрупка жизнь?

– Понимаем... А сейчас у нас какой период? – спросил Женя.

– Мы с вами живём во времена четвертичного периода кайнозоя, последней геологической эры фанерозоя. Если быть точным – в эпоху голоцена.

– Илья Соломонович, как вы всё это запоминаете? – спросил удивлённо Аркаша. – Все эти названия?

– Это совсем несложно. Главное – искренний интерес и любознательность. И тогда любые факты об интересующем тебя предмете запоминаются играючи, сами собой. Кстати, голоцен начался всего двенадцать тысяч лет назад. А сам кайнозой – шестьдесят шесть миллионов лет назад.

– Ого! И что, ваш учитель истории рассказывал вам о том, что было в Одессе шестьдесят шесть миллионов лет назад? – спросил поражённо Никита.

– Ну конечно же, нет! – засмеялся Илья Соломонович. – Никакой Одессы тогда, разумеется, не было, а на месте нашего города плескался огромный океан Тетис. Постепенно он начал распадаться на части. Наше Чёрное море – часть бывшего огромного океана. Каспийское, кстати, тоже. И даже восточная часть Средиземного моря. В период неогена активно образовывались горы, и площадь суши значительно увеличилась. А в эпоху динозавров на той территории, где мы сейчас с вами живём, плавали плезиозавры и их предшественники – ихтиозавры и мозазавры. Их скелеты, кстати, есть в нашем палеонтологическом музее.

– Ух ты! У нас что, есть палеонтологический музей? – спросил Женя.

– Да, конечно. В главном корпусе Одесского университета. Ему уже почти сто пятьдесят лет. Его создавали выдающиеся геологи и палеонтологи Владимир Онуфриевич Ковалевский, Николай Иванович Андрусов, Иван Фёдорович Синцов. А ещё Илья Ильич Мечников, именем которого назван наш университет, и Александр фон Нордман – финский учёный, который не только преподавал в университете, но даже был одно время директором Ботанического сада.

– Я видел по телевизору скелеты динозавров – они же огромные! Как они помещаются в музей? – спросил недоуменно Никита.

– Представь себе, помещаются. И скелет огромного голубого кита, и скелет морской коровы – всё помещается.

– Морская корова, – прыснул от смеха Аркаша и толкнул в бок Никиту.

– Сам ты морская корова! – толкнул его в ответ Никита. – Дай послушать!

– Илья Соломонович, а где же все эти скелеты нашли? – спросил Женя.

– Представьте себе, ребята – очень многое найдено прямо тут, в Одессе, чуть ли не у нас под ногами.

– Как у нас под ногами? Тут же был океан Тетис! – воскликнул Аркаша.

– Молодец, – улыбнулся Илья Соломонович. – Запомнил. Пять миллионов лет назад Тетис распался на несколько морей. Поэтому из динозавров в нашем музее есть только те, что жили в воде – ихтиозавр и мозазавр. Точнее, их скелеты. А вот три миллиона лет назад на нашей территории уже бегали мастодонты, мамонты, верблюды и даже безрогие носороги. В конце плиоцена и начале плейстоцена на территории Евразии был удивительно богатый животный мир. Представьте себе – тогда жили пещерные



львы и покрытые шерстью носороги, гигантские гепарды и олени, верблюды и медведи и ещё множество удивительных животных.

– И куда же все они подевались? – спросил потрясённо Никита.

– Большая часть вымерла в результате изменения климата, – ответил Илья Соломонович. – Ну, а часть пала жертвой первых охотников – представителей рода «Гомо», которые появились на Земле уже в конце плиоцена. Правда, те, что хранятся у нас в музее, погибли своей смертью – они просто провалились в пещеру.

– Провалились в пещеру? Какую пещеру, Илья Соломонович? – хором воскликнули мальчишки.

– В такую вот пещеру. На Молдаванке, – улыбнулся Илья Соломонович.

Во дворе повисла тишина. Мальчишки глядели друг на друга, недоверчиво улыбаясь.

– Э-э... Илья Соломонович... – сказал наконец Никита.

– Прямо на нашей Молдаванке? – перебил его Женья.

– А вы там были? – воскликнул Аркаша.

– Был, был, – улыбнулся Илья Соломонович. – Но не пора ли вам обедать, друзья мои? А то, боюсь, ваши мамы будут меня ругать.

– Мы уже взрослые, Илья Соломонович! – ответил решительно Женья. – А родители всегда заняты, так что ругать никто не будет. У нас же деньги карманные всегда есть – когда проголодаемся, идём в МакДональдс.

– Кстати, это прекрасная идея! – сказал Аркаша. – А то у меня что-то начинает бурчать в животе.

– Тихо ты, – толкнул его Женья. – А то пропустим всё самое интересное!

– Аркадий прав, – сказал Илья Соломонович. – Идите, покупайте. Время ещё есть, темнеет сейчас уже поздно, я буду вас тут ждать. За час управитесь?

– Мы за полчаса всё успеем! – сказал Женья, и мальчишки, обгоняя друг друга, побежали к воротам, ведущим на улицу. Вдруг Женья остановился, развернулся и спросил громко:

– А вам что-то взять, Илья Соломонович?

– Спасибо, не нужно! Хотя... Знаете кофейню на Екатерининской, почти у самой площади? Возьмите мне там холодный кофе.

– Хорошо! – сказал Женья, и мальчишки побежали.

Через полчаса запыхавшаяся троица стояла перед Ильёй Соломоновичем, внимательно читающим газету в тени шелковицы.

– Илья Соломонович, вот ваш кофе! – сказал Женья и протянул бумажный стаканчик.

– Он такой вкусный! – воскликнул Аркаша. – Мы себе тоже взяли. Мы даже не знали, что кофе бывает холодным.

– Меня научили пить холодный кофе греческие друзья. Летом нет ничего лучше и вкуснее. Особенно если правильно добавить сахар и молоко.

– Это очень вкусно, – сказал Никита. – Мы теперь тоже будем его пить.

– Илья Соломонович, вы обещали рассказать о загадочной пещере! – сказал нетерпеливо Женья.

– А я был в одной пещере. Правда, маленькой. Прямо под художественным музеем, – сказал вдруг Аркаша.

Илья Соломонович заулыбался:

– Это не совсем пещера, это рукотворный грот, который создал архитектор Боффо по просьбе графа Потоцкого, а точнее, его супруги Софии. Ведь наш художественный музей – это бывший дворец Потоцких, который они построили для своей дочери, княгини Ольги Нарышкиной. Кстати, история этого дворца тоже полна загадок. Ну да ладно, я ведь обещал рассказать о нерукотворной пещере, которая стала ловушкой для нескольких тысяч животных три миллиона лет назад.

– Ого, – невольно вырвалось у Никиты.

– Ага! – продолжил Илья Соломонович. – Пещеру нашли совершенно случайно ещё в конце 20-х годов прошлого века – почти сто лет назад, исследуя катакомбы. Автора находки звали Тимофей Грицай, и он просто обратил внимание на то, что в одной из стен из рыжей глины торчали крупные кости. Грицай отнёс несколько костей в археологический музей – специалисты ахнули и сказали, что это кости доисторических животных. Говорят даже, что это самое большое их скопление на планете – пятьдесят пять тысяч! И это при том, что пещеру до конца не исследовали. Кстати, её называли «Заповедная» и создали там палеонтологический заповедник. Смешная тавтология получилась.

– Илья Соломонович, а что такое тавтология? – спросил Женья.

– Тавтология, Женя, это как масло масляное. Ненужное повторение близких по смыслу слов.

– Спасибо, теперь понятно! А что, в нашей пещере нашли кости мамонтов и верблюдов?

– Представьте себе – не только мамонтов и верблюдов, но ещё слонов, пещерных медведей, гиен, страусов и даже саблезубых тигров.

– Но слоны ведь в Африке живут! – удивлённо и даже с вызовом сказал Аркаша. – У нас они замёрзнут!

– Я понимаю твоё удивление, – улыбнулся Илья Соломонович, – но в те времена климат у нас был жарче африканского.

– Вот это да... – вздохнули мальчики.

– Нам бы сейчас так, – пробормотал Никита.

– Ага! Я тоже люблю жару, – сказал Илья Соломонович. – Но давайте продолжим разговор о пещере. Самое удивительное в ней то, что она – карстовая.

– Эх, если бы мы знали, что это такое... – тихо сказал Аркаша.

– Карстовые пещеры образуются в результате размывания и растворения пород водой. Обычно такие пещеры возникают в горах, поэтому наша пещера – явление удивительное. А возникла она благодаря тому, что уровень воды в нашем Чёрном море, а точнее, в его предшественнике – Понтийском море – много раз поднимался и опускался. Вы же знаете, что все старые дома в нашем городе построены из ракушечника?

– Конечно, знаем! – хором воскликнули мальчики.

– И то, что ракушечник – это спрессованные за миллионы лет ракушки, вам объяснять не нужно. Так вот, когда-то толстый слой ракушечника образовался на самом дне моря, а потом, когда уровень воды в море резко упал, оказался на поверхности и стал потихоньку трескаться и раскалываться. А вода, поднимаясь и опускаясь, размывала его изнутри. Вот так под землёй возникали пещеры. И в один прекрасный момент, – хотя для наших доисторических животных он вовсе не был прекрасным, – свод такой пещеры не выдержал.

– И все они провалились вниз? – спросил изумлённо Аркаша.

– Именно так. И дали нам возможность спустя столько лет себя изучать.

Илья Соломонович сделал несколько последних глотков холодного кофе и даже закрыл глаза от удовольствия.

– Да, греки знают толк в жизни, – сказал он мечтательно и, обведя глазами мальчиков, продолжил:

– Кстати, пещера на Молдаванке вовсе не единственная. Все вы, наверное, бывали в катакомбах в Нерубайском.

– Да, мы туда два раза ездили с классом, – сказал Женя.

– А я ещё с родителями ездил, – сказал Аркаша.

– Отлично. Так вот, тот самый профессор Нордман, о котором я уже рассказывал, ещё в позапрошлом веке нашёл несколько пещер с костями ископаемых животных. Одну – прямо в центре нынешнего города, на Карантинной балке. Кто знает, какая там сейчас улица?

– Польский спуск?

– Молодец, Аркадий! Раньше Карантинная балка начиналась от Успенской улицы, и её пересекало целых семь мостов! Со временем четыре моста засыпали, и сегодня на месте Карантинной балки остались не только Польский, но ещё Деволановский и Карантинный спуски. Но мы отвлеклись. Так вот, ещё несколько таких пещер Александр Давидович нашёл как раз в Нерубайском. Тогда эти находки стали настоящей сенсацией, но когда Нордман после смерти жены вернулся в Финляндию, интерес к находкам постепенно угас, а месторасположение пещер было забыто. Так что видите, ребята – всё держится на энтузиастах.

– И что, мы их больше никогда не найдём?

– Нет, найдём. Уже нашли – совершенно случайно, несколько лет назад. Сейчас австрийские учёные ведут там исследования.

– А чьи кости там нашли? – спросил Аркаша.

– Пещерного медведя, зубра, пещерной гиены, слонов. Все эти животные гораздо моложе своих соотечественников с Молдаванки – им всего-то тридцать тысяч лет.

– Ух ты! Вот бы туда попасть! Утащить пару косточек домой! – воскликнул Никита.

– А ещё лучше – бивень мамонта! – поддержал его Аркаша.

– Илья Соломонович, а как попасть в эту пещеру на Молдаванке? – спросил вкрадчиво Женя. – Вы же там бывали?

– Конечно, бывал, и много раз, – улыбнулся Илья Соломонович. – К сожалению, сейчас она закрыта

для посетителей. Конечно, туда есть тайный ход, но его знают совсем немногие.

– Илья Соломонович, расскажите нам, где он! – хором воскликнули мальчики.

– Мы никому не расскажем! Правда! – сказал Женя возбуждённо. – А ещё лучше – давайте с вами туда пойдём. Только родителям ничего не говорите! Пожалуйста!

Илья Соломонович улыбался, глядя на мальчишек.

– Ребята, посмотрите на меня – ну куда мне с вами в катакомбы? А сами вы точно заблудитесь. Тут нужен надёжный человек. Провожатый. Знаете, сколько людей потерялось в катакомбах в поисках сокровищ?

– Каких сокровищ? – воскликнул Аркаша.

– Самых обычных сокровищ. Рассказы о кладах, спрятанных в катакомбах, я слышу с детства, уверен, и мои, и ваши родители в своём детстве тоже слышали подобные истории. Рассказывали о кладе Мишки Япончика, который он прятал в катакомбах под Молдаванкой – там, по слухам, золота на целый миллион. А в катакомбах в районе Большого Фонтана якобы спрятана модель знаменитого «Титаника», сделанная из чистого золота. Ещё рассказывали о сокровищах, спрятанных во время Первой мировой войны грабителем Ванькой-Ключником, которого сыщики выследили, но поймать живым не смогли – он застрелился прямо там, в катакомбах, в одном из залов, который называли «Келья Святого монаха», предварительно спрятав награбленные сокровища – причём так хорошо, что их не нашли ни белые, ни красные, ни даже румыны с немцами во время войны.

– Вот это да... – прошептал Женя.

– Ну да что там сокровища, – продолжил Илья Соломонович. – Наши катакомбы хранят другую тайну, гораздо более важную. И о ней не знает почти никто.

– Какую? – ахнули хором мальчики.

– На то она и тайна, чтобы её не рассказывать, – сказал Илья Соломонович с улыбкой. – Но мы что-то засиделись сегодня. Пора отдохнуть. Да и внучка должна вот-вот приехать!

– Катя? – удивлённо воскликнул Никита. – Она вернулась из Киева?

– Да, вернулась. У моего зятя закончился контракт, и они вернулись в Одессу. К счастью. А вот и она! Во двор быстрой пружинящей походкой вошла стройная девочка с длинными каштановыми волосами.

– Ой, дедушка! Как я рада тебя видеть! – воскликнула она, подбежала к Илье Соломоновичу и обняла его.

– Привет, любимая! – воскликнул Илья Соломонович. – А где мама?

– Дедушка, я приехала сама. На маршрутке. Я ведь уже взрослая!

– Взрослая... Ну да, тринадцать лет. Но для меня ты всегда будешь маленькой. Наверное, – улыбнулся Илья Соломонович.

– Катя, ты меня помнишь? – спросил смущённо Никита.

– Ну и вопросыки ты задаёшь, – засмеялась Катя. – Я вас всех прекрасно помню.

– Ну что, ребята. Мы пойдём домой, – сказал Илья Соломонович. – Я не видел внучку целый год!

Да и отдохнуть пора.

– А Катя вечером выйдет? – спросил Никита.

– Выйдет, выйдет. Не переживай, – улыбнулся Илья Соломонович и медленно встал со скамейки.

– Дедушка, идём. Тебе нужно отдохнуть, – сказала Катя и подмигнула ребятам.

Когда Илья Соломонович с внучкой поднялись по деревянной лестнице на второй этаж, Никита, не выдержав, крикнул:

– Катя, можно тебя на минутку?

– Иди, – улыбнулся Илья Соломонович.

– Дедуля, я быстро! – воскликнула Катя и мигом сбегала вниз.

Мальчишки окружили её.

– Катя, скажи, дедушка тебе рассказывал о пещере в катакомбах? – спросил нетерпеливо Никита.

– В которой лежат кости древних животных? – тут же перебил его Женя.

– Бивни мамонтов и кости саблезубых тигров! – выпалил Аркаша.

Катя изумлённо смотрела на мальчиков.

– Нет... Ничего такого не рассказывал.

– Знаешь что! А ты тогда его расспроси! – сказал Никита.

– А самое главное – узнай, как туда пройти!

– Так, стоп, – сказал Катя. – С этого места поподробнее. Какая такая пещера?

– Женя, объясни ты, – попросил друга Никита. – У тебя лучше получается.

– В наших катакомбах, на Молдаванке, в прошлом веке нашли пещеру, в которой есть тысячи костей



доисторических животных. Слонов, верблюдов, мамонтов и саблезубых тигров. И твой дедушка там был!

– Жень! – сказала возмущённо Катя. – Хватит врать! Какие слоны? У нас же не Африка!

– Вот мы и сами не поверили сначала! – воскликнул Никита. – Но твой дедушка – он же всё знает.

Но проверить всё равно надо. Вот мы и хотим узнать, как найти эту пещеру. Ты можешь у него узнать?

– И потом пойдём все вместе – ночью! – воскликнул Аркаша.

– Аркаша, ну ты как скажешь! – сказал строго Жень. – Какой ночью? Чтобы там точно заблудиться?

А что ты дома скажешь, когда ночью уходить будешь?

– Ладно, не ссорьтесь, ребята, – сказала Катя. – Я всё поняла – точнее, ничего не поняла, – но узнать постараюсь. Никита, я тебе позвоню.

– Сегодня? – спросили мальчишки хором.

– Постараюсь сегодня. Ну, я побежала!

Катя поднялась к себе, а мальчишки задумчиво замолчали.

– Что-то не верится мне во всё это, – сказал Аркаша. – Как-то совсем невероятно. Ну ладно – одна кость. Но тысячи?

– Фома неверующий, – рассмеялся Жень. – Тебя Илья Соломонович хоть раз обманывал? То-то же. Да и какой смысл ему выдумывать?

– Чего мы мучаемся? – сказал Никита. – Пойдём домой, спросим у дядюшки Гугла. Он точно всё знает.

– Точно! – сказал Жень. – Давайте сейчас пойдём по домам, а ты нам позвонишь сразу, как Катя тебе позвонит, хорошо?

Он посмотрел на Никиту.

– Конечно!

Через десять минут после прихода домой Женин мобильник начал разрываться от звонков.

– Я погуглил! Пещера есть! – сказал возбуждённо Аркаша.

– Повиси, у меня Никита на второй линии, – ответил Жень и переключился. Через секунду включила и сказала: – Катя звонила! Срочно во двор!

Ещё через пять минут мальчишки сидели на скамейке под деревом.

По деревянной лестнице к ним тихонько спускалась Катя, держа в руках что-то белое и продолговатое.

– Ты чего так крадёшься? – спросил удивлённо Никита.

– Т-с-с! Дедушка заснул, не хочу скрипеть ступеньками, чтобы его не разбудить!

– А что это у тебя? Ой, да это же кость! – воскликнул Жень.

– О пещере дедушка наотрез отказался говорить. Точнее, о самой пещере рассказал, но адрес не сказал – сразу понял, что это я для вас расспрашиваю. Сказал, чтобы вы приходили завтра утром – он вам кое-что поинтереснее расскажет. А потом лёг спать, а я нашла на книжных полках вот это!

И Катя передала кость Никите.

– Здоровая какая, – пробормотал он.

– Это оттуда? – спросил Жень.

– Не знаю, – ответила Катя.

– Ну ты даёшь! У твоего дедушки лежит кость какого-то мамонта, а ты ничего об этом не знаешь!

– Ничего себе! – возмутилась Катя. – Да у моего дедушки знаешь, сколько всего есть! Полжизни не хватит, чтобы это изучить! Вы рассказали про кости – вот я и нашла!

– Так, не ссоримся, – сказал примирительно Никита. – Катя, спасибо большое, что принесла её. Можно мы её сфотографируем?

– Можно. Только дедушке не говорите.

– Могила! – сказал серьёзно Никита.

И все рассмеялись.

– Ну что, тогда до утра? В одиннадцать? – сказал Жень.

– Да, в одиннадцать, – ответил Никита. – Катя, ты скажешь дедушке?

– Конечно, скажу. Знаете что, ребята? Так здорово снова всех вас видеть!

Никита слегка покраснел.

– Кать, можно я тебе ещё позвоню вечером?

– Конечно! – ответила Катя.

– Может, погуляем вместе? Я тебя на велосипеде покатаю.

Жень с Аркашей тихонько захихикали.

Без пяти одиннадцать мальчишки уже сидели на скамейке и оживлённо переговаривались. Когда дверь квартиры Ильи Соломоновича открылась, они замолчали одновременно, словно по мановению волшебной палочки.

Вместе с Ильёй Соломоновичем вниз спустилась и Катя.

– Садись вот тут, рядом со мной, – сказал, покраснев, Никита и подвинулся.

– Нет-нет, ребята, сегодня мы с вами будем беседовать в другом месте. Пойдёмте на Екатерининскую площадь, к памятнику основателям Одессы. Там тоже есть удобные скамейки.

– Дедушка, давай я пойду вперёд и куплю тебе холодный кофе? – предложила Катя.

– Отличная идея, внучка, – улыбнулся Илья Соломонович.

– Катя, я с тобой! – сказал Никита.

Вскоре все уже сидели на скамейке у памятника.

– Не перестаю любоваться площадью – она чудесно преобразилась после того, как памятник вернули на место, – сказал Илья Соломонович. – Но об этом чуть позже. А сейчас хочу спросить у вас, ребята, вот о чём – обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, что Екатерининская улица, доходя до площади, меняет своё направление?

Ребята удивлённо переглянулись.

– Нет, – сказал Никита.

– И вправду, – сказал Женья.

– Я вас понимаю. Все эти места настолько для нас привычны, что мы не замечаем такие мелочи. Вроде бы мелочи. На самом деле – совсем наоборот. Ведь проект города тщательно разрабатывался Францем Деволаном – одним из этой великолепной четвёрки, которую мы видим перед собой.

Илья Соломонович показал на памятник и продолжил:

– Сама площадь была спроектирована Деволаном ещё в 1798 году, представляете? В проекте она имела круглую форму. Почему же Екатерининскую улицу не продлили? Ведь если мысленно продолжить её, она выйдет как раз к Воронцовскому дворцу. Параллельно идущая Пушкинская, например, выходит прямо к Приморскому бульвару.

– Может быть, что-то помешало? – робко спросил Аркаша.

– Умница. Основная версия – продолжению строительства улицы помешали остатки турецкой крепости Хаджибей. Вы же знаете, что Воронцовский дворец построен как раз на её месте?

Ребята снова переглянулись.

– Нет, не знаем, – пробормотал Никита.

– Ну так знайте. Но крепость была больше дворца, и остатки её стены располагались тогда как раз на месте нашего Воронцовского переулка.

– Ух ты! – сказал Женья.

– И когда в 1819 году архитектор Франсуа Шаль получил от Ланжерона задание разработать генеральный план города, на нём Екатерининская почти что под прямым углом переходила в бульвар. Собственно, как мы и видим это сегодня. Образовалась Екатерининская площадь, в центре которой вскоре появился сквер, а позже, с появлением в городе водопровода – фонтан с тремя чашами. Все построенные потом дома аккуратно окружили площадь по кругу.

А 6 мая 1900 года на площади появился памятник основателям города – тот самый, возле которого мы сидим сегодня. Площадь стала такой красивой, что была даже признана красивейшей в Европе на Всемирной выставке в Париже в 1901 году.

Но памятник ждали многочисленные испытания. После прихода к власти большевиков в 1920 году все фигуры сняли – они стояли больше восьмидесяти лет во дворе Историко-краеведческого музея. На постамент дважды пытались установить Карла Маркса – и дважды он падал. В конце концов, в начале 50-х годов прошлого века постамент снесли. А летом 1965 года, ровно в день 60-летия начала восстания на броненосце «Потёмкин», на площади появился памятник потёмкинцам. Вы фильм Эйзенштейна смотрели?

– Нет... Мы только Эйнштейна знаем... – пробормотал смущённо Аркаша.

– Это ты только Эйнштейна знаешь! – сказал возмущённо Женья. – Разве ты не видел кадры, как по нашей лестнице катится детская коляска?

– Видел, кажется, – сказал Аркаша. – В клипе «Океана Эльзы».

Все дружно рассмеялись.

– Ну вот, – продолжил Илья Соломонович. – Сейчас всё вернулось на свои места. Екатерину практически восстановили заново, а четырёх основателей города вернули со двора краеведческого музея на своё законное место. Потёмкинцы переехали на Таможенную площадь. Такие вот приключения памятников. Да что там памятников – менялись и названия самой площади. После Екатерининской она была Елисаветинской, Дюковской и даже Карла Маркса. Площадь меняла своё название семь раз!

– Ничего себе! – воскликнули мальчишки.

– Но всё это не даёт нам ответ на вопрос, почему в этом месте появилась площадь. Почему улицу просто не продлили до бульвара. Тут есть определённая загадка.

– Какая загадка? – спросил быстро Женья.

– Илья Соломонович, расскажите нам! – сказал Аркаша.

Илья Соломонович улыбался, внимательно глядя на ребят.

– Дедушка, ну пожалуйста, – сказала Катя.

– Вы обещаете, что никому ничего не расскажете?

– Обещаем! – выпалили мальчишки.

– Ни в школе, ни друзьям, ни даже родителям?

– Не расскажем!

– А ты чего молчишь? – спросил с улыбкой Илья Соломонович у внучки.

– Дедушка, ты же знаешь, – обиженно ответила Катя.

– Но помимо сохранения тайны, я должен взять с вас ещё одно обещание. Оно покажется вам странным.

– Какое обещание, Илья Соломонович? – спросил Никита.

– Вы никогда, ни сейчас, ни потом, не будете проводить раскопок на Екатерининской площади.

Ребята недоумённо переглянулись.

– Я же сказал – это покажется вам странным.

– Обещаем, дедушка, – сказала Катя.

– Да, обещаем, – сказал серьёзно Женья.

– Ну хорошо. Кстати, в катакомбы вы уже пробовали забраться? Искать кости – вроде той, что вам показала Катя?

– Дедушка, но откуда... – пробормотала Катя и густо покраснела.

– В детстве я был точно таким же, как вы. Мы с друзьями исследовали все возможные входы в катакомбы – до того, как их закрыли. Почти все. Но кое-где они остались...

– Илья Соломонович, расскажите нам, пожалуйста, как попасть в пещеру! – сказал нетерпеливо Никита. Женья толкнул его в бок.

– Давай поговорим об этом в следующем году, хорошо? А пока давайте ещё раз договоримся о том, о чём я вас попросил. Не копать на Екатерининской. Ни сейчас, ни в будущем.

Никита хмыкнул:

– Илья Соломонович, как вы себе это представляете? Там же куча народа! И что мы будем там искать? Клад?

– Там что, зарыт клад? – поразился внезапной догадке Аркаша.

– Нет, не клад. Хотя... возможно, это можно так назвать. Клад для всей Одессы. Итак, вы обещаете?

– Обещаем! – сказали мальчишки.

– Ну что же... Дело в том, что под Екатерининской площадью находится пещера с веселящим газом. Мальчишки поражённо посмотрели друг на друга, и Женья спросил:

– Каким газом?

– Веселящим. По-научному он называется оксид, или закись азота. Это сильнодействующий газ, вызывающий у человека возбуждение и веселье, но через короткое время приводящий к тяжёлым последствиям – вплоть до смерти.

– Илья Соломонович, откуда вы об этом знаете? – спросил недоверчиво Никита.

– Мой дедушка всё знает! Он же историк! – сказала возмущённо Катя.

– Простите, – смутился Никита.

– Совершенно правильный вопрос, особенно для будущего учёного, – улыбнулся Илья Соломонович. – Подвергать всё сомнению и переосмысливать – самый правильный путь. А я знаю об этом не потому, что проводил тут раскопки – это действительно опасно. Сначала нам рассказал об этом школьный учитель истории.

– Александр Семёнович? – спросил Аркаша.



– Именно он. У тебя хорошая память. А потом, много позже, я увидел редкие архивные документы начала девятнадцатого века. Они не находятся в свободном доступе.

Происхождение этой пещеры подобно той, о которой мы говорили вчера. Она тоже карстовая. Пещера практически герметичная, небольшая, из неё есть несколько коридоров, ведущих в сторону Приморского бульвара. В результате природных явлений в ней собрался веселящий газ в большой концентрации. Действие его таково, что человеку становится сначала смешно и весело, а потом он перестаёт себя контролировать, впадая в истерическое состояние. Это состояние может привести к сумасшествию или смерти от удушья – достаточно подышать газом пятнадцать-двадцать минут. Первый на себе испытал влияние «веселящего газа» знаменитый английский химик Хэмфри Дэви.

Об этой пещере знали ещё турки, основавшие Хаджибей. Именно поэтому они и построили такую маленькую крепость, а дома на территории нынешнего Приморского бульвара стояли только вдоль моря. Знал о ней и Франц Деволан – именно поэтому спроектировал на этом месте площадь. Для того, чтобы при строительстве домов никак не задеть стены пещеры – ни тогда, ни в будущем. А городские власти запретили добычу камня и разработку катакомб в центре Одессы. Кстати, в первом проекте Одессы, разработанном Деволаном, никакой лестницы, ведущей от бульвара к морю, не было.

Поэтому в районе Приморского бульвара долго ничего не строили. И когда военные инженеры Уптон и Морозов всё же начали строить великолепную лестницу, которую мы сейчас называем Потёмкинской, они не позволяли одной бригаде работать более трёх-четырёх часов. А лестницу спроектировал Франц Карлович Боффо – мы уже говорили о нём вчера.

– Илья Соломонович, но вы же сказали, что достаточно подышать веселящим газом пятнадцать-двадцать минут, чтобы всё... – сказал Женя.

– Откинуть коньки, – пошутил Никита.

Катя укоризненно посмотрела на него:

– Ну и лексика у тебя!

Никита смутился и начал смотреть себе под ноги.

Илья Соломонович улыбнулся:

– Женя, ты абсолютно прав. Но всё зависит от того, в какой газ концентрации. Если он сильно разбавлен кислородом, его действие существенно ослабевает. Поэтому его даже используют в медицине – для наркоза. Только очищенный и смешанный в правильной пропорции с кислородом.

Ну а нам, одесситам, с этим газом очень повезло.

– Почему повезло? – спросил удивлённо Аркаша.

– Я говорил о том, что пещера практически герметична. Практически. Но не полностью. Веселящий газ понемногу выходит из-под земли. И в этом разгадка появления знаменитого одесского юмора. Почему именно наш город известен всем как столица юмора? Да потому, что каждый одессит с детства дышит правильным воздухом. Поэтому в Одессе так много весёлых и талантливых людей. Поэтому знаменитая Юморина проходит всегда в центре города – там неизменно хорошее настроение. И именно поэтому Одесса так привлекает туристов и гостей. Заметьте – приехав единожды, все стремятся вернуться в Одессу вновь и вновь – сами не понимая, почему.

– Звучит просто фантастически, – сказал задумчиво Женя. – Просто легенда.

– Можете считать это легендой. Легендой о происхождении одесского юмора. Главное – не проверяйте. Когда Александр Семёнович рассказал нам об этом, мы тоже не поверили. И, кстати, он тоже взял с нас слово, что мы не будем пытаться проверить его слова и искать вход в пещеру.

– Ну и ну... – сказал Никита. – Это покруче костей будет...

– А мне кости больше нравятся, – сказал Аркаша.

– Ну хорошо, ребята. Вы будете тут? Я пойду к себе – обеденное время, да и газеты свежие не читаны.

– Дедушка, я помогу тебе, – Катя поднялась со скамейки и взяла Илью Соломоновича под руку.

Отойдя на несколько метров, Катя повернулась к ребятам.

– Ты вернёшься? – спросил Никита одними губами.

Катя кивнула и улыбнулась.

Когда она вернулась к памятнику, мальчишки оживлённо спорили.

– Я предлагаю искать человека, который может привести нас в пещеру с костями. Наверняка такие есть, – сказал Аркаша.

– А я предлагаю попробовать найти ход в пещеру с веселящим газом, – возразил Никита.

– Ага, задохнуться и умереть? Ты думаешь, что говоришь? – сказал Женя.

– Так он же будет смешиваться с воздухом! Если что, просто посмеёмся. Зато узнаем, правда ли это. Это же сенсация!

– Ребята, не спорьте, – сказала Катя. – Дедушка рассказал мне, что трое ребят из его класса не послушали Александра Семёновича и стали искать ход в пещеру – под Потёмкинской лестницей. После войны многие ходы в катакомбы были открыты. В конце концов, они его нашли, но всё закончилось страшно – один из них умер, а двое других долго лечились. Так что уж лучше я буду просить дедушку дать вам надёжного провожатого в пещеру с костями.

– Кать, но вся эта история с веселящим газом действительно звучит как выдумка! Как легенда! – сказал Аркаша.

– Вот и пусть остаётся легендой. Ну что, пойдёмте пить холодный кофе?

Мальчики переглянулись, и на секунду воцарилась тишина.

– Пойдёмте, – грустно сказал Никита.

– Что с тобой? – спросила удивлённо Катя.

– Ничего, – буркнул Никита.

– Никита расстроился, потому что умер, не родившись, его первый в жизни бизнес-проект, – сказал Женья и улыбнулся.

Аркаша тихонько захихикал.

Никита обиженно посмотрел на него:

– Шас как...

– Двинешь? – спросил, смеясь, Аркаша.

Тут уже рассмеялись все. Кроме Никиты – он стоял гордый и надутый.

– Так что это за бизнес-проект? – спросила Катя.

– Продавать законсервированный одесский воздух, – сказал Женья, давясь от смеха.

– Так его вроде давно продают, – удивилась Катя.

– Так это подделку продают! А я бы прямо в пещере набирал, с веселящим газом! – выпалил Никита.

– Так вот оно что! – сказала Катя, смеясь. – Идея отличная, возьмишь меня в долю?

Никита обвёл взглядом ребят и сам прыснул от смеха.

Аркаша, смеясь, обнял его за плечи:

– Ну вот, отпустило. Идём пить холодный кофе.

– Не пойму – мы так смеёмся потому, что нам смешно, или потому, что на нас уже действует веселящий газ? – спросил Женья.

И все рассмеялись ещё громче.

ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ

ИГРА В КУБИКИ НЕ ПО ПРАВИЛАМ

рассказ

По Ласточкиному спуску Люда побежала вниз, узкой глубокой лестницей.

– Я с Ольгой! – закричал Гридин.

– Нельзя в толпу, – сказала Оля, – Люда, назад! К тебе, к тебе, – закричала отчаянно.

Продираясь сквозь улицу, словно плыли в густом борще. Горько и горячо пахло дымом. Погромом пахло.

Гридин, не отпуская локоть Ольги, крепкими влажными пальцами схватил за руку Люду и потащил. Люда, как пристяжная, не отклениваясь от Гридина, закашивала, пытаясь слева прикрыть Ольгу. Так тройкой добрались до Театрального переулка, когда раздался хлопок, Оля побелела, напряглась и сказала:

– Попали!

Пауза повисла, стало душно и знобко одновременно... Постепенно рокот и плеск толпы, прущей с бульвара в сторону центра, накатил, накрыл троицу с головой.

Гридин, схватив Ольгу в охапку, вращал синими белками, и глаза его были безумны.

– Идёмте, не стойте, не надо! – резко сказала Люда. – Мы уже почти пришли.

В доме пахло влажной уборкой. Оля лежала с открытыми глазами, в глазах горели оконные стёкла заходящим пожаром – солнце скатывалось к морю, и высокий берег был багров, и небо, отражающееся в стёклах, и стёкла, отражающиеся в глазах, и Ольгины глаза были багровы.

– Будет много смерти, – сказала Ольга.

Гридин мямлил пальцы, сминал щёки, теребил подбородок, и Люда, не выдержав зрелища, дала ему в руки тарелку. Гридин оцепенел с тарелкой, дымящейся супом, и сказал:

– Спокойно, надо готовиться.

– Я вроде как уже приспособилась, – хмуро сообщила Ольга и, улыбнувшись, – но я протестую.

– Да уж, приспособилась, ты что, детей с ней крестить собираешься?

– В недолгом, но счастливом браке, – отозвалась Оля на Людин голос, и обе невесело рассмеялись.

– Телефон работает, значит, почта и телеграф не взяты, – сказал Гридин. – И есть шанс вызвонить Кудимова.

– Бери саквояж, Чехов! – сказал Гридин в трубку Кудимову, – мы ждём в Театральном, шестнадцатый номер. Скальпель захвати.

Через двадцать минут Кудимов, то есть Чехонте, уже колдовал над тихой Олей. Пуля сидела под ключицей. Потом звякнула о фаянс чашки, и чашка неожиданно треснула. Люда зачарованно смотрела на трещину.

– Твою мать, двойной разор! Ольку хоть зашъём, а с этой что делать, она же течь будет.

Счастье вытечет, эту надо добить. И, зажав пулю в кулаке, локтем спихнул чашку на пол.

Чехов потёр Олин висок большим пальцем с вышуклым голубоватым ногтем.

– Ну, голубушка, знак жизни подашь?

Ольга глаза приоткрыла и сказала:

– После сорок восьмого года погромы в Одессе прекратились, потому что готовность сохранялась и страх жил всегда...

Значит, новые пришли времена – сказала грубым голосом Люда. И уже есть кого и кому громить.

– Когда рвануло в Татарбунарах в конце века и цыгане пошли на гагаузов, как черносотенцы на жидов в 1905-м, стало ясно, что моя недавно появившаяся в прессе статья «Как это делалось в Одессе» о еврейских погромах конца позапрошлого века, безответственна, но актуальна. Статья разошлась тиражом в тридцать

две тысячи. Мы думали, что для газеты с именем «Знамя коммунизма» это смелый демократический шаг, а теперь, оказывается, газета как бы выступила инструктором по погромам. И инструкция спущена как бы сверху... А «Знамя коммунизма» гордо реет на ветру.

– О, – сказал Чехов, – вполне жива и жить будет. Но вредные последствия неизбежны. Вина, агрессия и тексты – какие тексты! А – есть хочешь?

– Нет, – сказала Оля строго. – Суп есть не хочу. Спасибо тебе, Чехонте, за пулю и шрам на левой груди. Я тебя отблагодарю, когда всё кончится. И, как думаешь, это что происходит? Когда сюда шёл, ты что-то понял? Это переворот?

– Радость моя, – сказал Кудимов. – Грудь у тебя несколько ниже, и она всё еще прелесть как хороша...

– О, если бы, – сказал Гридин. – Но это происходит рецидив прецедента.

– Что? – с ужасом спросила Ольга. – Моя грудь?

А Люда сказала строго:

– Твоя грудь не может быть прецедентом. Прецедентом может быть только событие. И мы про «прецедент» не знаем ничего. Мы что, к Турции присоединились или поддержали Приднестровскую республику?

Гридин дёрнул Люду за ухо, наклонившись, ласково шепнул:

– В Одессе решили национализировать личную собственность. У товарищей отбирают галстуки и бабочки. И у остальных – бюстгальтеры, – попыхивая трубочкой, добавил Чехов. – Господа! Середина двадцать второго века ознаменована в Одессе погромом по «личному поводу».

Но Люда сказала:

– Коммунизм – скоммуниздили. Идиоты.

– Но «Знамя коммунизма» осталось!

– И это справедливо, – сказал Гридин. – Только его перенменовали. В «Юг».

По улице вяло бежал людской поток, оскудевший и уже никакой не поток. Отдельные граждане, прижимаясь к домам, запоздало добирались до родных дверей.

– Собственно, можно включить новости, – Люда нажала кнопку, и с экрана сообщили, что идёт дождь и город сдан без боя.

Но вот уже сорок минут, описывая, что происходит в городе, диктор не сообщил, кому город сдан. Этого не сообщили и через три часа.

Глубокой ночью, объединившей компанию в квартире 16 по Театральному переулку, дома номер 16, произошло событие, напрягшее всех ещё больше. В открытую форточку влетела ракета, малиновая вспышка, рассыпавшая бенгальским огнём искры. Ракета утонула в платяном шкафу, он вспыхнул весь и сразу. И начался пожар.

– Блин, – сказала изумленная хозяйка, – это был мой гардероб! Весь! Я теперь голая. Гасим, я ещё и без квартиры останусь!

Затихли через полчаса. Потушить пожар удалось, и это было чудом, потому что он вроде как велемнем Господним погас, не токмо усилиями троих растерявшихся. И Гридин, поразмыслив, сформулировал: «Самое страшное среди тут уже позади. Кровь агнца пролилась. Бархат и парча взяты в жертву. Молчание наше велико, а скорбь и страхи безмерны. Пора соснуть, к утру прояснится. Возможно. Мы всех своих обзвонили?».

Оказалось, что никто вообще о своих не вспомнил.

– Так не бывает, – сказала Люда. – Оля не могла забыть. Ты не забыла?

– Да, – ответила растерянным голосом та, – я забыла.

– Это наведённое, – сказал Гридин. Потому что так действительно не бывает, чтобы Ольга не позвонила. Он протянул Оле её мобильник. И тут оказалось...

Металлический голос сообщил, что, собственно, города больше нет. Всё. Больше он ничего не сообщил, этот неживой голос. Люда в окно глянула.

– Город есть, – опровергла.

И зазвенел телефон. И Чехов, вслушиваясь, утвердительно головой кивнул. Положил трубку, звякнуло отбоем. Сказал успокаивающе: «Нет города. Не верьте глазам своим. Это только провинция у моря, город перенесён в другое место. Как здание, взятое под охрану государством и смещённое с улицы Подбельского на Еврейскую».



– А разве такое было? – усомнился краевед Гридин.

– Такого – не было. Но теперь есть.

Ольга уткнулась в мобильник, дозваниваясь, и голосом, как необливанное стеклышко, тускло сообщила:

– Центр перенесли в братский Ильичёвск, к мэру Шмельнюку. Валерий Иосифович решил спасти Дерибасовскую. Мэр Бодеган хотел мостовые выкорчевать и застелить всю пешеходную зону Одессы своей розовой плиткой. В горошек.

– Они глючат, – сказала Люда. – Они там перепилились, их колбасит, и все зависли.

– Нет, они не зависли, они именно глючат.

– Не препирайтесь, – сказал Чехов, глядя в окно. – Там, в ночи, всё неподвижно и тихо. Не видим мы, что происходит в темноте. И мы другие, и они не те. А может быть, телефонисты правы и дикторы не врут? Что там говорят на ночном канале?

Ночной канал передавал: Шмельнюк лучше Бодегана. Бодегана больше нет. Вся власть в руках... сосредоточена.

Город-спутник Одессы Ильичёвск, подставив румяные щёки степному ветру, перетягивает семейство бронзовых львов и фонтан из городского садика в район своего Ильичёвского порта. А на месте горсада, что справа был от Дерибасовской, возник котлован с бьющими минеральными скважинами.

– Ой-ё-ё коломэнэ, – сказал Кудимов. – Прожопил таки Одессу хренов молдаванин.

Ночной канал голосом Саши Беккерера сообщил: Бодеган обнаружен. В ЮАР. Но стало известно из архивных данных начала 21 века, что он успел напакостить в Санкт-Петербургском порту.

– Господа! – сказал Беккерер трагически. – Времена не выбирают! Всё спуталось, и не понять «Россия, Лета, Лорелея»? Какого черта Руслан Ибрагимович в святом городе розовым горошком плиток своих – мостовую кроет?!

Утро наступило с внезапной трели трамвая. Люда сказала хрипло:

– Здесь не может быть трамвая, его убрали после войны, лет двести тому! Он мордой упирался почти в театр, и это всегда раздражало предка! Отродясь такого противного звонка не слыхала. У кого-то сегодня чердак снесло, – добавила утрюмо Люда.

Там, где раньше была городская Дума, скалившаяся в затылок великому одесскому поэту Пушкину белыми, подсвеченными по вечерам колоннами, там торчал указатель трамвайной остановки и стоял красненький солдатик сдвоенных вагонов неизвестного маршрута.

– Всё правда, – сказала Люда потрясённо и отшатнулась от окна. – А... как нам теперь быть? Как мы всех найдём?

И бросилась к телефону.

– А что телефон? – сказал Гридин. – Они, небось, списки вывесят на Куликовом поле...

Оля, не мигая, смотрела в экран. По седьмому каналу передавали балет «Белый лебедь». Она так и сказала:

– Белый лебедь. Опять.

– Оля-ля-ля! – сказал Чехонте. – Ты имеешь в виду «Лебединое озеро»?

– Раз Чайковский с утра – как минимум, труп, – процедила сквозь зубы Оля.

– Или государственный переворот, – хмыкнул Чехонте.

– Это инопланетяне. Шмельнюк – скрытый поэт. Зашифрованный, – сказала Ольга. – Он просил меня в 1984 году прийти в горком, полистать его тетрадочку. Он тонкий лирик. От него я узнала, что инопланетяне на Одессу глаз положили.

– Иди и читай. Прямо сегодня, – грозно сказал Гридин – дешифровкой займись, дура, не сделала этого вовремя!

– Я не могу, – Ольга смотрела твёрдо и прямо. – Я раненая. И не злобствуй. Ты же сам меня недоохранил вчера.

– Не справился я, – сказал с печалью Гридин.

– И поэтому концы рубишь, посылаешь меня... – Оля задумалась, приподнялась с подушек и сказала: – А я ничего подобного в фантастике не читала.

– Это потому, что ты фантастики не читаешь, – сказал Кудимов.

– Сюжеты предложить можете? Вспомните что-нибудь похожее?

– А что? Нас всех глючит? – спросил Гридин. – Я думал, что утром закончится.

И все опять посмотрели в окно.

13-30. Зазвонил телефон.

– Кто говорит?

– Мы разыскиваем Олю.

Ребёнок сообщил – пятнадцать раз уже звонили. Искали Олю, искали...

– У вас нет Оли? Везде одно и то же, все потерялись. Не знают, где находятся. И мы не понимаем ничего. А те, кто звонят нам, не знают, где находятся, потому что те, кто из дому выходил, не вернулись, а из окон видно, что всё переставлено, как в неправильных кубиках, и вот мы смотрим, смотрим, а картинка не складывается в то, что было.

Голос в трубке дрогнул:

– Так вы дадите нам Олю?

– Никуда не выходите, – завоновалась Люда. – Вы одни?

– Нет, – сказал Вероник, – мы не одни. Мы впятером в «Менеджера» играем. Мы не успели разойтись, а Мариночка, когда это началось, никого уже не выпустила. Так дайте нам Олю.

– Не волнуйся, – сказал Вероник в трубку, – Олькин, раз мы тебя нашли, всё будет теперь в порядке.

– Разумеется, – ответила Ольга. – А что ты видишь из окна?

– Море, наверное, – улыбнулся голосом Вероник. – Я вижу море. А прибой там, где раньше был наш хлебный.

– А может быть, это Хаджибей?

– Что я, море от лимана не отличу? Это море, и слева порт. На месте Еврейской больницы. Мариночка говорит, что мы видим Ильичёвский порт – почему-то, – удивился голос сына.

– А справа что? Что ты видишь справа, выйдя на балкон?

– Ты, мама, не волнуйся, – вмешался голос дочери. – Нет теперь балкона. Его задело стрелой портального крана и снесло на фиг.

– Не выражайся, – автоматически одёрнула Ольга. – А справа как?

– А справа так же, как и было. Нас перенесло левой частью Мясоедовской. Кажется, почти целиком. Во всяком случае, выглянув в форточку, Мариночка видела и молочный магазин, и что по Халтурина мчалась пожарная машина. Значит, пожарка и всё, что до неё, осталось с нами. Тебе нужны ориентиры, – догадалась дочь, – и ты найдёшь нас!

– Да, я вас найду. Не сразу. Создадим карту местности. Разобраться нужно.

– Ты привяжись поточнее, мама, – Вероник дышал взволнованно.

– И не боись, Мариночка будет с нами. Ты не переживай, – рассудительно успокаивала дочь.

И Оля похолодела.

– Дай мне...

Но тут вмешался механический голос:

– Не циркулирует 00423, перерезка вириокинатарума по пульту номер четырнадцать.

– Чего? – пролепетала Оля.

Вторые сутки закатывались за неподвижный трамвайчик, торчавший в месте несоответствия. Из квартиры Люды никто не выходил – а куда? По телевидению показывали чёрт-те что. По всем каналам танцевали лебеди, плавали в заливах, вышиты сидели на ковриках, нарисованно стояли в каждом кадре, набивными чучелами украшали длинные столы, покрытые малиновым сукном – мёртвое царство, зачарованное Чайковским.

Было понятно: телефон работал как хотел. По телевидению показывали что хотели. Только непонятно было, кто.

– Кто, кто, кто? – завопил Кудимов, – в этом теремочке живёт! Из какого Бокубанди это чер-те что?!

Никто никуда дозвониться не смог. А на улицу лучше не выходить. Потому что неизвестно, где оказываются те, кто не возвращается, выйдя. Об этом предупреждали по всем каналам. В перерывах между лебедями. В паузах между Чайковским.

И стало очевидно, что Одессы больше нет. Как нет, впрочем, и Ильичёвска, набухающего не по часам, а поминутно одесскими улицами, кварталами целыми, площадями с обглоданными переулками, жителями, теряющимися среди перепутанности пространств. А со степи напал туман.

А что есть, что получается из рушащегося и возникающего вновь мира – пока не ясно. И что делать со всем этим, никто не знал.

В этот момент всеобщего недоумения раздался международный тревожный звонок, и тут же голос диктора интерканала командным голосом произнёс: «Не поднимайте телефонных трубок! Не пользуйтесь мобильной связью! Не смотрите в окна! Потому что дальше неизвестно, – съехал голос диктора, – неизвестно и... никто ничего пока не придумал».

P.S.

– А почему я Чехонте, – спросил Кудимов, – из-за вот этого? – и покатал на ладони пулю.

– Нет, шёпотом ответила Ольга, – потому что ты теперь ответишь на все возникшие вопросы. Напишешь, что это такое произошло четвёртого дня и когда я увижу своих детей. Ты сделаешь это.

– Ну, нет, – сказал Гриндин, – нашла классика! Тот только и мог, что красотой спасать мир. А здесь требуется иное. И этого пока не придумали. Тебе же только что по телевизору сообщили.

– Заткнись, – грубо оборвала Людмила, – и, хмыкнув, добавила – такие вот пирожки с котятками. А лепит их – вы сами знаете кто, – 3,14-левины всякие, настоянные на сарокина-милоновых. Вот они за всё и ответят, когда мы сумеем до них добраться.

Ольга согласно кивнула:

– Когда-нибудь.

...Через шестнадцать лет тому – когда-нибудь наступило.

«МЕГАФОН»

ПРЕОДОЛЕВАЯ МЕРЦАНИЕ

От редакции: В нынешнем номере «Южного Сияния» в рубрике «Мегафон» мы публикуем интервью с поэтом, прозаиком, критиком, организатором литературного процесса Александром Петрушкиным.

В течение последнего десятилетия Александр – лауреат ряда литературных премий; куратор проектов культурной программы «Антология», других литературных премий, фестивалей и семинаров. Учредитель и издатель нескольких антологий, книжных серий, альманахов и журналов: журнала актуальной литературы «Транзит-Урал», литературно-художественного фонда «Антология», фестивалей «Новый Транзит» и литературы малых городов им. Виктора Толокнова. Главный редактор литературного журнала «Новая реальность». С 2008 года – координатор независимой поэтической премии «П». С 2009 – организатор и куратор евразийского журнального портала «Мегалит» (promegalit.ru), объединяющего десятки литературных изданий. Автор сборников стихов «(В)водный ангел» (2005), «Анатомия» (2006), «Я полагаю что молчанья нет» (2007), «Кыштым: избранные стихотворения 1999-2008 годов», «Пойми, никто не виноват» (2010), «Маргиналии» (2011), «Летающий пёс» (2012), «Отидо: черновики 2013 года» (2013). Член «Союза писателей Сибири», «Союза писателей XXI века» и Южноуральского Союза Писателей.

Интервью, в частности, затрагивает вопрос Озёрной поэтической школы как явления. А после интервью мы знакомим читателей с творчеством поэтов Озёрной поэтической школы.

С.Г.: Насколько я понимаю, термин «озёрная поэтическая школа», несмотря на свою явную шутливость – в первую очередь географический, и только во вторую – характеризующий образную и смысловую общность представленных в подборке поэтов. Как и когда зародилось то, что сейчас позиционируется как «озёрная поэтическая школа»? Можно ли говорить о некоем взаимодействии между поэтами, преодолевшими свою географию, сейчас? Что это для тебя в первую очередь – милая шалость или элемент дистанцирования от «уральской» и других школ, некий показатель инаковости, обособленности?

А.П.: Конечно же, в первую очередь – шалость, но как показывает мой опыт жизни в литературе (возьмём, к примеру, тот же «Мегалит») – то, что начинается, как шутка или пост в ФБ, ЖЖ и т.д., в итоге приводит к серьёзным тектоническим подвижкам. Во вторую очередь – для меня лично – это и попытка сепаратизма в отношении уральской поэтической школы, которая в нынешнем своём состоянии/векторе общности, перестала быть эстетически и методологически близкой мне. В то же самое время, вспоминается то, как в году то ли 2002-м, то ли в 2004-м, идеолог УПШ Виталий Кальпиди написал свой манифест/статью, в которой предложил, как поведенческую литературную модель, самоотделение уральской литературы от московской и питерской метрополии на основе наличной самодостаточности треугольника *Пермь-Екатеринбург-Челябинск*. В этом аспекте выделение Озёрной школы является вполне логичным продолжением предложенного ВК процесса атомизации литературы, причём без привязки к какой-либо географии, кроме как изначальной генеалогии – места пубертатного становления личности (тут я приверженец теории о том, что всё закладывается местом проживания в период от 2 до 14 лет.

Понятное дело, что такой взгляд не может не быть субъективным, так же как, скажем, набор авторов в гипотетический состав школы. То есть, я хочу сказать, что вот, скажем, екатеринбургский критик Юлия Подлубнова предполагает, что состав списочный школы будет в дальнейшем пополняться. Возможно, что и будет, но не мной. Мне интересно быть с тем, что уже есть, что уже состоялось – затем перешло к некоторому закрытому диалогу (то есть тому диалогу – наличие которого понимать/принимать свидетелю необязательно – а достаточно просто прочитывать стихотворение). В этом смысле Озёрная поэтическая школа лишь транслирует состоявшихся авторов, но не раздаёт авансы и не формирует своё продолжение. Продолжение, если оно будет необходимо, появится самостоятельно и, возможно, что в качестве антитезы тому, что некоторое время назад обозначил я.

С.Г.: Охарактеризуй вкратце, если можешь, творчество каждого поэта, входящего в «озёрную поэтическую школу». Начиная с себя... Есть ли общий исток у всех шести авторов? – я имею в виду предшествующие литературные течения, религиозную составляющую, или же писатели, которые *безусловно* повлияли на творчество каждого из вас? Какова объединяющая метафизика?

А.П.: В первую очередь надо понимать, что всё, что я отвечу на этот вопрос, не может претендовать на безусловность. Даже то, что сами авторы РОПШ думают о себе и своих корнях, тоже не может быть безусловным, а то что мы видим, глядя на себя (тем более, при максимальной приближённости к объекту/себе) – всегда искажено.

Итак, о авторах. *Петрушкин* – ощущает максимальную заинтересованность в метареалистической линии русской поэзии (Жданов, Парщиков, Кутик, Кальпиди периода «Мерпания»), из современников наиболее заинтересован в Андрее Таврове, Дмитрие Машарыгине, Андрее Санникове. Особняком в линии интересов стоит Леонид Аронзон. По моему скромному мнению – ни линия метареалистов, ни линия Аронзона ещё не исполнили себя полностью (хотя шансы на это в рамках развития Уральской поэтической школы были – увы, они остались нереализованными).

Евгения Изварина – для меня нынешняя Евгения это так же попытка языка продолжить себя в линии метареализма, но несколько более облегчённая, менее замороченная/вымороченная, чем моя, она ближе к читателю.

Дмитрий Машарыгин – совмещение линий Айги и метареалистов с определёнными акцентами на творчество «основных» уральских авторов (Андрей Санников, Юрий Казарин) – я бы даже сказал – некоторое преодоление этих поэтов в себе. Возможно, что в случае Дмитрия где-то слегка и я присоседился, поскольку наиболее густой диалог проходит/в рамках РОПШ проходил именно между нами. Ну мне так кажется.

Маргарита Ерёмченко – наиболее приближена к тому, что некоторое время назад именовалось Нижнетагильской поэтической школой, единственной сформировавшейся подшколой в рамках Уральского поэтического движения (такой ребрендинг некоторое время назад произвели создатели УПШ). Соответственно, сильно влияние женской части нижнетагильского коллектива (например, Екатерины Симоновой и Евгения Туренко). Плюс определённое влияние того, что я бы назвал советской классической провинциальной поэзии. Для меня это такой женский вариант Алексея Решетова (но повторю – я вполне могу заблуждаться в отношении каждого из нас).

Наталья Черных – самый удалённый от Урала автор, которого я причисляю к РОПШу – проживает в Москве. Здесь можно было бы говорить о влиянии «второй русской литературы» Ольги Седаковой и Елены Шварц. При всём при этом, если Седакову для меня всё-таки более автор католический, то Наталья Черных – в моём восприятии это вариант православной христианской (авангардной!) поэзии. Очень любопытно для меня.

Ну и о *Наталье Косолаповой* – тут следует заметить, что это автор одного поэтического периода, поскольку пауза в её творчестве несколько затянулась. Ну и как бы сложно мне говорить о влияниях на мою жену. Вероятно, что главное влияние здесь – я. Причём не только (и не столько в плане поэзии. Если же вдруг наступит новый период в её творчестве – думаю, что это было бы интересно).

Теперь о религиозной составляющей, что меня не перестает удивлять в «своих авторах» – это очень мощная православная подкладка всего творчества автора с наложением христианской матрицы на не менее мощную авангардную методологию подачи текста.

Ну, а метафизика – это то, о чём молчат :) – вероятнее всего, природа пейзажа, в котором мы росли: здесь и радиобобия (Озёрск, Кыштым, Касли – города максимально близкие к месту третьей по мощности, после Фукусимы и Чернобыля, аварии), и наличие нормальных для провинции культурных пустот,

когда тот, кто начинает движение в направлении «тоски по мировой культуре, напоминает, более всего, Мюнхгаузена, вытаскивающего себя за волосы из болота. А природа – да прекрасна, необыкновенна, и иногда мне кажется на её /природы/ плоскости проступают лики. Но это я романтически отвлёкся.

С.Г.: В XX веке были придуманы тысячи манифестов различных поэтических групп, существуют десятки сборников, сводящих в одно все усилия идеологов от литературы. С одной стороны, литературный манифест можно назвать отдельным, сродни некой сфере услуг, видом литературы, с другой – не многие группы со своим «уставом» действительно досконально и продолжительно придерживались его позиций. Обошло ли вас это «новомодное» поветрие или же тоже были попытки создания своего свода правил и мировоззренческих постулатов? Как думаешь, способны ли манифесты выполнять определённую объединяющую функцию или единство группы поэтов поддерживается в основном заложенными историческими обстоятельствами, приверженностью к любимым авторам и т.д.?

А.П.: Ну, в связи с обычным моим косноязычием, я не слишком люблю манифестацию – хотя в юности что-то такое тоже писал. Для меня всё-таки, любой манифест – это обманка, попытка говорить о том, что равно имеет шансы и существовать, и не существовать. Чаще всего получается второе. Мне же ближе говорить о том, что уже есть и только лишь закрепить произнесением/называнием вот это самое. РОПШ, в этом смысле, для меня идеальное природное, можно сказать геологическое, явление.

Если же говорить о манифестах, то – как точка отталкивания, начало самостояния – это имеет право на жизнь и, вероятно, даже правильно, ведь развитие любого течения происходит только из противостояния. Это может мне не нравиться, но таковы законы развития. А кто сказал, что я обязан соблюдать или принимать все правила «игры»? Если все любят играть в шахматы – я вовсе не обязан бросать свой любимый покер и переключаться на них.

С.Г.: Саша, есть мнение, что поэты – люди особые. Им проще понять собеседника не через бытовую речь, а через образы и символы, впитавшиеся в стихотворения. Диалог между поэтами часто не похож на диалог «простолюдинов». Насколько тебе легко находить общий язык, к примеру с поэтами-реалистами? А с людьми, которые имеют опосредованное отношение к искусству вообще? Считаешь ли ты, что авангардные, интуитивные направления равновесомы с реализмом в поэзии?

А.П.: Я не сторонник теории о «особости» поэтов – зачастую поэты (или не совсем поэты) ничем не отличаются от обыкновенного сантехника, библиотекаря, разнорабочего – кроме вот этого самого ощущения пресловутой самости. Вообще, считаю, что говорит не поэт, а говорят им, пытаются быть услышанными те [тот], кто находится за пределами нашего космоса (в православной догматике есть такая идея, что мир космоса, то есть – я так понимаю – это княжество врага, это неправильное для человека место. Да бесконечно огромное, но всё же тюрьма, зона – откуда возможно быть только спасённым. Это я отвлёкся несколько. Так вот простолюдины, как показывает мой личный опыт, нередко более интересные и мудрые люди, чем мы. Была бы только способность правильно понять то, о чём они говорят. А для этого надо отвлекаться от своей избранности, это не дар – а дополнительная возложенная на нас (не всегда добровольно) обязанность, функция, которую надо исполнять, а не гордиться. Исходя из вышесказанного, я думаю, что вполне понятно, что найти мне (с моей стороны) общий язык с реалистами, как ты говоришь, вполне легко. Легко ли им – надо спрашивать у них. Ну а в мире всё уравновешено – иначе всё бы рухнуло. А Б-г этого не попустит :) Это ответ на крайний вопрос.

С.Г.: Я задал прошлый вопрос и потому, что, как мне кажется, поэты наиболее близки к основам телепатии, поскольку наиболее энергоёмкий способ передачи мыслей – образ, символ. Если вообразить общество, в котором телепатия не табуирована, поэтам в нём освоиться было бы легче, чем другим. Верить ли ты в подспудное участие поэтов и иже с ними в совершенствовании природы человека, его дальнейшем ментальном генезисе, если ты вообще допускаешь такое явление? Извини за пафос, но есть ли, по твоему мнению, высшая задача у поэтов на Земле?

А.П.: Все мы – инструментальный Б-га для совершенствования мира; иногда мне кажется, что мы это Его попытка всмотреться /осознать/ в себя, то есть, я так понимаю, что мир [такой, каким мы его призывали видеть] – это снег на экране, непрерывное мерцание, что не даёт нам увидеть мир таким, какой он

есть, мир за пределами космоса. И вот важнейшее для меня в поэзии (чужой и своей) – это возможность замедлить мерцание, и увидеть подлинную реальность – насчёт которой, я почему-то оптимистичен. Если даже тень подлинной реальности прекрасна и конструктивна, то что можно сказать об оригинале. Вот в этом взгляде вероятно и есть предназначение нашего ремесла – только я бы не стал ограничиваться землёй, а говорил бы о бытии как таковом. :)

С.Г.: Христианская традиция верховенства созидания, некоторого отождествления человеческого творчества и созидания во всём его всеобъемлющем смысле, построена, в.т.ч., первом стихе Евангелия от Иоанна – «Вначале было слово...». Но «логос» (слово, употреблённое в оригинале) можно перевести десятками других слов; какое значение тебе ближе – «слово», «мысль», «смысл», «разумение», «путь», «разум», «причина», «мнение», «счёт» и т.д.? Что же, всё-таки, было в начале, по-твоему?

А.П.: Для меня, в моей версии понимания мира, в начале был звук – а вот далее уже проявилось слово. Поэтому если проводить аналогию с божественным актом творения и человеческим творчеством (что не совсем правильно и слишком самоуверенно – как составлять представление о океане по капельке пота у тебя на щеке) – мне близки попытки перекодификации реальности: сделать из стула слона, из бабочки велосипед. Это же забавно, и где-то – наверное – имеет место.

С.Г.: И напоследок спрошу тебя будущем русской поэзии. Каким ты его видишь? Опустив утверждение об ограниченном количестве сюжетов – к поэзии это имеет сомнительное отношение. Позади ли «пассионарный» век русской поэзии или от неё ещё можно ожидать сюрпризов? Твой прогноз.

А.П.: Ну, русская поэзия всегда была пассионарна только внутри ограниченного пространства русского языка (и более того, некой узкой прослойки её читателей). И это нормально. Думаю, что это и далее не изменится в этой системе координат. Иное дело, что русская поэзия расширяет пространства внутри себя, всё более атомизируясь, потому внутри одной группы важны одни поэты, внутри другой – другие. Появится ли великий компилятор (аналог Пушкина или Шекспира), даже не знаю. В конце концов, завершенность/пассионарность такая – не гарантия взрывного развития, а скорее предвидение будущего стасиса и умирания. Но когда-нибудь, как я понимаю историю, будет великая китайская поэзия, а нас будут читать в рамках спецкурсов, если повезёт. Говоря же о том, что мне хотелось бы видеть – это развитие метареалистической традиции (но это охватывает период лет в сорок – что в исторической перспективе не является сроком для футурологических прогнозов). Просто частное желание частного человека/читателя.

Беседу вёл Сергей Главацкий

МАРГАРИТА ЕРЁМЕНКО

Минусинск – Касли

ПОДПОЛКОВНИК

I.

Допустим, ты была одна.
Допустим, на рассвете
он понимал: она – беда,
когда жена и дети,
когда служебное жильё,
и должность, и погоны,
и он (практически, герой)
живым – из обороны!

Вернулся, а вокруг – тоска,
всё те же лица, люди,
а он остался – в дураках,
и он зачем-то любит.
И ты заметил, что война
и мир – всё бестолково...
Допустим, ты была одна,
кто знал его, живого.

II.

И глядит из стороны – в сторону,
и стоит одна у окна,
и мечтает разделить поровну
и разлить, но не видит дна

у реки, у водохранилища,
у тоски, у врагов и друзей,
у молитвы – скажи, говори ещё,
говори и – молчи о ней.

III.

...приобщаю детали к делу:
вот твои окна в пятиэтажном доме на верхнем этаже,
вот крыльцо парадное, новое (вывеска), парковка,
машины нет (что касается машины, её нет
в этом городе, как и тебя нет – более двух с половиной лет).
Свет не горит уже. Не горит, говорю, свет.
Собственно, и время года (далась мне эта погода),
не подходящее нам (хотя значения не имеет).
А всё же была весна. Ранняя – так теплее, то есть к истине ближе.
Пасха была в апреле, и я до сих пор слышу звон мокрых колоколов.
Дверь отродясь закрыта (теперь и на ключ), а там ведь была любовь.
Возвращаю детали на место. Тебе одному известно,
Сколько было сказано слов (в общем – немного).
Подробности – в переписке. Там слова замещают всё.
Остаются только «девочка» и «малыш».
Не спишь?

IV.

Один-одинёшенек в доме –
не стар и не молод.
И нет ничего, кроме
бледной тоски. Расколот-
-а жизнь на две половины:
по обе – звенящее поле.
Или, как на пуповине –
музыки до – и после
музыки – этой нежной
тлеющей сердцевиной,
тончайшим изломом между
женщиной и мужчиной.

где плали днём два раскалённых тела
там ангел наш заучивает нить
горячих точек на бумаге белой
соединить
пытается проглатывать морозы
желтеющих деревьев простыни
иди сюда иди за мною в воду
иди
смотри в крути кончается не время
и не любви запутанная речь
а просто воздух сбит в гортани белой
вдруг забывает течь.

А на поверку вышло — только ты
К нему идёшь в непроходимых снах,
Соединяешь стрелки пустоты
В настенных механических часах.
И говоришь: не бойся, заживёт,
Хотя, казалось бы, чему болеть?
Но медлит нержавеющий завод,
Вращаясь на ржавеющей игле.
И тянешь руки в зябкое тепло,
И хочешь профиль взглядом пересечь,
Хватаешь воздух пересохшим ртом
И ощущаешь речь.

ЕВГЕНИЯ ИЗВАРИНА

Озёрск – Екатеринбург

тебе незнакома
природа предела
выходишь из дома
из сердца
из тела
куда повелела
чуть грянулась оземь
червонная вена
ярёмная осень
скита и погрома
интимная тема
горит как солома
всегда так хотела

Яблок звон, промёрзших невероятно —
вот и всё о ревности и свободе.

...Медленное древо, расти обратно
в себя, вспать провались вроде
карточного домика, легче пуха
опрокинься в корни – приснись Еве...

Яблоко от яблони – близко, глухо –
осязаем звон на седьмом небе...

...память – и верность... А на границе –
стоит, как звезда над наклонной башней,
вода в черепице.

В пустой больнице
сегодняшний снег навестил вчерашний:
– Ну,
спрашивай –
как там в мире?

Или ветер уходит – в корни, в комья?
Или – тебя мне подменили,
чтобы верить – не помня...

да скроют гниlostный раскоп
плоды невинности аминь

так в алом выдохе песков
в подземном холоде пустынь

проходит юноша-солдат
не замечая гиблый грот

вдыхая розы аромат
листая Торы перевода

не с позволенья полутьмы
не листопадом сквозь войну

но тем же чудом что и мы
лишь пожелавшие ему

НАТАЛЬЯ КОСОЛАПОВА

Кыштым

ледяные лепестки
тают
на голых плечах



новенький
в небесной
канцелярии

соскальзывают
с гладких
волос
цепляются за
кончики
потерянные
мысли

мечутся
от страха

забыть
себя

Отлили маски, статуи,
сложили камни,
принесли огонь
на палочках,
ждут
каждый своего
Иуду.

тлеет твоё
отражение

в моих
зрачках

не раздуваю
угли

душа стучится
в закрытые
веки

занято

поворачивая ключ
в замке

не знаю
чья рука
сделает
Ctrl Z

ДМИТРИЙ МАШАРЫГИН

Озёрск

пойдём пойдём с тобой
туда, где занавешен
я горлицей-тщетою
по небо как по шее

во сне – ты – на земле
и кто-то летний дивный
стремит как бы олень
полёт мой голубиный

хочешь, хочешь, я просто возьму твоё сердце на вес,
никого не уведомив, просто возьму твоё сердце,
я как будто бы знаю, зачем я люблю тебя весь
июнь, весь октябрь, весь лишенцем

это странное место, которое смотрит и всё,
только смотрит и даже не думает кем-то согреться,
человек человеку какое-то небо везёт,
не оглядываясь и не взвешивая сердце – в сердце

только кровь и держание крови, я даже не – вру,
столько лета и осени, скоро взорвётся калина
или что там – что красное – что так бессмысленно врут
я смотрю на тебя и люблю – тебя. Да: это – лишнее

дерево, дерево – чистый мир
сколько тебе дыхания
надо на то, чтобы я восьмым
шёл за девятым ангелом

мальчик мой. дерево на ветру
чьё-то существование
так невозможно, что мы в раю
плачем с десятым ангелом

по соли и по смерти
как будто фильмами
идут корреспонденты
фотографируют

двух дочерей, которых
нельзя обнять, нельзя
забыть – сказать не то, что
хотелось бы сказать

и не сказать... но всё же
какая ты в окно!
мне чудиться не может —
зачем ей? для чего?..

птицелов говорит:
это страшно и больно

старым телом вдоль поля
вдоль червлёной горы

на пчеле — как вода
о какое какое
небо внятное:

кожа
мясо
душа

АЛЕКСАНДР ПЕТРУШКИН

Кыштым

Круги рисует отраженье,
от чайки оторвавшись вниз,
сидишь и ножками болтаешь,
как будто меж душой завис

и этим телом, что беспечно
всё смотрит бедной головой,
рыдает, плачу растворяясь,
невероятно надо мной.

В земле спит госпиталь пернатый,
в пелёнках дёрна и дерьма,
когда проходит над больными
в их плоть ужатая зима,

когда ужалит их печальный,
который ангелу сродни,
их головы внесёт в палаты,
чтоб там узнали их свои,

чтоб говорили этим страшным,
молчащим, птичьим языком,
который скрыт, как тёмной чашей,
прозрачным, словно язва, ртом,

чтоб на губах у паровозов,
лежащих в недрах стрекозы,
стояли тени от мороза,
который дарит им бинты,

чтобы черёмуха над ними
глодала воздух с папирос,
и Бог стоял посередине
и непонятный, как вопрос,

и забивал в язык им гвозди
и говорил с собой из них:
мы в госпитале этом гости,
когда всем ангелам видны,

мы в госпитале этом зреем
и прозреваем от зимы,
в которой в воскресенье верим,
лежа в лице у темноты.

Теперь живём не опасаясь,
но с постоянством неживым,
с кровати до утра вставая,
не узнаём своей жены,

её живот уже бездетный,
её душой набухший плод,
который, в плоти её беглой,
всегда на миг лишь оживёт,

и в сны, как иней, распадаясь,
рисует плоти моей круг,
и страшно рядом начинаясь,
не обрывает длинный звук,

не останавливает время,
скорей во времени дрожит,
надеясь, что её цветенье
старения не удлинит,

и, вжав в царапины колени,
как будто свет прижав в себя,
она лежит на крае тени,
чуть отдалившись и, продля

моё в садах существованье,
где ангел жнёт, как снегопад,
мою тоску от расстоянья
к губам, как дудочку, прижав.

И угол, и угу твои, как будто Моцарт,
летят в открытый люк сокрытого лица,
где ходишь ты, собою не опознан,
но отражён, как птица у Отца.

Смотри же в отражение, смотри:
есть три музыки, вероятно, три
мотива здесь поётся без конца,
когда мы в люк лица зовём отца,

когда с его дождливых тёплых лап
спадает наш, ему ненужный, прах,
и Моцарт, соблюдающий себя,
стоит, как уголь в животах огня.

—

НАТАЛИЯ ЧЕРНЫХ

Озёрск – Москва

ДОЧЬ ИЕФФАЯ

Вот и ты со мной, голубка-кошка, попостилась,
птица шерстяная, золотая милость,
милая ворчунья, выпитая малость.
Ну а мне не жалко никого, я так осталась.

А когда никого не было, была я:
гора чистая, и заря, и змея,
не знала, что меня могут любить, и что полюблю.
Каково теперь моему кораблю.

Отче, отче, пусти меня с кошкой к воде:
месяц там как жених одет.
Отче, дай нам с кошкой в горах рассвет.
А потом – ещё много лет.

Это ложь, что можно оплакать девство.
Я ещё звезда, я ещё невеста,
мне страшно падать, а умирать страшнее.
Мать – Иродиада, сестра – Саломея.

ОЗЁРСК

тансы

(образовалась дрожащая трещина)

Болит не рука или печень.

Болит – и нигде не болит.
Зев оврага раскрыт.

Сосны слегка навеселе,
но вечную память – ещё не пропели? пропели?

Едва ли не сразу под стылым балконом
(кошка махнула хвостом – и в окно)
первый этаж.

Глина в огне цепенеет.

Вещи, как много,
– и мышцы свело.

Мир сложен как печь.

Пламя носит, смеясь, новое немецкое платье,
бирюзовое, в клетку, с пятнами фуксии,
оно никак не обуглится – никак не превращусь в пепел.
Капель падаю, глиняной каплей – образовалась слеза.

Вокруг – обгорело и стало воздушным,
сны с картонными шляпами на головах убежали,
страхи руки отдёргнули как по команде.
Одна или нет – все, кого знала, все

кто во мне голосит

на весь город Озёрск. И могу сказать больше: Москва.
Что по капле во всех. Вы есть я.
Плод во чреве сливается с чревом.
Но его не присвоить...

Рим, империя, сказки о русской державе –
говорят, будет сын.

Смотрю на икону: Спаситель не миловиден,
он как дикий сармат.

Под корнями третьей сосны
видела длинную ленту янтарного будто железа.

КОНСТАНТИН КЕДРОВ

ЯГУАР ЛИСТОПАДА

КОМПЬЮТЕР 2015

Смерть – кремневая форма жизни
Жизнь – кремневая форма смерти

Душа волновое тело
Тело корпускулярная душа

Цвет это радуга электромагнитных волн
Радуга это свет преломлённый в радужке

Зрение это сражение цвета со светом
Тьма это занавесь мироздания

Забвение это память о пустоте
Пустота – это полнота мира

Прогулка Канта – это память о мировом порядке
Мировой порядок это прогулка Канта

Кант – это метроном мира
Метроном это памятник Канту

Обеды Канта – это упорядоченные пиры Валтасара
Пиры Валтасара это предвестники обедов Канта

Гегель – это конспект поэзии Гёте
Гёте это влюблённый Фауст

Ньютон это всемирное тяготение
Всемирное тяготение – это вечный призрак Ньютона

Эйнштейн это говорящая скорость света
Скорость света это Эйнштейн со скрипкой

Скрипка это коллаjder звука
Звуки скрипки это волны Бозона Хигса

Шёнберг это Монте Кристо перепиливший решётку нотного стана
Нотный стан это клетка для Шёнберга-Монте Кристо
Рояль – это замок Ив

Донбасс это грудь расстрелянного Гумилёва
Грудь Гумилёва с Георгиевским крестом – это Донбасс сегодня

Европа сегодня это ослепший Фауст
США это Колумб не туда заплывший

Россия сегодня это Хитроумный Одиссей уплывающий от Полифема
Греция – Елена Прекрасная уплывающая от Минелая

Смерть – это тайна жизни
Жизнь – это тайна смерти

Математика – душа физики
Физика – тело математики

Музыка – душа математики
Математика – тело музыки

Математика – умершая музыка
Музыка – воскресшая математика

Маяковский говорящий Маяк
Маяк застреленный Маяковский

Война это сумасшествие мира
Мир – это вылеченная война

Супермаркет это санкции
Ларёк это антисанкции

Янукович это Порошенко
Порошенко – это Янукович

Майдан – это Антимайдан
Антимайдан – это Майдан

Санкции это антисанкции
Антисанкции это санкции

Бродский это Антивознесенский
Вознесенский это Небродский

Бродский это смерть поэзии
Смерть поэзии это Бродский

Метареализм могила метаметафоры
Метаметафора – вечное воскрешение

БЕЛЫЙ БАРАШЕК

*В пору полной безвестности Еврейский театр заказал Лёше Парицкову
песню детей сожжённых в концлагере Тильзит. Две строки из этой песни
Лёша мне напел и я запомнил:*

Белый барашек белый барашек
Белый барашек – ты нам не страшен.

А теперь я попытаюсь перед вами реконструировать забытый текст.

В небе высоком средь лагерных башен
В небе клубится Белый барашек
Это дымок от недавно сожжённых
В небо уносится заморожено

Мама куда унеслись твои дети?
В небе высоком их Боженька встретит...
Белый барашек, Белый барашек
Белый барашек, ты нам не страшен

Розгой охранник пусть не грозит нам
В небе высоком мы над Тильзитом
Глупый охранник ты вовсе не страшен
В небе высоком белым барашкам

Белый барашек вовсе не страшен
Деткам евреев и деточкам рашен
Белый барашек, Белый барашек
Деточек наших и деточек ваших

ЛИСТОПАД ЯГУАРОВ

Листопад ягуаров
полусолнечный бред весны
Я иду сквозь осень
Витязь в тигровой шкуре
Каждый шаг как гиря
На невидимые весы
Я дойду до школы
дойду до школы
Там меня ожидает
Последний первый звонок
Он раздастся в памяти он раздастся
Я скулящий лающий твой щенок
Я остался в прошлом
где было завтра
Это завтра кончилось навсегда
У окна в школе в том коридоре
Где бегут школьники сквозь года
Не подозревая о Кьеркегоре

Страх и трепет нас ещё не коснулся
Мы стоим у окна прижавшись друг к другу
Я заснул в памяти – я проснулся
И прильнул к школьной гуде упругой
А потом на танцах где Лена Данцер
Пригласила меня на свой белый танец
Я едва от счастья ни разрыдался
Танец Данцер танец ах танец Данцер
Я опять дожил до той осенней весны
Снова листопад ягуаров ягуар листопада
Если перед памятью мы честны
Никакого будущего не надо

ВИЛЛИ МЕЛЬНИКОВ

«ПОКА МАТРИАРХ НЕ ВЕРНЁТСЯ ИЗ ССЫЛКИ...»

ЛАНДШАВТОПИЛОТ

1.

Меж-тенё ищёт корм,
где просесть старой штольни;
вулканный канул шторм
в атолл первопрестольный.
Пророчень трудно нам
запрячь коней днём прежним.
Шайены выют вигвам
в глубинах, где рубеж нем.
Подхолстье стёрло бред уж –
цигун акул в лагуне.
Пролить бы в Назарет тушь,
срывая крылья втуне...
Наследственны за-снежья –
проделки Дэ-эН-Кармы,
и из шафрана в беж я
бегу, где вместе дар/мы.
Мираж неразделисьев,
не-раз-ветвление кроны;
где охраняет чисть лев,
дожди огнепоклонны.
Окутан берестою,
как солью – гнев прибоя...
Пусть я того не стою –
все-гидом быть героя!..
Слагает снегопадрес
из фонарей конверты,
грунтуя невпопад лес
пред-знаний, чей мольберт – ты.
Тлей, семафор, в тонах
последней электрички!
На расписных челнах –
дуэт: «Сарынь-на-Кичке»!..
Изплёсья колеи –
колосья колесницы;
ладья – без боли и
ей парус не приснится.

Предотвращёлин зыбь,
 незавершивы танец,,,
 Сквозь сепию просыпъ
 прощанья стран и странниц!..
 Капризанных регин
 брэйн-трон не тронь, столб Лотов,
 глотая ностальгин
 дворцовых приворотов!,,,
 Метан-метанья сладки?
 Так спей скафандр из ситца!
 В окладах – неполадки,
 и не в чем возноситься...
 Предел палитры взбелен:
 сусально-злое золото
 снесённых виноделен –
 шальная лемниската...
 Размазался огня блик,
 дымя изображѣдно.
 Под Вечность припомѣжь лик,
 Вневрёмью бросив: «Ладно!..».

2.

«Рудра нам – не ровня!» –
 проповедуй стерху
 в час, когда часовня
 рухнет дверью кверху.
 Пётроглифье Наски –
 пост-апостол стали;
 переводы сказки
 вновь не доверстали!..
 Протекторат надежды
 гарцует вне закона,
 смирительные вежды
 соткав из силикона.

3.

Склею алтарь в предзальном виде
 из перил самовлюблѣстниц;
 отдохнѣшь на Немезиде,
 сном смывая липкость-лѣсть с лиц!
 Наледь на людях искрится –
 платит тьме монетой блѣстков.
 За премьерою провидца –
 взлобье жалящих подмостков.
 Бухта сумерек причальных –
 кровь затопленного флота;
 цѣны в спѣкшитхся Аралах –
 Ихтиандрова банкнота...
 Звон бессилья порцелана:
 меч – из глаз, да щит – из меди!..
 Весел изгнанный из клана
 Плач ревнивой избавлѣди!,,,

Заклинаний клинья-горстки:
 Жанна Древа неизменна;
 чудодейственны напёрстки
 вышивальщиц из Компьена!..
 В воспроизводѣнном CiDi
 иссушаешь трэки-реки?..
 В раскрутившейся апсиде
 век смежения – навеки.
 Культ до-бычий стал добычей,
 излучением из правил.
 Маг разменных безразличий
 зазеркальби составил.
 Искаженья скажут: «Как же!
 Одис’сеико-час – циклоп-масть!
 Ископытъ же махараджу,
 золотая антилопасть!».
 На бумаги льются саги:
 волшебствóля – не опшейник!
 Иль глотни амриты, Браги,
 Или к вечности пришей миг.
 Здравоядный, пой стихийно,
 сланце – в плащ А’рифма-фейский!
 Учим говор пепелищ, но
 не забыли арамейский...
 Ледяная плеть для дна я!
 Кали-вьЮга вьёт негромко.
 Встала в ночь роль проходная –
 в позы ёмкие позёмка.
 Монолит молитвы вязок –
 Велимир мирроточимый,
 до пересмыканья связок
 от надежд неизлечимый.
 Гуру-маны башен донных
 дуют ввысь: сквозняк – вот речь их.
 Дни святилищ безоконных –
 Волки стай благословечных.
 Преткновение – не камень;
 предков веянья – не веер.
 Усмехнись издалека, Мень:
 поистёрся душ конвейер!..
 Искушениям Скорсезе
 поклоняйтесь Бого-ловно!
 Законные про-резы –
 боль не агнца, лишь овна,,,
 От провидцев откровенья –
 взоров взорванные чарки;
 в свитки света представленья
 заверни свечей огарки.
 Чти святое расПисанье
 календарных про-из’шествий;
 наше пение Афга́нье
 уж давно надел на шест Вий...

Евада́мы стали строги,
эмигрировав из рая;
там-всё-можня – на дороге
в гарь-гарем Бахчисарая.
Подкрадусь к преданий краю
Карадаговых догонов;
В кару их врасу-растаю
в штиль забытых телефонов...
Кабаре-«Вольтер»-барьеры,
берегите шансоньервы!
Эроптычи сваровёры –
Минные поля Минервы.
На парад-аллегро скалясь,
бьёт циркач земной поклоун,
чтобы трюки не сорва́лись, –
как попытка сжечь Хэндж-Стоун;
чтоб костры морозной ночи
не сожгли твои ресницы,
перуанских виракочи
грея мёртвые границы.
Ставни окон исхудававших
изглодали растолсте́ны.
Холостые холода в них
дверят в лестничны́х измены.
Восклицанист-калий шляха,
многоточия обочин...
Дикая охота Стаха:
вход в ключи́сла озамочен.
Вновь вгрызается в бойницы
это завра нарезного.
Быльё пыли соблазнится
Вёрткий безнаКазанова?..
Почты ретро-Петроградской
штёмпельмёни – дань гламуру.
Отпевая дверь парадной,
дай на чай конСерж-Гинзбуру!..
За медве́жливы манеры
роща ценит лесору́ба.
В брак вступают браконьеры:
из дубков сру́б, не из дуба.
Их тотем пречистопо́тен,
их мазки акрило-крылы;
избегают тех полотен
Мефодичные Кириллы...
Тру́бный день самоу́Битаз:
Ринго Старр – не Ричард Старки!
Долю требуя, ваш идо́л's
дарит с-громные подарки...
Ночью ждут не дни, а дни́щи:
вдруг взгордится в-три-перста гном? –
трепеща, попросит пи́щи
на наречьи иностадном,,,

«Мух амор – лукавый Локи!» –
 стонут фрики. Стынут крики:
 «Не осклѣпнет Ќдин ѳкий
 на пути из Гардарики!..».
 На садящихся в маршрутку –
 сито-сотовы восторги.
 УтконОсвальда как шутку
 представляют Бесс и Порги...
 Продуцируя строк стронций,
 овладевши карма-йогой,
 крокодил, пожравший солнце,
 не испѣплится изжогой,,,

4.

Ракето-коклетливы
 станции-дивы.
 В пред-завтра билет –
 Сумерѣчитативы.
 В снежайшую тюль вы
 одеты, за-брежя,
 для конунга Гюльви
 открыв чрез-рубежя.
 Надежды на «где ж ты?» –
 копеечный опий;
 Молчат Будда-пешты –
 ксенон ксерокопий.
 Отзначья тая, тать
 Встреножил страну – и
 очелья не спрятать
 в лесах Рапану́и!..
 Месть друга – пред-местье,
 как джокер – пред-мастье;
 любимых не съест и –
 спасти в безопа́сти!,,
 Где сплещутся стропы –
 отказ гравитаций;
 разбиты канопы
 о пьяные пьящцы...
 Разодраны одры
 воскресших восстаньем;
 хрипят клави́корды,
 но автор моста – нем.
 Искусство из скунства –
 для фарша фу́ршетов.
 Осмеяны буйства
 отбитых обетов.
 Оправлены правки
 в докладов приклады.
 Где удаль удавки,
 сожжению рады!..
 Десертные действия
 утратно-утробны.
 Святые семейства
 Индѣеспособны.

Над Понтом Эвксинским –
 понты ксено”Форбса”;
 послушен токсин-скин
 в краях друко-творства...
 Трясь гривною, гривна –
 мясистая месса,
 Салгир поразлів на
 хребет Херсонеса.
 И в Самоотстúполь
 Грядём из грачья мы;
 арбитр не туп, коль
 игра – вне ничьямы,,,
 Незрímляне просят
 Ти’Берия типа, –
 аффект Феодосят
 под дрожь Казантипа.
 Чтоб степью не топать,
 Босфорно Европь,
 стряхнув Перекóпоть
 в Сиваш-автостóпь!

5.

Рада рассмеЯлта
 Овадóещим Лотам;
 пейте чай средь гвалта
 с Коктебéльгамòтом!
 С бурями повздорь я –
 Греттир сточит меч;
 у Разлúкомóрья –
 Фрейя первых встреч...
 Ледой отбатрачив,
 спит вДали Градива,
 чниз!ла Фибоначчи
 округлив глаумливо.
 Гуще подбирай фон,
 августей опричь лица!
 Лордно улыБайрон
 любит стиль “яичНицца”!..
 Выручает опыт:
 рыть укрытье – грóт-стих
 под нерасшифрòпот
 хроник Новгородских,,,

ПАССАЖИР ТОВАРНЯКА

Дожить бы до жита – речей укорóчия,
 чьи в джине-с-дальтони́ком краски раствáрены!
 Заснежье приклею ручьями как скотчем я;
 в кольчугах из призраков – Змеи-Тугарины.
 Прикрылья болят распростёртьем от кондора;
 зависли завистливо тучи-обмылки.
 В Граалии прогаалин не впейся, дракон-жара,
 пока матриарх не вернётся из ссылки!..



Достанется ль мне досви́даль как ограда?..
Стык рельсов – дефис-тире – прочерк скитаний.
Из комы искомой – escape-эскапада:
то стая пустая безГамлетных Даний.
Не пара ли зову – молчь? Парализован
Аз-солью осыпанный цвет сахаризмы,,,
Апостроф-апостол всемо́лвьем подкован;
не до́рассказал о богах Арамис мой!..
Порыться бы рыцарям в цифрах грибницы,
от родо-дословных отчистив от’даты!
Правдиво-проворны Прованса провидцы;
объедками меток объекты объаты.
Привольно поводьям, коль нет водия!
Кураж пассажирки – не страж от угона.
Так будь осторожнее, выходя
из последней двери последнего вагона!,,,

ЕЛЕНА КАЦЮБА

МОРОЗ РИСУЕТ ПАЛЬМЫ

СУПЕРАУНИЕ

(дорожный палиндром)

и город лун к мосту тут сомкнул дороги
у дорог кирпичи выдохнули лун ходы – вихри к городу
лег на стену лик и луне – тс! – ангел
ан туману лики дики, луна мутна
и к темноте бежал глаже бетон, метки
луну минул
и те с виадука куда? И в сети
искать луну ль, такси?
радар туннелем смелен – нутра дар
но выдохнули лун ходы вон
ах это Корану луна – рокот эха
а Будде бури минули и луны мир у бед дуба

ДОЖДАЛИВЫЙ ДЕНЬ

Вырасти песню на подоконнике
ветками сквозь стекло
взберись по ступеням листьев
на вершину дерева речи
возведи звук в степень голоса
ливнем вниз взвизгни
опереди грозу на два грома
грохни в ухо городу
раскатом строк
и –
молнии
молнии
молнии!
Подожги радугу –
пусть горит цветными нотами
на вертикальном нотном стане дождя

ВИШНЁВЫЙ САД

На стёклышках пенсне мороз рисует пальмы
сквозь ледяной витраж писатель видит сад
метель смела сюжет, заledenели пальцы
а за окном летит вишнёвый снегопад

порхают лепестки снежин пятиконечных
над кутерьмой детей на санках и коньках
на тусклой глади льда ещё не видно трещин
и чистого листа пугается рука

идёт писатель вдоль картонных декораций
а в ледяном пенсне мерцает прежний сад
там листья шелестят, и вишни там роятся
но падают, застыв, и под ногой хрустят

накрыт бильярдный стол в саду недавней выгою
катает лунный луч хрустальные шары
писатель видит сон

кошмарный –

всей округой

заточенные в ночь шагают топоры

не верьте топорам, они лишь спецэффекты
тупой развязный звук, нарезанный на диск
деревья не молчат, живут в деревьях жесты
в них крики тишины, в них искренности риск

писатель слышит сад,

деревья шепчут что-то –

слова, что через год он повторит как врач
но занавес взлетит, затихнет гул и шёпот
и вишни зацветут...! ...и мы вернёмся в рай

ЗАБЫТЬ

Колючие слова чужих злых языков
на лёд упадут если –
заледенеют торосами,
разрастутся айсбергами в океане –
потопят Титаник
А я не там!
...забудь

Если злое семя в пустыню вцепится –
пусть вырастет колючкой для верблюда
сожрёт её верблюд улыбаясь
А я не боюсь!
...забудь

Но если вдруг повезёт
колючка в траву упадёт
вырастет чертополох-репейник
яркий пушистый – пусть терпит
когда пчела ужалит в сердце
ядовитый сок потечёт
Да кому нужен такой мёд?!
А я не причём!
...забудь

ПРИМЕТЫ

Ласточки низко летают –
значит будет пасмурный день

Летучие мыши парят высоко –
значит будет тёмная ночь

Год пролетел незаметно...
Прав был Капица – время сжимается

Вечер тянется бесконечно –
значит интернет отрубился

АЛЕКСАНДР БУБНОВ

...А КАИНА МАНИТ СИЯЯ ИСТИНА МАНИАКА...

палиндромические стихи

«...Здесь и сейчас вы видите этот текст. Здесь и сейчас вы заряжаетесь токами литерософии, литерософией буквы – её философией, её иррациональностью, но – и логикой буквы, буквологии, её рациональностью... Простой пример: «и черви в речи» – линейный палиндром из разряда простейших; «лили», «лил/ии» – циклический палиндром (циклодром) из разряда простейших; но только их буквенно-палиндромное переплетение – «и черви и лили в речи» – возносит нас на новый уровень (level) литерософического осмысления палиндромии, даёт поэтико-философское понимание синтеза букв и слов: «черви» (в речи) охватывают «лили»(?)... В этом – палиндрософия буквы, шифре – поэсофия текста...»

(Александр Бубнов. «Заметки о философии и поэзии Буквы». «Южное Сияние», 1913, № 1)

МОТОР

К зелням вер урод оглашал год!
Ору!.. Кому? –
И тати умок урод оглашал!
Год ору ревмя.
И лез – кротом!

АД ЖЕ ДА НАДЕЖДА

Гни образа в котелке века,
рви нор охрип,
ад, зев заноз,
ад же да небеса!..
Сор поверху дан, ад же дан,
ад, зев, зело звено...
Зал зла зоне
взлил вони,
но в золе заноз и тел – кино,
телек-скелет, корндор огладив, опять лупил,
и, вольно горя, дорога (и нал) дика и лиха...
Бабла молебен в себе нужен ли?..
Те – в себе, но – у генов
о русах...
Ревели миры дуракам рок:
то ли падал ад (яме тепло),
то ли сор белополе бросило
(толпе темя дал ада пилот) –
корма, кару дыр...
И мели верха сурово,

негу
о небе светил!..
Нежу...
Не бес в небе ломал бабахи ли, аки длани,
а город яр огонь ловил?..
И пульта я повидал, город и рок,
телек – скелет он и клетки зона!..
Зело звони!..
Но влил звено зал зла зоне...
В золе звезда – надежда на дух ревопроса,
себе надежда – зона,
звезда, пир хорони
в раке,
век,
лето,
квазар,
бонинг...

КРИМИРК

{монопалиндром в 6 частях}

АБЫР... АМЫР... КУ!

А шансы ли? –
не лов, нежа, влетел, не вор,
не лак резок – зеро, ничто
сено срехнуло в охре веков:
«Абыр... Амыр... Ку!»
А шорохи авиаполе не пело.
Вокал боя рад.
А лавина мир, пылая, арканила,
копала, летела, залила...
А роза упала не на лапу!..

Я

Я нем и зараз я пел.

Я, Я...

Нем я, ибо лил зланер –
дарил то покой апокалипсису
(потел, ума нежа, вены лап отогрев),
то юлу пуншу!

ДАРЮ РОМ

Опалыл плен...
Женщин утро – Форосу мерило:
лепота – зона мира.
Дарим амфирифму.
Мир квёл.
Клады дала вон сонно сладка рыбка.

Как соло пело! –
 повело поле брани местами пяток
 зеро резине мер,
 вело по воле...
 Покоя нота, брег возлепи!
 И рано сон не плавал...
 Пряно спит на закате всесвета Казантип.
 Сон яр!
 Плавал пенно сон.
 Арии пел зов – герба тон!..

Я – ОКО

Пело во поле времени зеро резко –
 тят! – и мат
 семи-нар...
 Бело поле, во поле полоска...
 Как бы рак дал сонно снова лады,
 дал клёв «Крим»...
 Умфирифма мира дарима,
 но зато пел о лире мусор офорту.
 Ниц, нежнел, плыл по морю, радушну пулю отверг,
 от опалы неважен
 амулет.

ОПУС ИСПИЛА

Копай окоп.
 От лир адренал злило,
 бия, меняя, лепя зараз и меня –
 я упал, а не на лапу Азора.
 А лила, залетела лап окалина.
 Края алы приманивала,
 даря облако воле,
 пенелопа-ива...
 И хороша у Крыма рыба! –
 В оке верховолун Херсонес
 отчино-резко зеркален,
 ровен, летел, важен,
 волен и лыс:
 наша у Крыма рыба?..

:КЕРЧИ БИЧ РЕК:

1.

Керчи доросли повторы
 до унии ссор России –
 ну оды рот вопил –
 сородич рек!

2.

Керчи доросли повторы
до унии с индексами.
Липе,
лугам
убрана карта,
пот – стопам,
ума пот,
стопа трака...
Нар бумагу лепили маске
дни спи...
Ну оды рот вопил –
сородич рек!

3.

Керчи бум ал.
Хлебом чмо бел.
Хламу бич рек.

4.

Керчи доросли повторы
до унии ссор
адового водярного потопа!
Топал Сен-Симон сном,
и снесла потапо топогон рядового
вода России...
Ну оды рот вопил –
сородич рек!

5.

Керчи бок –
зерно киске
летело...
Лете
лексикон резко бич рек!

—

У мин
силу
небеса с руками-ногами взяли.
Гомер,
о мере
топором пиши сенсорно!
Косе – бараки!
Не чудо раним,
а толпу Трон!..
Косе

в один миг –
и тело колом,
и молоко лет,
и гимн,
и... довесок...
И ор –
туп лотами народ –
ученик арабесок –
он рос...
Неси, шип,
мор о потере –
море могил...
Язвим,
а гоним...
А курса себе нули сниму!

ГОРОД-КАТ

Мак-тон –
клавир песни –
до меня сладок был...
Упал зеброй Амадей –
он и мир,
и пир,
и вал к городам...
АТО ноты бурили!..
Жарим и ревень,
не верим,
и раж, и лиру – бытонотам...
А дорог клавир –
и пир,
и... миной еда!
Майор без лап улыбка дался –
нем,
один...
Се привал к ноткам так дорог.

НЕТ СУДА

Светел, влетел ветер...

А кварту
гимн-мига нора
хаму ноту-бутон, лад дала...
Сонор, хлам, дуст, ум
от суда ига...
Наци агаи.
Пир в аду слетел – сонмы!
Душу, дым мира дурим...

Учу луч реводесе,
музу мук...
Рыдала душа, налила...
Лады ранила палина, рыдала...

Во зле пламя, во бараке-воле,
что базар хотел.
Возле – во зле – пепле дерев,
в арте весна – швали свора шалила,
звон от стонов залила...
Варила кровава вен истина –
маниака да воров...

О, вера! – верх охревела!

Дико рос воров оговоров огнемёт!
Ал, злоколог часок –
колотил,
и толога – Леты плот.
Лет имя толпа залила...

Профсофосфор палил!
А за плотями тел – толпы!..
Тела колотил и толоч косач.
Колокол зла тёмн.
Говоров-оговоров сороки...
Дале – верх, охре – варево воров ада!
Каина манит синева...

Ваворка – Лира валила,
звон от стонов залила...
Шаров сила – в шансе ветра,
в вере дел!
Пепел – зов ел зов.
Лет охра забот человека...
Рабов я мал пел зов.

А лады ранила палина – рыдала, лила,
нашу дала дырку...
Музу мессе доверчу, лучу,
миру дарим мы душу...
Дымно слетел суд –
аврипилаг:
лица наги, ад уст, – омут-суд...
Мал хроноса лад – дал ноту бутон ума!
Харона гимн, миг утра –
в карете влетел –
в Лете – в сад – у стен...

ВАЛЕРИЙ СУХАРЕВ

АСТРОЛЯБИЯ

Моя «Астролябия» — это лишь часть, которая говорит, что никакого пост-модернизма нет, и все Адорно- и - Гассеты это всё придумали.

Просто, сказано человеком, что всё это видел, но пересказал вот так...

Очень на улице было никак: у грачей выпадали перья, деревья вообще не гнулись. Коты под разными именами и безымянные бабушки, увлечшись никому не нужным простором и лепниной облаков и особняков, ходили, поглядывая друг на дружку и вверх. Местность была. И была она печальна, падала листва, серебрился крестик самолётника, под чернооким виноградом дворник наяривал в носу (потом съел); бабушки купили пирожков и коньячка, сели на рифлёную скамеечку, опятидесятиграммились, и стали молвить; от полуденного солнышка коты под скамьёй стали в полоску. Тем же часом Егор Шлутатюкович, не ясно, какого рода и племени (скорее всего — гремучие гены), приехав на пузатом «Бэнгли» (тень дерев таращила пальцы на лаке), сказал: «Бурдымберда тадык, то есть хурлул вуздупяк, короче — тётки, а рояль никому не нужен?». Бабушки сморгнули, а потом сглотнули, коты поменяли позы. Одна предложила граммофон и аспидного цвета пластинки, другая мотоциклетку от убившегося ещё на Испанской, видимо, войне, в тяжком пики, то ли отца, а то ли деда, а третья пригласила в гости. Дворник опять ковырнул, но не ел, только рассматривал, любуясь перламутром ногтя; в небесах загромыхало, и тяжесть всех савоофов (точно там передвигали шкафы Византийской библиотеки), нависла...

Тем часом, переулком шла девица Настя, в наушниках и юбочке, в которой нельзя наклониться и погладить голубя, либо застегнуть туфельку. Вот, шла и вдруг упала, сломав каблук, и капли с её колена были как гранатовый сок. И вышел из особняка, весь в белом, розовощёкий кто-то и сказал: «Поедем, красотка, кататься...». Настя ничего не ответила, и ливень пал; и её юбка, обняв бёдра, поднялась и отправилась в неизвестном направлении. Господа, осенью и не такое бывает.

А некто пенсионер Кривошвицвер, с пакостным носом и кравчучкой, ехал на велосипеде «Украина», старом и скрипучем, бормотал всякую чепуху, вилял и свалился в газон, где пучерогие улитки лежали, как зубная паста из тюбика, на уже пожухлой траве, и там же запятую положила бегло-припрыжчивая собачка, которую очень хотелось бы назвать гадиной. Пенсионер поднялся, участковый проснулся и опять заснул, ливень иссяк, и идиотское светило начало таращиться на всё это барахло бытия, на все эти обстоятельства; переулком заулыбался, и коты выползли, потягивая ногами, словно у них коллективный инсульт. Бабушки вновь затаращились на лепнину, у ангелочков и медуз вышло нечто коллективно свисающее, а участковый выпил и опять исдох, сказав — «Пфуй», и шлёпнув губами. Столько событий; а Настя напилась в кабаке с китайцем, и всё произошло на каком-то заднем дворе, где, обычно, сжигают рукописи; уже все разбрелись, и начало заходить пакостное для взора предзакатное солнце... Настя ушла к воде, где водоросли и аурелии, и дух последних мидий — дымок мангала. Про китайца более скучно, наверное, его пароход ушла в куда-нибудь в Куала-Лямпур, где афро-африканцы, сидя в мокрой воде, источают мускус, уксус, и их прикус напоминает... Ничего он не напоминает, ну, разве, балкон в профиль.

Инна Ивановна готовила борщ, он у неё не получался: лук разварился и плавал фляками, курица отделилась от костей, а свёкла была похожа на кашу, словом, дрянь полная. Ивановна поковыряла половником эту жижу и решила – отдам соседу-инвалиду. Тот был рад этому вареву, но пришла дочь и сказала: «Папа, помои есть нельзя», и вылила эту дрянь в унитаз, немецкий и широкий. Дочь не любила папу, она им брезговала, а он ей всё конфетки припрятывал, де-на, покушай...

Инна Ивановна легла на раскладушку и пружины заскрипели, бо была она не худа телом и не хороша собой: на лице родинка возле носа, на шее жировик, и волосы тонкие. Она родила от афганца-психа, и дочь её навещала в перерыве меж любовниками, а называли её Фатима. Фатима носила миллион каких-то монист и колец; мониста бренчали; она не надевала исподнего, и нос у неё нависал на губу; много ела, пила пиво и раздалась.

Вообще, ежели на всё это поглядеть, – то, лучше, не надо. Мы скорее пойдём к морю, где, в подвентренный день, акации и сирень размахивают руками, где клёны голосуют за простор, и где романтическая парочка поедает эклеры, давясь от оптимизма взаимного аппетита. Мы пройдем мимо.

Морской накат – как выпяченная губа; вдоль кромки, шурша, ходят – бедро в бедро – какие-то молодые мотоциклисты с гитарами, плохими и расстроенными, пьют пиво...

Боже, отчего и на море не пусто от людей? Почему везде кто-то есть?! Куда деться? Не хочу я всех вас, унылых – лучше кошку в вибриссы расцеловать, она хоть благодарна будет...

А тем временем поэт Друзпекаев написал следующее:

*«Когда смотрю я в море,
то куда я не смотрю;
стихия и медузы горе,
и якорь ржавый кораблю...»*

Потом он потерял блокнот и ручку, напился и лёг в зелень, придавив мокрицу.

Тем часом, философ по жизни, Тхуев, шёл через дорогу и сбил велосипедиста, так как задумался о Платоне. Велосипедист лежал и мучительно выл, восклицая «ы-ы-ы». Но никто не внял; и девушка в лосинах прошептала на ходу – «так тебе и надо, прусаку».

В Мозамбике тем временем произошла очередная революция: один у другого украл ноут-бук и гранату, и прихватил пакет чипсов; война была ужасна: кидались ветками и фломастерами, а потом свалили ритуальную бабу, она промолчала.

И, тогда же, тяжкий грузовой самолёт в пустыне Гоби приземлился, а внутри 1005 монгольцев пели «Smoke on the water», на все голоса. А Инна Ивановна тем часом лежала и страдала, поглаживая подушку.

Трагический греко-армянин (можно наоборот) решил, что лишился всего: он разбил машину о собственный гараж, потерпел мимолетное фиаско на простынях, а вскорости у него украли некоторую сумму, не так, чтобы убиваться, а вот он – да. Он хотел совсем было убиться, сидя в кабаке, которого был совладелец, подвывал и глядел глазами водки на какую-то жирную и обильную национальную еду, которая резиново разрезалась на упругие, как матрас, куски и ещё печальнее и пружинистее разжёвывалась; Менделеев и матрасы заедались схожим с весенней клумбой салатом. Чьи-то громкие дети, неусмиримые и вообще лишние здесь, поедали десерты со скоростью звука и требовали от мам ещё, а те пускали клубы в бокалы с мартини и знать ничего не хотели; и лица их были летние и бесплодные. Грязнуло, затем и полило.

Этнический человек так затосковал и заубивался, что подсел к ним всем и стал угощать, отказу не было, ещё бы! После смелых коктейлей дамы и дети канули в ливень, а добрый человек стал восходить к высокой астральной степени и запел с извилистыми народными модуляциями, но этого уже не помнил; барменша Катя отвезла страдальца домой, где была награждена фольклорными словами благодарности и получила щедрый «чай». Утром, после ужаса первых движений и взоров в зеркало, вызвав авточинителей, он отправился туда же и всё повторилось, но чуть иначе.

Мужчина, загримированный под посетителя синагоги, и немолодая (но ещё в соку) дама треновой масти, подсели, сделали заказ и заговорили вот о чём. Мы, говорят, вернём Ваши деньги (ласковые инто-



нации не настораживали), но услуга за услугу, да? Вы нам немного допоможете, сущая малость.

Похмелье прошло и очень захотелось всё вернуть: и машину, и зачеркнуть жирным грифелем фиаско, и...

– Что потребуется, если в силах это сделать?

– Да ничего, – здесь говорил заgrimированный, – я буду частенько отлучаться, ненадолго, и Вы, если сможете и захотите, поправите ваши ошибки, да?

– Какие именно? У меня их много...

– Недавно Вы несколько неудачно провели время с одной милой женщиной, это надо переменить к вашему с ней обоюдному лучшему, так?

– Ну, так, наверное, – здесь наш герой, всмотревшись в даму, стал припоминать и вспомнил.

– Она будет навещать Вас, пока не будет меня, так мне спокойнее, она не измучает Вас прихотями и прочим, только ласка и понимание.

– Так... э-э... а, кажется, я...

– Умница какой вы, право слово. Часть денег сейчас, пойдёт?

– Ещё бы, что Вы, я...

– Вы угостите нас обедом, она останется, я уеду, но знать буду всё.

Через три дня армяно-грек лишился и кабака, и машины и всех денег, ему было оставлено на пропитание и крыша над головой. И ещё, в слабом воспоминании, те две, с чрезмерно громкими детьми, и барменша Катя, с которой так хотелось куда-нибудь и как-нибудь съездить отдохнуть, такая приятная девушка, и не воровала...

Ксюша купила колготы, помаду и бутылку коньяка, к ней должен был прийти ухажёр, невзрачный дурачок и любитель бардов; в восемь вечера она тушью сделала драматические глаза, надела колготы, накрыла скромный стол: сыр, паплет обморочного цвета, а посередине стола – букет искусственных цветов; кошка свергла его вместе с вазой, а заодно и паплету подбела.

Никита пришёл с вялой и подержанной астрой, сразу запросился в туалет, где отирал крупу с воротника; Ксюша, приседая, подтягивала отвратительные колготы и оправляла платишко безобразно-бордового оттенка.

Сели за стол (она – поджимая подушечные губы, он – неловко шевеля локтями), и не знали, о чём бы заговорить. Таких свиданий у Ксюши было несколько, Никита был неизменно вял и читал по памяти Асадова, сбиваясь и давая зевки, точно осеннюю крупную муху проглотил. Ксюша слушала и скучала, ей о жизни поговорить хотелось, про бабушку рассказать, про цены на мясо и овощи, про поездку в Гагры, с сестрой, за которой уволок грузинский мачо Трубервенидзе, а она потом плакала, сидя на камне; и ещё что-то ей хотелось пересказать, например, про другую подружку, сделавшую аборт и ходившую босиком по Рижскому взморью... Никита кивал, чесал за ухом и стряхивал пепел на скатерть. Ксюша нервно оправляла платье, теребила салфетку и вращала глазами; а во внутреннем кармане у Никиты, во фляге, с горловым звуком култыхалась водка, купленная на последние. Вялая астра, забытая в прихожей, незаметно помирала, роняя свою розницу куда попало; и нежный шарфик лежал ужом подле арахисового цвета шкафчика.

Никита сказал: «Вот теперь, когда мы можем быть вместе – (запнулся и выпил) – тогда мы не будем расставаться, я куплю тебе сапоги, и зима грядущая нам не страшна».

– «Никита, сделай мне другое – предложение...». И он стал рассматривать ногти, синие, как у сердечника. Ксюша закинула ногу на ногу, крепко сжав бёдра, и её кружевное сделалось узким, как полоска заката где-нибудь над Северным морем.

Никита съел паплету, сложил салфетку и закурил. Она тоже; дымки были похожи на старика Хоттабыча, с его витиеватой бородой.

– У меня есть деньги, – сказала.

– А у меня их нет, – ответил.

Она постелила; похожая на балахон и цвета махаона постель отражалась в настенном зеркале: Гоби одеяла и торосы подушек, похожих на пельмени. Легли, взяв на колёсный столик коньяк и сыр. От проезжающих улиц машин по обоям и потолку прокатывались радути, стол не убрали и заснули, каждый никому не нужный. За окошком, где по карнизу топочет Вечность, висел ангел, и не знал – что ему

делать. Он просто был, очень похожий на скворца или иную птицу. Ксюша легла на бок, без надежды на ласку, и лопатками впивая запах папшета и холодок храпа.

В далеком и никому не нужном городе Сургуте (здравствуй, сургуч, на неряшливо запечатанной посылке) жил геофизик Мумдурбаев, сухонький такой, в кедиках и на велосипеде всегда, кроме кромешной зимы, когда в носу плохо, и синицы не свистят. На пятом десятке он, побрившись холодной водой (хозяйственное мыло было пенкой, но не мылось), он решил: надену свитерок (унылые елочки и олени), джинсики, не достающие до лодыжек, и пойду делать предложение... Дорогой он прихватил сервелата из оленины, литр и квалый букетик (ещё взял пакетик морошки); собрался и пошёл, с тонкой шеей под шарфом, горестный лицом, словно у него изжога или живот болел. Шёл неказистой улицей, где все дома были, как тридцать три богатыря, на одно выражение тоски и запустения. Влекомый дом обозначился из тумана идиотическим балконом, торчавшим на фасаде, что твоя челюсть, неведомый читатель.

Анастасия работала душой в детсаду, гремела горшками и игрушками, днём у ней в ушах шумело от этого гомона, а вечерами она включала телик и смотрела лабуду, в компе же искала женихов побогаче, но сайты предлагали лишь старых гага, с их сомнительными вилами и яхтами, не понятно, в какой части Европы, и она раздумывала: вот, приедет швед нехороший – готовь ему борщи или котлеты – намёт и бросит; а здесь ещё таксист кругами ездит, глазами честными глядит, даже на камеру снимал, когда, летом, с его друзьями... Ну, я была права, по-своему, когда... Анастасия впадала в мечты, и невольный вздох слышало только одеяло.

Мумдурбаев пришёл и сказал: «Настя, ты как хочешь, а я, того, ну, это, короче...».

– И что, голубчик, жениться? – молвила.

– Вроде того, – и начал жевать...

– Так скажи, мол, хочу...

– Хочу, вот, велосипед продам, будем картошку варить, а ты наденешь сарафан в розах...

Анастасия всплакнула, дескать, вот, человек случился, и опять впадала в виртуальные мечтания, где некий(имя – по желанию) везёт её далеко, за буераки-реки-раки, срывает печальное женское исподнее, и...

Мумдурбаев умер через месяц, угодив под камаз, а Анастасия вышла за таксиста, который поколачивал её от ревности, как боксёрскую грушу, после чего она скинула, и уехала в один большой город – наниматься гувернанткой; там же нашла друга, который обирал её, и она, страсть не сдержав, ударила его утюгом европейской марки. Российские черепа не рассчитаны на это качество... Её оправдали, и она ушла в монастырь, совращать монашенок. Она вообще тяготела к своему полу – справедливая и бедная Настя.

На подоконнике, в уголку, стоял и тихо страдал кактус, что твой ребёнок несчастный, загнанный в чулан. Закатное солнце гуляло по рознице посуды, золотые ободки облизывались; кот зевал на муху. Автандил Эразмович (раннее брюшко, плохо выбриваемые брыли) сидел и читал Евтушенко. Поэт ему казался сомнительным, с его метафорами; Автандил не любил метафор – «всё враньё, поэты – идиоты в разноцветных носках, клоуны бытия, кукушки из роци и прочая фонетика, что жужжит в ушах...».

Атлантида Петровна Кукс (в девичестве немка), дама с усиками, но ещё в соку, похоронив мужа, решила впасть в разнообразия: меньше есть на ночь, прикладывая огуречные опшметки, взвешиваться на ускользящих из-под ног весах, но всё равно безнадежно никому не нравиться. Голос у ней был, словно свирель задудела в аэродинамическую трубу, нос крючковат и глазищи рассматривали переносицу, где потух двадцатилетней давности угорь; пергамент кожи сокрыл этого червяка, не выдушенного вовремя. Она сказала: «Оля, а не пора б возвращаться домой до боя часов?». «Нет, бонна, – молвила брюнетоглазая гадина, вихлястая в ходу, – нет, конечно, дура...».

Хороший, добротный дом: кошки валяются как попало, собаки выкусывают в паху, родители в командировке навсегда, в мисочках с едой – закатное солнце; там же, во дворе, догнивает фиолетовый «вольво» – курятник без кур; героиня ездит на джипе, сшибая при разворотах унылые горшки с пересохшей землёй и прочие ненужные предметы этого двора. Дом, выставив крылечко, как язык, глядит на это без особого понимания, и сожаления тоже не наблюдалось, дескать, урулила – и то хорошо.

Под вечер бонна согревала ужин, на авось, а сама себе (утоллки рта скорбно съехали), мелкой побежкой



пальчиков (вот – салфеточка и вот ещё) разворачивала слипшийся сыр, расчленённая котлетка (привет, морг!), запятые лука; и в чашке – невыразимо мерзкий по цвету какао. Это – ужин. Потом – закинуть в стиральный омут её футболки (а мы всё на джипе), спорты и джинсы, и – второй телевизор, уютно урчащий, а второй, возле освенцима микроволновой печи, говорит: «Что ты будешь делать, если остался один (одна), а в дом, искривляя тени на стене, крадутся тати?».

Машина жуёт белё, всасывая щёки, Бонна глядит в окно, где нет ничего, кроме ветки и первой звезды; Бонна думает, что верует, ей так уютно: ангелы простят того питариста, что сволок её, теперь дочке семнадцать, она живёт с этим (приходил знакомиться, торт и литр) как его? – Артуром, что ли или Петром... Бонна (ей заплатили за год, до рождества) сидит не покладая рук; велик дом в два этажа.

Атлантида Петровна набирает по мобильному: «Ксюш, ты скоро? Ужин уже, да, готов, и я хотела...». Связь прервана, мы рулим по буеракам и как бы со стороны наблюдаем: зависает колесо и тут же – блик ветки по стеклу, затем – завал в другую сторону, на правую сосну (протёрлись со скрежетом), далее (спасибо, звук, что ты так похож) – дуб и стоп... Расплакался радиатор, а дружок Кела на байке полетел вызывать «скорую»; врач сказал – «Реанимация, срочно!». Ужин не дождался героини. В сухих глазах (блик на кафеле) ламп ничего не было, только мушка села; и ужасно скрипели, похожие на осьминога, перчатки хирурга. Общий свет – потусторонний. А ангел слизал капочку красной влаги с её брови.

Кстати, героиню звали... Хорошие, доброкачественные тени в невероятных пальто, помавая руками, немножечко так приседая, нащёпывали – «Там, где опадают розы пеплом, где странные мосты, чей ажур робок, где девушки, разъяв колена, вещают – «Проснись»... Она резко, как смахивают сон, открыла глаза и сказала: «А теперь отвезите меня домой, меня ждёт ужин». Джип же доковылял печальный трактор облезлого цвета.

МАРИНА МАТВЕЕВА

ЕЁ НЕБЕСНОСТЬ

НОВЕЛЛА

*Но если жизни нет без света, если
Он сам почти что жизнь и если верно,
Что он разлит в душе,
А та живёт в любой частице плоти,
То почему же зреньем наделён
Лишь глаз наш –
Хрупкий беззащитный шарик, –
И почему оно – не ощущение
Присущее всем членам, каждой поре?
Джон Мильтон «Самсон-борец»*

Прежде Вероника не знала, что такое отчаяние...

По-настоящему красивым женщинам, особенно если они прекрасно это знают, ценят и умеют этим пользоваться, живётся легко. Красота получает всё, открывает любые двери, подчиняет людей; красоте многое, если не всё, позволено; красота – это свобода, вся и сразу, до куража и самодурства...

А то, что обладательница красоты является её рабой, только доставляет женщине дополнительное удовольствие. Прежде для Вероники не было большей радости, чем наедине с собой (а кто мог быть интереснее для неё, чем она сама?) и любимым зеркалом проводить вечерние косметические процедуры – по часу, по два; перемеривать наряды, на которые очередной поклонник вывернул наизнанку кошелек; перелистывать каталоги модных причёсок, косметики, парфюмерии; перезваниваться с проверенными парикмахерами, визажистами, имиджмейкерами...

Всё в ней было продумано до мельчайших нюансов, а потому и была её красота подобна оружию, одновременно защищающему и поражающему. Потому не приходилось ни о чём, кроме, собственно, красоты, задумываться. И ничем, кроме неё, заниматься. Остальное – не интересовало.

В том числе, как ни странно, и мужчины. Их было столь много вокруг, и ими так легко было пользоваться, что они наскучили уже тогда, когда Вероника была школьницей. И чем бы они ни пытались её удивить – ресторанами, автомобилями, кандидатством наук и в депутаты, поэмами и картинами собственного творения – всё наводило тоску. То, что ей было нужно, она получила от них сразу; если возникала необходимость в чём-то ещё – тут же получала, – и лишь иногда милостиво соглашалась осчастливить одного из десятков походом в ночной клуб. Да и то, если в этот вечер не приглашён на дом косметолог. Идеальное лицо к утру важнее, чем чьё-то там счастье. Красота должна «работать», и эффектнее всего она действовала на работе.

«Продвинутые» дизайнеры убрали из приёмной офиса фирмы стол и конторку, и поставили для «администратора» высокий стул в стиле хай-тек... «Один-ноль» – любому посетителю. Шефа распирало от гордости, сотрудников – от эротических грёз, сотрудниц – от зелёной бессонницы... Даже то, что они «знали» Кафку и Астуриаса, а «эта» – только Диора и Версаче, не «лечило». Счастливой куколке незачем читать это зверство. Такие вообще не слышали даже слова «горе».

Их слова – да Богу в уши – в тот день, когда случилось *это*.

Когда красота в один миг стала бессильной, беспомощной, бессмысленной, просто лишней, просто не нужной. Эта выстрадавшая, вырожденная, стоящая бешеных усилий и денег красота – ничто.

Он – молодой, красивый, сильный.

Нищий, просящий подаяние у храма.

Слепой.

Абсолютно, окончательно и бесповоротно. На месте глаз – уродливые шрамы. Жестоко, несправедливо, убийственно слепой. Жестоко, несправедливо – к ней.

...Наверно, это наказание уже было нацелено на неё, когда, покидая вечером офис, она неожиданно зажмурилась от выстрелившего в глаза отражённого в церковном кресте луча ещё живого солнца. Ей тогда почему-то захотелось подойти поближе к храму, рассмотреть, может быть, даже войти в него. А прежде она его не видела, будто и не стоял он всегда по пути...

У храма на ступенях сидел он. Никогда не замечавшая нищих, Вероника вдруг прикипела взглядом к этому красивому юноше с чёткими, идеально ровными, будто вычерченными сумасшедшим проектировщиком, шрамами на месте глаз.

Шрамами, с которыми надо было жить, бесноваться, царапать землю – а он был спокоен. Не как смирившийся. Вероника не могла оторвать взгляд от человека, который чуть ли не благодарен судьбе за свою слепоту, – по крайней мере, она ему безразлична. Как безразлично и всё остальное. Взгляд (а у него был – был! – взгляд, и Вероника оцепенела в ужасе от собственного бессилия объяснить это) устремлен внутрь... или...

Ей почему-то подумалось: «Святой...», хотя о святых она имела представление весьма смутное.

В храм она тогда не вошла. Нужно было пройти мимо ступеней, где сидел этот... «Блаженные» – так, кажется, называли таких раньше (Или не совсем таких?.. Откуда это слово?). Не смогла приблизиться к нему.

...А вечером уже знала, что завтра снова пойдёт к храму, чтобы увидеть его. Тогда ещё не ведала, зачем. Просто хотелось. Прежде, если ей чего-то хотелось, она это делала и никогда не задумывалась о причинах своих желаний.

...Город ещё не отпустила жара. Отливы заката притемнили золочёный купол церкви до меди. Смутное воспоминание: не всегда он был золотым – прежде, несколько лет назад, вроде, был выкрашен в голубой. «Лазурь» или «морская волна» – кажется, что-то в этом роде довелось ей слышать краем уха на некой богемной выставке, куда она от скуки однажды «прогулялась» с поклонником. Там, кажется, была картина с этим храмом.

– Нравится? Хочешь? – спросил тогда её спутник с каким-то глупым волнением.

– Зачем? – хмыкнула она. – Ещё икону предложи!

– До икон не дорос, – непонятно смутился он. – Не нам, грешным...

От этих слов ей тогда стало ещё скучнее...

...Все вчерашние нищие – четыре старушки, гурьба беспризорников, потасканный алкоголик – были на месте и наперебой заявляли о себе. А его – до странности непохожего на них молчанием и неподвижностью – не было.

Но было чувство – придёт. Надо ждать (зачем ей его ждать – не возникло даже вопроса). И Вероника сделала то, ради чего приходила вчера. Вложив в кружечки и баночки нищих деньги – словно заплатив за вход – переступила порог храма.

...Свет брызнул в глаза... Краски, лица, пространство... Высота, которая почему-то назвалась глубиной... Всё было новым, ярким, сияющим, будто только что созданным: расписанные стены, усыпанный стразами (или драгоценными камнями?) иконостас, вышитые хоругви, образа с лицами, будто живыми, говорящими, с фигурами, готовыми выйти за грани рам...

«Как красиво!.. Надо приходиться сюда...».

Подняла глаза в купол: небесная твердь, усыпанная серебряными звёздами. В центре – глаз в треугольнике.

Этот глаз вдруг показался ей вопиюще лишним в этой красоте, дисгармоническим, сводящим всё на нет...

Резко опустила взгляд. Уцепилась за яркие, наверно, недавно отреставрированные, а потому ещё хранящие плотскую сочность цвета и округлость линий образа, за свежепозолоченные оклады, за икебаны шелковистых лилий и пушистые снопы хризантем под иконами... «Как красиво!..».

Красота долго не отпускала, не хотелось уходить, и чувство, что пора, возникло внезапно...

Выйдя из церкви, увидела его. Теперь уже невозможно было не пройти мимо, совсем близко, и Вероника, на минуту задержавшись на пороге, с неизвестно откуда взявшейся дрожью в ногах нерешительно сделала шаг.

Между ними не было и метра, когда она остановилась, удивлённая тем, что увидела вблизи. Он вовсе не так молод. Хорошо за тридцать. Или уже за сорок? Или всё-таки двадцать пять? Морщин на смуглом лице нет. Но... нет глаз – нет лица. А значит, нет возраста. Эта его вневозрастность (вневременность?) когтем вцепилась в сердце Вероники. Ещё вчера оно не знало когтей...

По характерному излому губ (почему, собственно, характерному?..) угадалось: афганец. Или из Чечни, Приднестровья... Сталинграда, Куликова поля... «Оттуда». О войнах и воинах представление у нее было такое же, как о святых.

Это была не жалость. Это было странное – и непреодолимое! – желание склониться перед ним, упасть в ноги. Она склонилась – чтоб сделать это «безнаказанно» в глазах окружающих (не смогла пренебречь «общественным мнением»), положила в его нагрудный карман зелёную куштуру. Он не отреагировал – не заметил. А она почему-то испугалась обратить его внимание на деньги. Или на себя? Невероятно смутившись, быстро отошла – почти отскочила. Почти побежала прочь от храма. Вдруг боковым зрением увидела тихую руку, скользнувшую в его карман... Не смогла ни крикнуть, ни погнаться за воров, ни подойти и «подать милостыню» снова.

Он ничего не заметил. Не изменился в лице, не изменил позы. Для него этого не существовало. Она почувствовала (что это так кольнуло внутри?), что для него не существует этот мир вообще. Взгляд, которого нет, устремлён... Куда? Она не могла вместить... Храм покачнулся, он, сидящий возле, вдруг взлетел над куполом... застыл среди облаков... Вероника нащупала стену ближайшего здания. Всё встало на места – но видеть это было невыносимо. Бежать, вскочить в первую маршрутку...

...А почему, собственно? Отчего она бежала? Придя в себя, уже дома, она стала думать. Напряжённо, мучительно – не на школьном ли экзамене по алгебре она последний раз так думала? – и безнадежно.

«Люблю» – до этого додумалась сразу. Мысль была проста – Вероника привыкла обобщать ею или ей противоположной («не люблю») всё, что касалось отношений между женщинами и мужчинами (понятие «не люблю» включало ещё категории «нравится», «не нравится», «терпимо», «никак» и «жуть»). «Люблю» категорий не имело, поскольку прежде в этом понятии ей не было необходимости.

Ныне «люблю» было максимальным приближением к тому, что требовалось осознать. Чему надо было дать имя, привесить ярлык, посадить на цепь и загнать в одну из мозговых «будок». Имя не давалось, это было не совсем то (совсем не то?), но необходимо было думать дальше, поэтому Вероника остановилась на «люблю».

И что теперь с этим делать?

Да, подойти, заговорить, сказать: «Я люблю Вас, сделаю для Вас всё». Потом забрать его к себе, окружить заботой, вниманием, исполнять все его желания... Ей даже на память не пришло, что за всю жизнь она ни разу не пошевелила пальцем для другого существа. Ныне готова была не то, что пальцем – горы свернуть! – чтобы только этот необъяснимый человек был возле неё, чтобы только любил её...

И тогда в мозг вошло отчаяние.

Сначала спокойно, в форме мысли, и это было ещё выносимо, но когда перекатилось в чувство...

А мысль была проста: да, он будет из признательности любить того, кто взялся бы облегчить его жизнь, женщину, готовую ради него на всё – но это будет женщина вообще, какая угодно, любая – но в его сознании она не будет ею. Именно ею. Он не выделит её из самого понятия женщины, не отличит от других таких же.

Да, именно таких же. Потому что, то единственное, что отличает её от прочих, необходимо видеть, а он видеть не мог.

...Она почувствовала, что за это готова возненавидеть его. Бесценное сокровище, которое озарило бы жизнь любого, за которое другие отдали бы всё – от копейки до жизни – для него суть ничто...

...Веронике было непривычно ощущение отчаяния: стряхнуть его, стереть сам зачаток, только возникший внутренний дискомфорт захотелось сразу. Вскочила перед любимым зеркалом, одним рывком сбросила пеньюар... На миг застыла (как застывала всегда – нет, никогда это зрелище не оставит её равнодушной!) в потрясённом восхищении.

– Он почувствует... – произнесла глубоким, грудным голосом, от которого у самой едва не подкосились ноги. – Гладкую кожу, шёлковые волосы... Ему не будут безразличны мои прикосновения... мой голос...



Медленно провела рукой по груди, плечу... В пальцах задержался локон... Как она гордилась своими волосами необыкновенного, сияющего оттенка – чего-то среднего между червонным золотом и зеркально-белой ртутью – кажется, так сказал о нём влюбленный художник. Ещё добавил: «Никогда такого цвета не видел – и не увижу...».

Не увидит... Не увидит!!!

Для чего тогда всё это? Зачем ей эта необыкновенность, её сияние, её единственная индивидуальность? Благодаря ей Вероника имела лишь самое абстрактное представление о том, что бывает любовь безответная (что-то где-то на другой планете...). И теперь красота, эта великая сила – ни для чего...

Резко запахла пеньюар, стиснув кружева у самой шеи, – инстинктивно пряча красоту от посягательств, спасая её, ставшую вдруг такой хрупкой и беззащитной, от напора другой силы, неведомой, непостижимой...

Отчаяние уже вползло в мозг, сплеталось с нервами...

А... душа?!! Мысль была невыносимо, болезненно новой... Впору было кричать: «Эврика!».

Он отличит её душу от других!..

Вот именно... По полному отсутствию таковой.

Воображение цинично подобрало для внутреннего взора соответствующие образы: перед глазами завертелись идеальные пластмассовые личики кукол Барби, – превращаясь в круги... в пустоте...

И отчаяние наступило.

...Большая часть этого огромного мира, этой яркой, многообразной, изменчивой жизни прошла мимо неё: листья, дожди, люди, музыка, церкви, книги, души... Что ему до пустой?.. Он знал всё это, знал и знает – не может не знать, не чувствовать, как она, всего этого человек с таким лицом, с таким взглядом...

...А взгляда – нет.

Взгляд – это то, что направлено на окружающий мир, на других. То, что устремлено в себя – не есть взгляд. И её он сможет воспринимать только *этим*. И тело её, и, какую-никакую, душу.

От следующей мысли Веронику затопила боль. *Это* не может быть ничем иным, как памятью. Когда-то он мог видеть, и образы этого мира отпечатались в мозгу и возрождаются перед внутренним взором силой взаимодействия других чувств и воображения...

Разумеется, мысль Вероники не была так сложна. Напротив, всё было просто. У человека с таким лицом не могло тогда, в прошлом, не быть возлюбленной... И этот образ – его последнее воспоминание о самом понятии женщины, о понятии любимой. И как бы он ни сблизился с ней, Вероникой, – разговаривая с ней, прикасаясь к ней (о, она не только позволила бы – она умоляла бы его об этом!) – представлял бы на её месте ту, другую... И никто не смог бы ничего изменить – да имей она хоть три самых распрекрасных души!!!

Нет.

Что угодно – но не это.

Решение было принято. Боль разжала сведённые плечи.

Её красота, драгоценность её ненаглядная, реабилитирована. Веронике остро захотелось, как бы в оправдание перед ней, сделать её ещё совершеннее...

Подвижные руки нащупали косметическую баночку. Открыла её, погрузила палец в свой любимый нежный, прохладный крем. Поставила пятнышко на щёку, провела вниз...

Внезапно ощутила отвращение к себе с этой грязью на лице.

Раздавила его.

...Да что это за наваждение? Зачем? Кто-то (Бог, которого нет?) хочет что-то там ей показать и доказать? Смешно. Да любые самые умные кандидатки наук, самые возвышенные поэтессы, самые тонкие скрипачки и пианистки, самые святые монашки отдали бы всё, что имеют, за то, что имеет она – а она бы не взяла! Да потому и становятся монашками – что не имеют этого. Вот пусть и ухаживают за больными и калеками, если ничего им больше не дано. И не ей пачкать руки прикосновением к этому...

Блаженному...

Мысли, занявшие целый вечер, рассыпались в пыль. Не об этом надо было думать, не от этого мучиться...

А оттого, что ему, человеку с таким... взором, – святому! – она просто не нужна. С красотой ли, без, с телом ли, с душой, или без оных, – не нужна. Как таковая. Вообще. Она была бы спокойно, но твёрдо отторгнута, отстранена, отделена, – да если вообще замечена!.. Как не замечал он ничего вне...

Да как дерзнула она даже мыслью посягнуть?!!

...К таким, как он (откуда это?), шли люди со всех концов земли, преодолевая огромные расстояния, сбивая ноги в кровь — лишь затем, чтоб прикоснуться к краю одежды, принять благословение, получить совет в труднейших жизненных ситуациях, в мучительных душевных страданиях...

...Она — у его ног: «Я люблю Вас. Что мне делать?»...

Возможно ли опуститься до... решиться на такое?

Нет.

Заставила себя вновь поднять глаза к зеркалу, борясь с невыносимым желанием не отрывать их от пола.

Резкий звонок телефона напомнил о том, что её жизнь остается её жизнью.

Вцепилась в трубку как в спасение.

— Алло... — произнесла всё ещё рассеянно, вслушиваясь в кошачье-сладкий голос на другом конце провода. — Анатолий? Максим Сергеевич? А, Сапа! Конечно же, помню! — её даже не удивила собственная слишком буйная радость. — Ещё бы не рада!.. Да, завтра свободна... А что ты можешь предложить? «Братья Карамазовы»? Это новый ресторан? Не слышала... Спектакль? Питерский? Конечно, пойду! — и вдруг поймала себя на странной мысли: — Нет... наверно, не пойду. В театре всё переделывают, перевирают для красоты... Нет, сначала надо прочитать, а то ещё неправильно пойму... Кстати, у тебя есть книга? Отлично... Принсёшь, ладно?

Не глядя, бросила изумлённо онемевшую трубку. Опять что-то сжало плечи...

...Она даже представить себе не могла роман «Братья Карамазовы». Но сознание (откуда???) прочно ассоциировало его с понятием «жутко умная книга». Эталон сверхумной и сверхскупной книги.

Но откуда-то из глубины поднялось чувство, что есть в этой книге и о душе, и о храмах, и о святых, и о любви... И о красоте тоже есть.

«Осилю, пойму — подойду...».

...В этой книге не было только об одном, о чём она не знала, но должна была знать для того, чтобы подойти, — о войнах.

— Боже мой... — вырвалось впервые. — Ему было больно... страшно...

То, что произошло затем, было сделано с целью хоть как-нибудь, хоть приблизительно, понять (примитивное сознание не могло вместить подобное без прямых, осязаемых аргументов), насколько ничтожно её отчаяние по сравнению с отчаянием настоящим...

Белоснежная изящная ручка с холёными ногтями сжалась в кулак и с размаху вломила в любимое зеркало.

...Взрыв разметал осколки... Потоки крови заливали пол... Тяжёлый, страшный голос с чужим акцентом:

— Видишь нож, падаешь? Это последнее, что ты видишь...

И всё стало ясно. Все стало просто — до боли...

Тем ярче воссиял, Небесный Свет,

Во мне и, силы духа озарив,

Ему восставь глаза, чтоб видел я

То, что узреть не может смертный взор...

Джон Мильтон «Потерянный Рай»

Пять (десять? тысячу?) лет назад купол и стены этого храма были тончайшего оттенка светлой лазури. Он рисовал эту церковь: небесно-голубой купол и небесно-голубое небо, почти не отграничиваемые друг от друга едва различимым контуром, — и, среди облаков, без всякой опоры, будто выписанный на небе, — иззеркаленный солнцем крест.

Небесная церковь...

Перед уходом туда, откуда было мало шансов вернуться, он так и не успел подарить эту картину той, кого называл Единственной... Слишком часто. Слишком вслух.

...Единственная исчезла. Мама умерла вскоре после его возвращения. Друзья и знакомые «рассосались», не выдержав психологического напряжения от общения с калекой. Он пережил это спокойно, без надрыва. Привык привыкать. *Тогда* привыкать было больнее — не умел. До *тогда* всё было слишком по-другому.

...Он обожал красоту, а от красоты яркой, броской просто терял голову. Впивался взглядом в пронзительные переливы безудержных оттенков неба, в порывисто-красивые женские лица, в красивые церкви...

А ныне понял (не сразу – сквозь сотни диких «Нет!!!» и буйствующих «Не хочу!!!», смиренных одним несокрушимо-хладнокровным «Да. Теперь так будет всегда»), что и в женщинах, и в храмах красота – это только для глаз. Зацепка. А для сердца – иное. Небесность.

И эта церковь стала для него еще более Небесной, чем была прежде. Он ощущал эту Небесность всем своим существом, всем телом, кожей... Он не мог определить, что это такое – Небесность. Одно знал: глаза и кисти ничуть не помогли бы ему справиться с этим определением. Это невозможно увидеть и изобразить, услышать и произнести, описать и прочесть. Только, может быть, музыка немного ближе... А в мире, оказывается, так много музыки! Слишком много той, что создана людьми, будто специально для того, чтобы отнять слух от иной, что сама собой рождается и тихо и чисто звучит *там*...

Там, где... Он даже мыслью не смел прикоснуться к этому «где», будто угадывая, что рано ему ещё осмысливать, не имеет права, не достоин – должен сначала по настоящему научиться *это* чувствовать; пропустить сквозь душу, прожить...

И он жил *это*...

Во время литургий тихо стоял в притворе храма, вслушиваясь в гармонию хора, сжимаясь в комок боли при каждом надрыве голоса кого-то из певчих – от внезапного глубинного ощущения своего недостойнства петь *это*...

В тишине стен слушал глухие голоса чтецов, вздрагивая при каждой оговорке, осечке, сбое; ошибочно различал, когда чтец осёкся оттого, что именно эти слова чем-то невыразимо близким задела его душу, а когда, напротив, усталая мысль читающего отлетела в сторону, и некой невидимой, но всюю совестью ощутимой силой была возвращена к *этому*...

...Но сильнее ему хотелось быть не в церкви, а «у ее ног». Чувствовать её близость, родство, её суть, её Небесность – рядом. Он не знал, как находил дорогу – его как будто приносило к ней сквозь когти города, не замечаемого, почти не сущего. Он сидел на ступенях, не сознавая даже, что находится в толпе просящих подаяние (И мысли не было о милостыне: «нехилой» пенсии по инвалидности хватало с лихвой. Половину отдал бы – жизнь становилась всё менее материальной). Он не замечал денег, которые изредка клали в его карман, не замечал тихих рук, туда проникающих. Не ощущал аромата дорогих духов, которым всё чаще и чаще стал овеивать его дерзкий весенний ветер...

Он был наедине со своей Небесной церковью.

Он не ведал того, что недавно реставраторы переписали купол и стены храма в иной – светящийся, неповторимый оттенок – нечто среднее между червонным золотом и зеркально-белой ртутью...

– Я люблю вас. Что мне делать?

– Ника?

– Вы меня зна...

Память. Если с ним возможна только память, то это память о ней.

О ней, гламурной красавице, которую он когда-то так хотел нарисовать, а она капризно ставила свои – немыслимые для божьего художника – условия. О ней, глянцевой обложке, фыркающей в сторону скучной живописи музеев и галерей. О ней, почему-то Единственной для него. Просветлённо ненавидимой. Восхищённо презираемой. Даже не запомнившей его лица в круговороте поклонников. Не узнавшей. Открывшей его заново – уже *другим*.

Поди докажи теперь, что она изменилась.

А надо ли доказывать? Да изменилась ли?

– Я люблю... тебя.

Тысяча лет, оказывается, проходит быстро.

– Роди ребенка. Тебе нужен именно он. Пора уже. Я не подхожу на роль твоей ляльки, а другую играть я, как видишь, не могу.

Чертов святой! Психолог хренов! Убить бы...

Впрочем, ответ правильный. Именно за ними – правильными ответами – к святым и ходят. Будто сами не могут додуматься до простейших истин.

И в церковь идут за этим. Женщина в дорогом шелковом шарфе на глянцено блестящих волосах сейчас войдет под её своды – ставить свечи за своё земное будущее.

Для кого же тогда – Её Небесность?

– Я хочу, чтобы мой сын рисовал храмы. И иконы. И...души... у людей. Ты ещё можешь сделать это снова – его руками, его глазами.

Тысяча лет, проходя, споткнулась о ступени. И долго думала, вставать ли ей, идти ли дальше.

ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН

МОЯ ДОРОГАЯ НАСТАВНИЦА

рассказ

1. ВРЕМЯ

Время беспощадно даже к пирамидам. Воспоминания теряются в проявляющихся морщинах. И даже смерть не останавливает бесконечный поток жизни. Время мчится вперёд, возвращается как уроборос, кружит голову, затягивая мысли в воронку.

Вот и она, моя дорогая наставница, поражая мою душу рассказами из иных эпох, очевидно, многое придумывала. Но нет-нет, не лгала. Никоним образом! Честная даже в обмане, она говорила то, что помнила, но многое ли удерживала её голова... или сердце? Она уверенно путалась, безапелляционно фантазировала. А лакуны заполнялись какими-то неправдоподобными утверждениями, в которые она сама свято верила. И я всё принимал за чистую монету. И по сей день считаю всё если не чистой правдой, то высшей истиной. Даже если факты и оказывались вымышленными, то была реальность, которой она жила, которой дышала, не теряя убежденности в непогрешимости своих слов.

Она повлиала на меня, помогла оформиться моему внутреннему миру, не своими многочисленными нарративами. Тут другое. Её слова – это как прикосновение вечности, как возвращение к истокам человеческой цивилизации.

То была женщина иной формации, иного воспитания, постаревшая, внешне даже уродливая, но обладавшая сладчайшим голосом... Я написал «с твёрдыми интонациями», потом зачеркнул и написал «с мягкими»... И всё это чепуха. Интонации уверенного лиризма? Нежность и спокойная твёрдая уверенность? Не знаю. То были особые, неподражаемые интонации. А ещё с ней непросто, но очень интересно говорить.

Теперь, когда она далеко, мне очень не хватает её поддержки... и нападок, её зачастую глупой и всегда беспощадной критики, которой я никогда не верил, но которая заставляла меня искать и думать.

2. ОДНАЖДЫ ОНА ОБРАЩАЕТСЯ

Итак она – Неси-та-уджа-ахет, певица с поразительными вокальным данными. У неё большой диапазон и необычный, легко узнаваемый тембр голоса. Для красоты истории можно было бы написать: «Мы познакомились случайно». Но такое утверждение не является правдивым. В действительности, я долго приобщался к её миру. С четырехлётнего возраста родители регулярно выгуливали меня в археологическом музее. И уже первый визит обернулся шоком. Дело в том, что музей состоит из двух уровней. Его верхняя, светлая часть – прямая противоположность нижней, тёмной. И они разделены лестницей и грозным стражем. Спускающегося вниз по лестнице посетителя встречает скелет. Но то лишь скромный привратник сумрачного царства мёртвых. Апогей – египетская коллекция, идея которой – культ потустороннего, находящегося за гробом. Я, проделав этот путь и достигнув подземной обители, был удивлён, потрясён, подавлен, напуган. Ушебти, сосуды для органов, саркофаги, мумии, алтарь... всё вызывало вопросы, ответы на которые я подозревал, но не хотел слышать. Почему так? Я был мал. А дети – новички в материальном мире. Они только вступили в него, они ещё помнят другую реальность и не спешат открывать ту дверь, которую только захлопнули за собой.

А, однажды столкнувшись с вопросом, нельзя просто забыть его, не устаивая ответа или какой-то минимальной реакции. И шествуя потом по коридору, соединявшему комнату и кухню коммунальной

квартиры, я страшился глубоких тёмных ниш. Мне грезилось, там стоит мумия. Впрочем, она, казалось, вовсе не таилась там, готовясь к прыжку или удару, к нападению... нет... Она безмолвно и неподвижно стояла. И в этом скрывался весь ужас ситуации. Бездействие мумии служило напоминанием вопроса. От атаки можно уклониться, её можно отбить, а вопрос всегда в душе – от него не скроешься.

Страх мумии сопровождал меня долгие годы, а я продолжал ходить в музей. Но потом, даже не помню, как и когда, мой кошмар притупился, а потом и вовсе забылся, чтобы вернувшись ко мне через годы, в возрасте тринадцати-четырнадцати лет.

А дальше... Я слышал внезапные оклики, кто-то тихо повторял моё имя, звал меня. Ясный, тихий отчетливый голос, слишком настоящий, чтобы быть галлюцинацией. Хотя я абсолютно чётко отдавал себе отчёт в том, что никто не слышит его кроме меня.

И вот во снах меня стал преследовать повторяющийся кошмар. Вначале чувство, которое я не могу отчётливо описать. Чем-то это сравнимо с непереносимым колебанием громкости или частоты звука. Впрочем, нет. Мне кажется, это некое неприятие течения времени. Словно пустота наполняется ощущением времени. Мгновения сочатся, движутся, но ничего больше нет. Это создает ужас дискомфорта. Одно лишь время, вне объектов, вне материи. Потом я словно закопан в песок. Я просыпался, и мои уши тотчас наполнялись странной колыбельной на незнакомом языке, но я понимаю каждое слово:

*Вот уходит вечер,
Свой разбив кушин,
Вечер быстротечен –
Посоха ашин.
Воды текут,
В чреве зреет ночь,
Подафи мне отдых,
Все заботы прочь!
Золотой богине,
Матери моей,
Всё известно ныне
И в пучине дней.*

Слова приносили тревожное согласие с происходящим, и я забывался беспокойным сном.

Несколько дней кошмара подвели меня к простой мысли, – необходимо что-то предпринять. Тогда я, повинаясь наигтию, написал на листке бумаги: «Кто ты? Что тебе от меня нужно?». На ночь я сунул записку под подушку. Во сне мне явилась красивая смуглая женщина, которая, загадочно улыбаясь, без умолку болтала на самые разные забавные темы. Так что у меня в голове ничего не осталось, кроме приятного впечатления. Я, впрочем, совершенно отчётливо осознавал, что женщина – это мумия из музея. И ещё... я утратил страх. Я отправлялся к мумии с визитом в музей, где она установила со мной телепатический контакт. Потом мы продолжили общение и во снах. Изредка она являлась ко мне и в телесном облике. Хотя это и создавало многочисленные проблемы. Разгуливающая по ночному городу мумия пугала прохожих. А разгневанные горожане жаловались на певицу Амона в милицию. Да и у меня подвижная мумия вызывала дискомфорт. Впрочем, её артистичность и обаяние служили компенсацией её нетривиальной, даже неприятной внешности.

3. MAGISTRA VITAE

Мне льстило внимание мумии. Кто я и кто она! Мумию окружал всеобщий интерес. Люди стекались в музей, чтобы поглазеть на неё. Это и понятно. Неси-та-уджа-ахет – эффектная певица, свидетельница тысячелетней истории и славных времен древнеегипетской цивилизации. Конечно, время не пощадило её. Она местами заметно подпортилась, даже, я бы сказал, сгнила. Но её поразительное уверенное спокойствие, красивый тембр голоса, ум сполна компенсировали внешние недостатки. И, наверное, умение тишью моё самолюбие играло свою роль. Она являлась мне и говорила что-то вроде: «Как я рада тебя видеть, ты мягкий, добрый, родной, с тобой мне хорошо, а в музее меня окружают сплошные идиоты. Ах! Особенно тот старый дурак из Мемфиса... Осёл... Извини, в смысле, что не любит он путешествовать. Он забыл свое собственное имя... Ты встречал где-то ещё таких оригиналов?! Саркофаги надо подпи-

сывать!». И: «Ты представляешь, с какими дебилами мне, певице Амоне, приходится общаться?». Потом она рассказывала мне без конца о былых временах, о святом Египте, о его закате и будущем величии. А я сомневался: «Прошли тысячелетия! Уже и коптов-то очень мало осталось». Но такие мои слова вызвали ужасный гнев Неси-та-уджа-ахет: «Меньше народа, больше кислорода». А ещё: «Если боги сказали, что Египет возродится, то он возродится». И она цитировала какой-то, видимо, священный текст:

«Разве ты не знаешь, что Египет есть образ неба, или, скорее, что он есть отражение здесь, внизу, всего, что управляется и осуществляется на небе? Однако, поскольку мудрые должны всё предвидеть, необходимо, чтобы вы знали одну вещь: придёт время, когда будет казаться, что египтяне напрасно с таким благочестием соблюдали культ богов и что все их святые воззвания окажутся тщетны и не исполнены. Божество покинет землю и вернётся в небо, оставляя Египет, своё старинное обиталище, вдовую, лишённой присутствия богов. Чужаки наводнят страну и землю, и будут не только пренебрегать святыми вещами, но, что более прискорбно, сам культ богов будет запрещён и караем законом. Тогда земля сия, освящённая столькими храмами, будет изрыта могилами и усеяна мертвецами. О Египет, Египет! От твоих верований останутся только неясные рассказы, в которые потомки уже не будут верить, набожные слова, высеченные в камне. Варвары населят Египет. Божество возвратится на небо, а Египет без богов и своего народа превратится в пустыню. Такова будет старость мира – неверие и хаос, полный упадок правил и добра. Тогда Господь и Отец, высший Бог, видя нравы и деяние людей, исправит зло деянием божественной доброты; дабы положить конец заблуждению и развращённости, Он утопит мир в потоке, или уничтожит его огнём, или разрушит его войнами и вернёт Египту его первозданную красоту. Таково святое обновление Природы».

А я верил. Я внимал её рассказам о богах, об искусстве. Собственно, о гармонии мира. Ведь искусства нет вне богопочитания. Вне религиозной составляющей оно утрачивает смысл, превращаясь в пустое позёрство. Я учился. А Неси-та-уджа-ахет покровительственно поучала, но в её тоне не было ни пренебрежения, ни чванливости. Однако, она всегда умела подчеркнуть своё превосходство, с которым я был абсолютно согласен. А её слова «ты пронизателен как собака» служили мне лучшей похвалой.

4. МУМИИ В ЭМИГРАЦИИ

Её истории о священном Египте, оберегаемом богами, о городах, над которыми всегда светит солнце, вызвали вопрос, зачем же Неси-та-уджа-ахет покинула свою страну. Когда я впервые заговорил с ней об этом, она ответила довольно невнятно: «Не знаю, что привело меня в чужеземную страну, – это подобно предначертанию бога, подобно тому, как если б увидел себя житель Дельты в Элефantine, человек Болот – в Нубии». Когда же, стремясь уточнить, расспрашивал Неси-та-уджа-ахет о её прошлой жизни как мумии, выяснялась картина куда сложнее. В сущности, не она одна перебралась на чужбину. Я так понял, что среди египетских мумий в какой-то момент появились, а потом стали усиливаться чемоданные настроения. Благородные мертвецы массово устремились в Европу и США. Невозможно понять причину их миграции... Ну конечно, много столетий до того Египет скучнел, пустел, деградировал. И хотя ушебти продолжали усердно работать, а жизнь после смерти текла своим чередом, вокруг царил бардак и мерзость запустения. А самое ужасное – вопиющая бездуховность. «Люди вокруг больше не верили в богов, не приносили благочестивых жертвоприношений». «А как они поют! – возмущалась Неси-та-уджа-ахет. – Как они поют!». Я удивлённо выпячивал глаза. А женщину это возмущало, ещё больше заводило, и она словно вся воспламенялась, опетинивалась: «Я закончила одну из лучших храмовых певческих школ! Я училась у... ах, да ведь ты никого не знаешь... ты варвар... и я, я после внимания сладчайшим звукам голоса великого Кафу-анха была вынуждена слышать отвратительные завывания бедуинов!». Она мне показывала рисунок Кафу-анха и вопрошала: «Правда, он прекрасен?». Она так надеялась, что в том изображении остался Ка великого певца! А я мычал что-то невнятное, беспомощно поднимая вверх руки, благогазумно помалкивая о собственных музыкальных предпочтениях.

Не только служители муз, или, точнее, богов, уезжали из Египта. У каждого были, вероятно, свои мотивы, свои истории, все одинаково неубедительные, нелепые, в которые сами рассказчики не всегда верят. И все древнеегипетские покойники инфицировали друг друга стремлением к перемене мест. Даже нелепая мумия из Мемфиса, забывшая своё имя и теперь тоже обитающая в Одессе, зачем-то покинула священную родину богов. Хотя, что искать на новом месте тому, у кого нет даже имени?

Разумеется, мумии не могли приобретать билеты на пароход, но связанные с ними духовные сущности влияли на духовные сущности, или, если угодно, душу, хотя технически это и неточно, европейцев. Так создавался, возбуждался, поддерживался интерес к Древнему Египту, заставлявший толпы учёных, коллекционеров и авантюристов устремляться в священную страну, чтобы перевозить мумии с их вещичками в крупнейшие, прекрасные, похожие на дворцы, музеи мира. Особой популярностью у мёртвых египтян пользовалась Западная Европа. Неси-та-уджа-ахет выбрала Россию, влюбившись в одного пламенного юношу, во Владимира Сергеевича Соловьева. Её Ба, прогуливаясь по Лондону и планируя переезд в Британский музей, встретило русского философа. Певица представилась ему Софией (ведь о ней он мечтал) и даже поманила его в Египет. В 1875 году Соловьев приехал к ней, осыпая Неси-та-уджа-ахет комплиментами, посвящая ей прекрасные стихи. Например, такие:

*Вся в лазури сегодня явилась
Предо мною царица моя, —
Сердце сладким восторгом забилося,
И в лучах восходящего дня
Тихим светом душа засветилась,
А вдали, дорогая, дымилась
Злое пламя земного огня.*

Какая мумия устоит... если так можно сказать о мумии. Неси-та-уджа-ахет не устояла перед величием духовной красоты, она твёрдо решила отправиться в глушь, в Российскую империю. В 1894 году певица прибыла в одесский порт, удобный перевалочный пункт, где некоторые мумии ещё в 1825 году через коллекционера И.П. Бларамберга заложили основу для образования колонии. Сами они стали прибывать сюда с 1843-го. Неси-та-уджа-ахет, оказавшись в городе, осмотрелась и, хотя мумии здесь обитали неинтересные, довольно провинциальные, решила остаться. Очевидно, певицу по-своему впечатлил молодой, начавший своё развитие с театра, город, с большим количеством практически бывших соотечественников, людей, предки которых тоже когда-то выпали из Египта.

5. А В ОДЕССЕ

Неси-та-уджа-ахет часто потешалась, посмеивалась над глупыми провинциальными одесскими мумиями. Одна из них, между прочим, даже не имела головы, другая не помнила своего имени. Да и привёз их не благородный повелитель и не учёный, «а какой-то врач, никогда не слышавший ни об Асклепии, ни о нашем Осирисе, о Нектанебе, да будет он жив, невредим и здрав! И как можно лечить человека, не зная ничего о мире божественном, который своей гармонией пронизывает всё сущее, определяя происходящее? Как человек, не верящий в демонов, может изгонять из тела демонов, являющихся истинной причиной болезней и страданий?».

Забавно, что она говорила «Асклепий» и «Нектанеб». Откуда певица, жившая во времена XXI династии, при фараоне Аменемопете, могла о них знать? Я долго над этим размышляла. Нашел лишь одно разумное объяснение, — очевидно, эллинизация в Египте оказалась столь сильной, что проникла даже в гробницы.

А жалобы Неси-та-уджа-ахет... Уверен, они содержали некоторое преувеличение или даже обман. Певица Амона жестоко ругала город, но, при этом, не желала перебираться в столицы, никак не объясняя свой фактический выбор. Она упорно продолжала жить в Одессе, беспощадно её понося.

В Одессе же в конце XIX и начале XX веков жизнь была ключом. Мумия мгновенно включилась в этот бурлящий поток новизны. Её Ба парило по многочисленным ресторациям и кафешантанам. Певица общалась со всевозможными музыкантами, художниками, литераторами, политическими активистами, став их своего рода музой, наставницей, вдохновительницей. И я понимаю, что без той мудрости тысячелетий, которую она передавала местным деятелям культуры, феномен блистательной Одессы никогда бы не состоялся.

Впрочем, политическая агитация самой певицы Амона вела, как я сейчас осознаю, к катастрофе. Взгляды Неси-та-уджа-ахет в этой области безнадежно устарели. Она свято верила в единоначалие, в безграничное и абсолютное управление святого царя. Она называла его Гором или последним из богов и первым из людей. Но к Николаю Второму и генсекам она относилась, мягко говоря, непочтительно. «Фараоны-безбожники», — презрительно цедила она сквозь зубы неизменную характеристику дореволю-

ционных и советских царей. Лишь Ленин находил в её очах благоволение. И Неси-та-уджа-ахет всегда при мне настаивала на необходимости возвращения к его заветам. Ильич казался ей благочестивым царём, удостоившимся праведного погребения и пожелавшим стать Осирисом.

В вопросах социальной политики Неси-та-уджа-ахет проявила себя яркой сторонницей общины. Она говаривала: «Человек живёт, пока он ведом другим человеком, разделить общество на личности – это словно разорвать единое тело и бросить его в пустыне на съедение львам».

Иногда я робко пытался ей возразить. Я стеснялся, а её мощный ум подавлял мою волю. Я начинал мычать, извиняться: «Мне неудобно прерывать Вас...». На что она резко реагировала: «Неудобно спать на вершине пирамиды». Однако, стоило мне заговорить по существу, как Неси-та-уджа-ахет резко отрезала: «Ах, убитый сандалией! Сколько тебе лет, малыш?».

Но главным увлечением Неси-та-уджа-ахет были не разговоры, её радовала активная театральная жизнь в городе, частью которой она очень скоро стала. Неси-та-уджа-ахет устроилась петь в театр. На сцене она, конечно, не могла красоваться. Она пела из-за кулис, вместо нелепых псевдо-певиц, лишь открывающих на сцене рот, совершенно не имевших ни голоса, ни слуха. Концертная деятельность Неси-та-уджа-ахет мне казалась чистой нелепостью. Прекрасная певица, потрясая и удивляя слушателя своим чудесным исполнительским мастерством, оставалась в тени. К сожалению, руководство театра всегда опасалось представить публике уродливую мумию, отдавая предпочтение внешнему и отвергая истинной, внутренней, глубинное. Никто так и не узнал, что лучшие вокальные номера в театре – заслуга исключительно скромной невзрачной мумии, большую часть суток забавлявшей посетителей музея своей выразительной жуткой внешностью. Я часто спрашивал певицу Амона о её готовности поддержать высокую репутацию Городского театра, равным счетом ничего не прося взамен, ни денег, ни славы. Неси-та-уджа-ахет лишь отмахивалась и спрашивала: «А обилие псевдоэпиграфов во времена процветания моей страны тебя не удивляет? Хороший голос, проницательный ум, мудрое сердце, умение говорить суть не заслути человека, но дар неких благих богов, нуждающихся в прославлении людей, так же как и люди нуждаются в их дарах». Я не возражал. Не хотел прослыть в её глазах богохульником. А это было легко, если принять во внимание её необычные утверждения. Она мне как-то сказала, что это люди творят богов...

А я лишь внимал, удивляясь её великой уверенной мудрости. Лишь однажды я решился спросить, почему она избрала меня в собеседники. «Ты меня не понимаешь и это хорошо, ведь счастливы ты! Хранитель твой – бессмертный бог, а не демон низшей природы. Это и мешает тебе раскрыться в мире материи, столь ненавистном каждому мыслящему существу».

6. REMEMBER ME

Я поступил в университет и так увяз в новом распорядке жизни, что уделял слишком мало внимания общению с Неси-та-уджа-ахет. А она сутулилась, тускнела, грустнела... чуть не написал «старела». Мумия может стареть? А она лишь твердила: «Я встала, но сердце моё спит». Она жаловалась на директора Оперного театра, на дразни между людьми искусства на пустом месте. Город как никогда ранее погряз в трясине провинциальности, серьёзная карьера сделалась практически невозможной. А служители муз вцепились друг другу в глотку, доказывая своё превосходство... чего ради?

В городе вообще царили чемоданные настроения, люди активно уезжали. Точнее, в другие страны перебралось уже такое их число, что оставшиеся чувствовали себя покинутыми родные места. Неси-та-уджа-ахет не могла не поддаться общему настрою. Она была легко внушаемой мумией. Её Ба в сущности, ещё в конце 80-х расправило крылья и вознамерилось податься в США, а вот Ка было сложно расстаться с мумией, которую можно было вывезти только контрабандой и с большим скандалом. Даже если бы махинация удалась, мумию бы укрыли в частной коллекции, не пуская её в театр, сделав невозможным её общение с людьми искусства. Для столь эффектной и яркой певицы такой исход дела совершенно неприемлем. Видимо внутренний разлад, вечный спор в ней между Ба и Ка, сказался на самоощущении мумии. Но, в конечном счете, Ба удалось убедить Ка. И сердечно попрощавшись со мной, Неси-та-уджа-ахет отбыла в Западное полушарие.

Сама мумия утратила жизнь. Музей оберегал лишь оболочку. И тело начало быстро портиться. Говорили, что виной тому автостоянка, которая находится прямо под окнами археологического музея. Представляя «храм муз», Сергей Борисович Охотников жаловался в прессе на негерметичные стекла музея и на вред от выхлопных газов. Многие винили высокий уровень влажности в городе. Даже приглашали

из Египта для консультаций известных специалистов Ахмада Ради и Мустафу эбд Эль Кадера Эйсу. Но ничего не помогло. Без Ка мумия обречена. Без духа плоть мертва. Она лишь тлен.

Потом долгие годы я не получал я никаких вестей от певицы Амона. А сравнительно недавно я нашёл аккаунт Неси-та-уджа-ахет в фейсбуке. Оказалось, она занимается своим любимым делом, поёт. Иногда снимается в кино. Для Ка сделали изумительную золотую статуэтку, но новое роскошное обиталище не заглушило тоски по телу.

Теперь мы рутинно ставим «лайки» под сообщениями друг друга, но о духовном говорим мало. Невозможно полноценно общаться с кем-нибудь, если не видишь его, не ощущаешь его ауру. Лишь в памяти моей хранится прежняя Неси-та-уджа-ахет, яркая, умная, неподражаемая певица Амона.

АНАСТАСИЯ ЗИНЕВИЧ

КОШАЧИЙ АПОКАЛИПСИС

посвящается другу

Сначала я думал, что мой кот ушёл в загул. Хотя даже такая версия была почти невероятной: никаких выходов со двора не было, везде – глухой забор, а все деревья стоят от него на большом расстоянии.

Убедившись, что он не прячется в доме, я день за днём обходил все окрестности и звал его. Без толку. И никаких следов – как, куда, зачем... Потом подумал о том, что мы только неделю как переехали на новое место. Мистика, конечно, но вдруг ему взбрело в голову вернуться обратно? Ведь именно там год назад он пришёл в мою жизнь – взявшись во дворе ниоткуда... А теперь вот так же неожиданно исчез.

Вспомнился его необычно широкий лоб. Все его пропорции были преувеличены, как у инопланетянина. Вполне может быть... Но нет, он не инопланетянин. Было в нём что-то очень человеческое. Что если он – перевоплощение бывшего хозяина, убитого в 90-х бандитами и его что-то привязывает именно к тому дому?

Как бы там ни было, ничего другого не оставалось, как поехать в свой прежний дом. Помню, сердце так и забилось, когда подходил к калитке – казалось: вот сейчас он выскочит, бросится на руки... Кота не было. Но была новая хозяйка дома:

– Кота? Нет, не видели. Но вы знаете, у нас пропала собака...

Ну, каких совпадений не бывает! Пошёл по соседним домам. Все качали головами. А в доме, откуда всегда доносился злобный лай – было пугающе тихо.

Вернулся в свой новый дом и стали одолевать воспоминания. Как он пришёл ко мне, ободранный и нищий. Как принимал подаяние, и как понадобилось полгода, прежде чем впервые позволил к себе приблизиться. А вот мы устраиваем купания, и он фыркает, скалит свой клык, но покоряется. И какой снисходительный у него при этом вид! Как будто он ВСЁ ЗНАЕТ. И жалеет нас, несмышлёных детей. Знает что? Боже, как же мы легкомысленны! Всё играемся, не думая о будущем... Он ведь знал, наверняка знал – что произойдёт! А произошло следующее: Кошачий Апокалипсис. Исчезли все домашние животные. Куда? Да вознеслись, как это и положено в день Апокалипсиса всем чистым душам.

Кем он был для меня, мой кот? Он был моим ангелом. Может быть, все наши домашние животные были для нас ангелами. Охраняли в нас последнюю частицу добра. Стояли на страже наших заблудших душ. Может, ждали когда мы очнёмся и приручим друг друга. Ну а пока – позволяли заботиться о себе, ведь с ними мы ничем не рискуем. Они никогда не предадут, не обманут. Почему же они ушли? И что теперь будет с нами, если даже они, такие верные, покинули нас?!

А люди жили себе как раньше. Даже в новостях не стали ничего объявлять. Зачем – если всё необъяснимое выбивает из колеи, сеет панику... Да и что, собственно, изменилось? Компьютеры работали, заводы не стояли. Машины, поезда, самолёты – всё было на полном ходу. Только на одну сводку о сбитых домашних животных стало меньше.

Я пытался поделиться своими догадками с близкими. Но сочувствия не нашёл. Только одна знакомая как-то отозвалась, и то не нашла ничего лучшего, как прислать бразильскую песню, в которой говорилось:

«Отпусти меня

Мне нужно идти

Но ты смейся, не плачь».

Но песня то – про любовь, которая кончилась, потому что была ошибкой. При чём здесь это и пропажа моего единственного друга – кота.

Может, и мне плюнуть на всё и успокоиться? Ну, пропал и пропал, жизнь действительно не остановилась. Как же опасно всё-таки к кому-либо привязываться. Переживай потом...

Нечаянно я обратил внимание на название бразильской песни: *«Мне нужно, чтобы меня нашли»*.

То, что ничего случайного в этом мире не бывает – в этом за последние дни мне пришлось убедиться сполна. Поэтому я встал и пошёл паковать рюкзак. Где он может быть, мой кот? И если он вознёсся – где он мог оставить мне весточку? Какой-нибудь знак, по которому я смог бы его найти? В кого он мог воплотиться?

Я стал внимательно просматривать старые сводки Нэйшинл Джеографик. Дело в том, что все дикие коты, включая больших кошачьих, были к этому времени уничтожены. Так, во всяком случае, значилось в Красной книге. А сам Нэйшинл Джеографик уже десять лет как прекратил своё существование.

И наткнулся на сообщение от 2023 года: «Учёные организуют экспедицию в горы Сахьядари, что на западе Индостана. Они убеждены, что там могла сохраниться популяция камышовых котов. Эта экспедиция – последняя надежда подтвердить существование хоть одного представителя диких кошек».

В том же 2023 году в другом сообщении значилось: «Экспедиция в горы Сахьядари отложена на неопределённый срок». А в 2024 известно, что произошло: «Красная книга» была официально закрыта по причине ненужности.

И вот я пакую палатку и прочее снаряжение, сохранившееся на память о путешествиях юности. Я еду в Индостанские горы. Что я буду делать, даже если найду последнего представителя диких кошек? Как найду с ним общий язык? Я не знаю. Но я знаю одно – мне нужно найти моего кота.

АНГЛИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ

в переводах Жанны Жаровой

РОБЕРТ ФРОСТ

A LATE WALK

When I go up through the mowing field,
The headless aftermath,
Smooth-laid like thatch with the heavy dew,
Half closes the garden path.

And when I come to the garden ground,
The whirl of sober birds
Up from the tangle of withered weeds
Is sadder than any words

A tree beside the wall stands bare,
But a leaf that lingered brown,
Disturbed, I doubt not, by my thought,
Comes softly rattling down.

I end not far from my going forth
By picking the faded blue
Of the last remaining aster flower
To carry again to you.

ПРОГУЛКА ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ

По жухлой мураве, по скошенной траве
И убраным полям,
Покрытым, как слезой, тяжёлою росой,
Иду к пустым садам

С листвою, павшей ниц. Тревожный гомон птиц,
Взлетевших из-под ног
Из вялых сорняков, звучит печальней слов,
Что я сказать бы мог.

Деревья у стены стоят, обнажены.
Один последний лист
Замешкался, дрожа, — но вот и он, кружа,
Слетает плавно вниз.

Пора домой идти. Нарву в конце пути
Наперекор судьбе
Последних астр букет, как след минувших лет,
И принесу тебе.

MY NOVEMBER GUEST

My Sorrow, when she's here with me,
Thinks these dark days of autumn rain
Are beautiful as days can be;
She loves the bare, the withered tree;
She walks the sodden pasture lane.

Her pleasure will not let me stay.
She talks and I am fain to list:
She's glad the birds are gone away,
She's glad her simple worsted gray
Is silver now with clinging mist.

The desolate, deserted trees,
The faded earth, the heavy sky,
The beauties she so truly sees,
She thinks I have no eye for these,
And vexes me for reason why.

Not yesterday I learned to know
The love of bare November days
Before the coming of the snow,
But it were vain to tell her so,
And they are better for her praise.

НОЯБРЬСКАЯ ГОСТЬЯ

Когда со мной моя Печаль,
Ей мила дождливый тёмный день
И пастбищ сумрачная даль,
Тумана сизая вуаль
И призрачных деревьев тень.

Её велений не постичь.
Она диктует – я пишу:
Ей в радость птиц прощальный клич
И страж лесной – угрюмый сыч,
И чащи заунывный шум.

Её простая седина
Сверкнёт старинным серебром...
Земли забытой тишина
И мне желанна и нужна –
Её хочу уверить в том.

Я не вчера узнать был рад
Любовь нагих ноябрьских дней,
Когда лишь завтра – снегопад.
Печаль... Нет лучшей из наград!
Но как поведать мне о ней?

GHOST HOUSE

I dwell in a lonely house I know
That vanished many a summer ago,
And left no trace but the cellar walls,
And a cellar in which the daylight falls,
And the purple-stemmed wild raspberries grow.

O'er ruined fences the grape-vines shield
The woods come back to the mowing field;
The orchard tree has grown one copse
Of new wood and old where the woodpecker chops;
The footpath down to the well is healed.

I dwell with a strangely aching heart
In that vanished abode there far apart
On that disused and forgotten road
That has no dust-bath now for the toad.
Night comes; the black bats tumble and dart;

The whippoorwill is coming to shout
And hush and cluck and flutter about:
I hear him begin far enough away
Full many a time to say his say
Before he arrives to say it out.

It is under the small, dim, summer star.
I know not who these mute folk are
Who share the unlit place with me –
Those stones out under the low-limbed tree
Doubtless bear names that the mosses mar.

They are tireless folk, but slow and sad,
Though two, close-keeping, are lass and lad, –
With none among them that ever sings,
And yet, in view of how many things,
As sweet companions as might be had.

ДОМ ПРИВИДЕНИЙ

Живу в одиноком пустынном дому,
Исчезнувшем многие лета тому.
Лишь стены подвала хранят его след –
Подвала, где дня уходящего свет
Погаснет, и всё погрузится во тьму.

Для дикой малины нет больше преград,
Руины ограды оплёл виноград;
Вернулись леса на некошенный луг,
И пёстрого дятла доносится стук,
И в рощу разросся запущенный сад.

И сердце порою так странно болит
В обители сирой от мира вдали,
Где машет крылами лесной нетопырь,
На месте забытой дороги – пустырь,
И жабам на ней не купаться в пыли.

К колодцу давно не пройти за водой,
И часто под вечер кричит козодой.
Я издали слышу его в вышине –
Он важное что-то торопится мне
Сказать – и стрекочет, нарушив покой.

Не знаю, кто делит пространство со мной,
Едва освещённое тусклой звездой, –
Толчётся беспшумно безрадостный люд:
Здесь их имена меж корнями живут
В камнях и под мшистою склепа плитой.

Без устали, медленно движется рать...
В компании славной мне век вековать!
Вот пара одна – это он и она,
Их песни немые поёт тишина.
Что ж – с ними неплохо, по правде сказать.

THE DEMIURGE'S LAUGH

It was far in the sameness of the wood;
I was running with joy on the Demon's trail,
Though I knew what I hunted was no true god.
It was just as the light was beginning to fail
That I suddenly heard – all I needed to hear:
It has lasted me many and many a year.

The sound was behind me instead of before,
A sleepy sound, but mocking half,
As of one who utterly couldn't care.
The Demon arose from his wallow to laugh,
Brushing the dirt from his eye as he went;
And well I knew what the Demon meant.

I shall not forget how his laugh rang out.
I felt as a fool to have been so caught,
And checked my steps to make pretence
It was something among the leaves I sought
(Though doubtful whether he stayed to see).
Thereafter I sat me against a tree.

СМЕХ ДЕМИУРГА

Это было в глухой монотонности чащи;
Я бежал так беспечно, преследуя Духа,
Хоть и знал, что мой Демон – не бог настоящий.
Звук невнятный внезапно донёсся до слуха

В час, когда предзакатный смеркается свет:
Я всё слышу его, хоть прошло много лет.

Он звенел впереди или вдалеку за спиною,
Словно бес в кошки-мышки игрался со мною:
Равнодушный и сонный, то реже, то чаще
Раздавался смешок или шёпот дразнящий.
Демон праха и страха из начала начал –
Понял я слишком поздно, что тот смех означал!

Мне вовек не забыть, как мой Демон смеялся.
Я себя проклинал, что так глупо попался,
И замедлил шаги, притворяясь в смущенье,
Будто что-то ищу – но моё унижение
Демон вряд ли заметил – он быстро исчез.
Я очнулся – вокруг тот же лес до небес.

ACQUAINTED WITH THE NIGHT

I have been one acquainted with the night.
I have walked out in rain – and back in rain.
I have outwalked the furthest city light.

I have looked down the saddest city lane.
I have passed by the watchman on his beat
And dropped my eyes, unwilling to explain.

I have stood still and stopped the sound of feet
When far away an interrupted cry
Came over houses from another street,

But not to call me back or say good-bye;
And further still at an unearthly height,
One luminary clock against the sky

Proclaimed the time was neither wrong nor right.
I have been one acquainted with the night.

ИЗВЕДАЛ НОЧЬ...

Я ночь изведал – мрак её и кров.
Я вышел в дождь – и воротился в дождь.
Я покидал свет дальних городов,

Был в самый тёмный переулок вхож.
Я молча минул пост сторожевой,
Чтоб с губ невольно не слетела ложь.

Вдруг замер я: крик с улицы другой
Над крышами домов взлетел – и стих:
Меня не звал, прощался не со мной...



А звёздные часы миров иных
Твердили мне в разрывах облаков,
Что нет времён хороших и плохих,

Что вне добра и зла ход их веков.
Я ночь изведal – мрак её и кров.

ДМИТРИЙ БУРАГО

В ДИКОМ ПОЛЕ ГОРИТ ВОДОЁМ

ЦАПЛИ

Маме

В моих болотах ходят цапли, им незнакомы перебранки.
Они глядят на свет с изнанки, и свет расходится на капли
в триумфе умиротворенья, когда блестят слова от плеска,
и ни к кому, и даже не с кем поговорить про ударенья.

С разбега, изо всей обиды влететь в растерянное детство
и, хлопнув дверью, разреветься и умолять: «Меня простите!
Простите, я уже не буду!». Но никого в сыром пространстве,
и моросит. Какое пьянство вымаливать себе остуду.

Простите... За окном рябины дрожат с промокшими ногами.
Уже не будет середины. И никогда не будет мамы.
И от вины до наводнения, от ропота всего живого
проходит заново рожденье, удостоверившее слово.

Распахивая двери настежь, смотрю на свет в дневном проёме,
на рябь, на прожитое наспех в привороженном водоёме.

Я из ливня, из восстанья
 перейду на сочтанья,
перейду на третий берег,
 где дыханье вяжет вереск,
где степные сухоцветы
 останавливают лето,
где царица Сон-трава
 раскрывает покрова
и в глубинах горизонта
 плещут невода оконца.

Как сказать, как выгородить, скрыть
сласть преданья, причитанья пруть,
дребезжанья лунную фольгу,
расстоянья взлетную пургу,
отвлеченья властные сосцы,
воспаленью верные рубцы?
Так возьми и выжми, изложи
до колючей проволоки, лжи,
одолжись до одури, до грез,
до хрустящих кончиков берёз,
чтобы до последних этажей
поднималась дрожь от падежей,
чтоб притворный выспренный предлог
от опустошения не сберёт.
И на всё, про всё – прямая речь
для того, чтоб промысел извлечь.

БАРСЕЛОНА

В моей душе горит Средневековые
на сорок пять пересечённых верст,
на сорок сороков зрачков коровьих,
на пять червонцев, выделенных в рост.

И тут, в арифметическом подлоге,
различия по боли не важны –
вы мне пьяны, я вижу сны-дороги,
где мы разверсты и сопряжены.

Вы мне нежны, как ножны смертоносцу,
как левое предплечье холодку.
Я вами жду, как тает плоть помоста
у площади на кафельном боку.

И что до этой сутолоки неге,
когда на полдвижения расторг
на трюфельные зданья-обереги
её паренье ловкий ухажёр.

Разгадывая улицы-вериги,
предвосхищая прободенье сна,
обманчивые каменные лики,
как отраженья, ловят нас со дна.

Как на бегу сплетаются ступени!
Как башни цепенеют на витке!
Как мы ясны! И в этом пробужденны
трепещет язь на выгнутом лотке.

*Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны...
Александр Твардовский*

Ни меня, ни вас не будет.
Я скорее умолчу,
что нас колокол рассудит
по днепровскому плечу.
Я не знаю, как вам должен,
я не верен сам себе,
не заложник – подорожник,
отстающий при ходьбе.

И теперь, у поворота,
возле камня на осп
мне положено пехотой
то, что надо пронести,
то – откуда мы и кто мы,
то, что дразнят болтовней...
Я живу почти что дома
и почти ещё живой.

И из этого почти что,
как сюжет из рукава,
выбегает к вам мальчишка,
спотыкаясь о слова.

ФАНТАЗЁРЫ

Н. Бельченко

Один за другим потянулись к реке фантазёры,
на цепких мостках притаились лукавые снасти,
клюёт на мостырку, червя, на опарыш, на шорох
в разинutom зёве, в разверзнутой пропасти-страсти.

Что ловят они, застывая в губах парашета,
комочки смычные, горячие мякиши звука,
их слижет простуда, примнет бестолковость рассвета,
и тихо вернутся в свою и чужую разлуку.

Пока не стемнело и волны ведут изложение –
диктуют улыбки Днепра изумрудные ряби,
их рыбы прядут в неразгаданных кликах забвенья,
и явь, как наживка, стихает в стенаниях рабе.

Что гонит тебя из фейсбука в чернильную заводь,
на что тебе рыба, когда наступает затмение –
то сумрак вскрывает над Лаврой кровавые жабры
и топит её очертанья в молитве вечерней.

ОЗЁРА

Александрю Кораблёву

Есть у озера ответ печали.
Есть у берега сход потайной.
Тростниковые рати встали,
охраняя родной окоём.
По поверью кроится столетье.
От надежды до пагубы жизнь
в иступлённых тугих междометях
внесена в непроглядную синь.
Там, на дне грозowego раздора,
в мимолётных краях сочтены
человеческих карпов озёра –
родниковые тайны вины.
И от луга до луга в дозоре,
от села до села над жнивьем
птичьим клекотом метит горе –
в диком поле горит водоём.

Я был почти уже несчастен
или уже почти счастливый.
Во мне скулили обе части,
как оба берега залива.

И посредине этой муки,
в каком-то каверзном антракте
я сам себя держал под руки
и выводил после теракта.

В моём сознании мелькали
восторженные воспаления,
и убедительные врал
треножили моё сомненье.

И отключая звук от смысла
и видимость от содержания,
я, как ведро на коромысле,
расплескивал свое сознание.

И оказался арестован
в плену предательства и брани.
Допрошен, пытан, истолкован
глотком в смирительном стакане.

И что теперь, в каком замесе
очнутся сумерки признанья,
когда из маминой Одессы
скрываются воспоминанья.

ФАНТОМ

*...Но сейчас идёт другая драма,
И на этот раз меня уваль...
Б. Пастернак*

Есть в плавильнях призрачная боль.
После жара, остывая будто,
ложь и право, пагуба и смута
провожают летнюю юдоль.

Перламутровые тополя
на отшибе каменных загонов
биты, как античные колонны,
а за ними минные поля.

Воздух словно грязное стекло.
Оглянуться – полудом в полнеба.
Псы не лают. Гордо и нелепо
человека славой увлекло.

От свободы застрелиться – взвыть.
Бродят Вани, Игори, Андреи,
им плевать, что врал фариисей –
в братской мгле их некому корить.

В САДУ

Родному дому

Упрямая душа-весталка огня дыханье затаила.
Мои родители гадалка, имён значения приоткрыла.
И через пять десятилетий, в клубах разросшегося сада
лицу цыганского ответа, как исцеляющего яда.
Вокруг пронзительные клёны и ослепительные ели
влекут протяжные уклоны сквозь голубиные картели.
То там, то здесь играют белки, они заглядывают в детство:
обиды, праздники, тарелки передаются по наследству.
Весь в чёрно-белом ходит папа, из шахмат биты только пешки,
на счастье нам собачья лапа и бугаевские усмешки.
На страже Зигфрид и Двенадцать, в рояле молится смирение.
Но ни к чему не прикасаться – все осыпается сиренью.
Во двор – а там, у старой группы шумят приятели из книжек.
Учусь писать, а больше – слушать, как шорох листьев светом движет,
как дворник – тихий дядя Яша метет огромными руками
через пространство это наше свою кривую с узелками.
Растут с победами сомненья. В игре рождаются поступки.
Дом в аварийном вдохновенье спасает взлётами, как шляпка,
сперва заваливаясь набок, треща над пропастью бортами,
нечеловеческим нахрапом вздымает весла над волнами.
Смыкает тьма в дремучей пене прищур опасливой догадки:
смысл, созревая постепенно – решается в мгновенной схватке.
Через дорогу – новостройка. За два квартала – парк и школа.
Хрипит заезженная тройка в кругах бессонной радиолы.

Сканави тербит решенья в искусе точного ответа,
дробится целое на звенья, и нет обратного билета.
Влечёт Чюрленис с чертовщиной во врубелевский знаменатель
приметы, поводы, причины душегубительных занятий –
так после верного свиданья выходит к зеркалу невеста,
когда вокруг уже светает, а в комнатах безумно тесно.
Москва клокочет в грязном снеге задержанной литературой,
а в Киев рвутся печенег под причитания бандуры.
Не тот герой, что из протеста идет в толпе разгоряченной,
где прохиндей, певец и бездарь слепой надеждой увлеченный
возвышен общим единеньем в преддверии великой цели...
На страже разума – сомненье и одинокие качели
в саду, когда за половину перевалила путь-дорога –
аллей и тропок паутина не спутают уже итога.
Страна, в стране, страной, на страны – склоняя память до затмения
глухие родовые раны кровят сквозь вязи поколений.
Отечество моё в прошедшем никак не может устояться –
ему раздаиваться между, а тем и этим оставаться.
Его изогнутые сосны хранят тревожные преданья,
но откровения несносны, невыносимы оправданья.
Огонь, как будто бы, притушен. Зима пятнадцатого года.
Все чаще приступы удушья и колебания погоды.

От Гоголя до Маркеса
свистят леса пунцовые
в аллегоричном шёпоте,
в приволье заливному,
и высится, и зиждётся,
и колется, и молится,
и лжётся как-то искренне,
и правда за углом.
Да только угол выгадан,
и всё, что есть – околица,
а нет, то околёсица,
и мается душа,
а ей бы правды-матушки,
да так, чтобы не приторно
и чтобы глаз не резала,
а с чаем, не спеша.

АЛЁНА ВАСИЛЬЧЕНКО

ГУЛЛИВЕРА РАЗБУДИТ ДОЖДЬ

У ВОЙНЫ НЕ ДЕТСКОЕ ЛИЦО

у войны не женское лицо. нет на нем веснушек и морщин...
грудь её наполнена свинцом, а в душе – хохочут палачи.
у неё – не женские глаза: в них не видно искренней вины.
на щеке лишь капля-бирюза женщине досталась от войны.
у неё – совсем не бабий путь: слово – ложь; прошения, как упрёк.
кто в ней отыскал девичью суть и девичьим именем нарёк?..
роет ямы в роще меж берез. не жалеет стариков, детей...
у войны не будет женских слёз – в тех слезах статистика потерь.

холодна, как зимняя метель и быстра, как речка в берегах.
женщине – баюкать колыбель. а войне – баюкать бы врага.
и, со страхом всё вокруг круша, засеять гнилые семена.
у войны – не женская душа. не умеет веровать она...
не садится ночью на крыльцо. на рассвете не шепнёт: «люблю».
не наденет на руку кольцо – разве только на шею петлю!..

кто сравнил по крови, за родством наших нежных Машенок да Кать
с этим злым, безликим существом, с этим страшным словом: «во-е-ва-ть»?..
с небом, где царила тишина, а сегодня вижу я беду?
имени-названия «война» не достоин даже чёрт в аду!

да гори ты, стерва, на костре! чтоб, как в пекле, было горячо!
женщина – как солнце на заре, а война ей целится в плечо...
пусть утопят голос твой дожди! пусть гроза тебе пронзает грудь!
уйди из дома, уйди – и назад дорогу позабудь...
нам с тобой не жить в одной избе. нам с тобой – одних не целовать.
я устала думать о тебе и смотреть на мертвенную гладь.

мне к тебе не плакать, как к сестре. не смотреть на воронов орду.
да гори ты, стерва, на костре – я сама пожарче разведу! –
чтобы ты беду не родила. чтобы не был брат тобой клеймён.
чтоб вовек назваться не смогла ни одним из девичьих имён!..

МНЕ БЫ, МАМА

мы лишь в книгах читали о Ней. мы не слышали страха во громе.
мы не видели ярче огней, кроме звёзд на ночном небосклоне.
из обветренных дедовых уст мы слыхали о горе и смерти.
мы учили стихи наизусть – в бедном Мире счастливые дети...
поутру открывая окно, мы без страха рассветы встречали.
мы о Ней – лишь смотрели кино, и тревожно сердечки стучали.
по-ребячьи встречали гостей. засыпали младенчески-сладко.
мы не ждали от горя вестей, и в ночи не молились украдкой.
не пугала тогда тишина. не страшился никто преисподней...
но далекого слова «война» мы боялись тогда, как... сегодня.

я – ребенок, не знавший утрат, миру тихому штопаю рану.
и сегодня – я вижу солдат... почему же так больно мне, мама?
вот бы крикнуть: *постойте! куда?!* – и упасть на дорогах разбитых.
поселилась в округе беда – воскресать из стихов позабытых.
вы не слышите? – пули свистят? а ветра – обещают разлуку...
и доносится голос ребят, с кем вчера мы ходили за руку...
мне не слышать бы плача сердец! на колени не падать у храма.
я черствее от боли, отец. погибаю от злости я, мама...
я – дитя небогатых Миров, синеглазою девочкой хрупкой,
заклинаю: верните любовь белокрылой на землю голубкой.
мне бы – видеть небесную синь. и от горя не ждать телеграмму.
мне бы, папа, немножечко сил... мне бы мира и солнышка, мама...

ШИРЕ ОТКРОЙ ОКНО

Господи, шире открой окно.
мир безоружен в объятьях полночи.
дождь. и в округе темным-темно.
я у порога. прошу о помощи.

очень мне хочется, чтоб жила
мать, не считая копеечки нищие.
всюду по городу – купола.
люди, а там ли вы бога ищете?

хочется солнышка над землёй:
ходят по ней сапогами грязными.
зависть людская шипит змеей.
горе, как псина, зубами лязгает.

старость калекою входит в дом.
судьбы в бутылках закрыты пробками.
слушая твой колокольный звон,
сильные, гордые правят робкими.

доброе дело боится зла –
в сказках ведь было не так написано!
может, я просто ещё мала,
если ишу до сих пор в них истину?..



люди не ведают, что творят.
жалко мне небо – рыдает, синее.
я не хочу становиться в ряд
с тем, кто по пояс погряз в бессилии...

с теми, кто в бойню ведет овец,
крысой корабль покидает тонущий.
знаю, какой из меня боец,
если прошу я тебя о помощи...

знаю, что слишком уж мало сил,
чтоб по-солдатски шагать за правдою.
я как осина – из тех осин,
что от руки с топориком падают...

мне бы – звездой на вершину гор!
и увидеть, как по свету белому
люди бросают к ногам топор,
люди не рубят других, как дерево,

не запирают своих дверей,
взглядом с колен поднимают нищего...
слышится в городе звон церквей:
люди, а там ли вы Бога ищете?..

ГУАЛИВЕР

горные кряжи. и сразу легко дышать.
мне неизвестно то место, где б так парила
без воздушного шара и крыльев моя душа.
в этом городе сером я просто боготворила
пелену облаков и спокойствие их вершин.
закрывала глаза и шептала себе: дыши.
и дышала, в надежде увидеть поток весенний
быстрых, каменных рек, солнца бледного воскресенье...
и бродить по лесам, где шумит остролистный клён...
где насажали птицы коврами кукушкин лён,
а на нём – летом чёрные ягоды ежевики.

опостытели в городе старых торговков крики –
мне бы в горы. подставить суровым ветрам лицо.
видеть бледные луны, похожие на яйцо,
слышать крики совы, ощущать за спиной свободу...
протянуть бы ладонь – и дотронуться к небосводу,
у костра ночевать и делить с муравьями хлеб.
любоваться, как месяц наточит о камень серп
и разрежет им ночь – чтобы солнцу вставалось легче.
и послышится голос какой-нибудь птицы певчей,
колокольчиком горным звеня поутру: *дин...дон...*
чтоб в округе поднялся диковинный перезвон,
словно сотни свирелей запели в одну минуту.
увези меня в горы. мы будем, как лилипуты,

у подножья сидеть, прислонившись спиной к спине.
будем слушать возню старой мыши в трухлявом пне.
в тишине заведут хоровод возле нас стрекозы.
и когтистые лапы раскинут плющи и лозы,
охраняя покой великанов и скал-химер...

и гора засыпает, как сказочный Гулливер,
в голубых башмаках из озер и лесов дремучих.
только видно во тьме, как сверкают глаза паучины.
и по телу струится прохлады весенней дроздь...

на заре Гулливера, наверно, разбудит дождь...

ЦВЕТЫ ПОД СНЕГОМ

я скучаю. я так скучаю,
так никто не любил на свете...
я похожа на белых чашек,
призывающих тёплый ветер.
как по солнцу скучают дети,
как тоскует гора по снегу,
как бескрайне сухие степи
ожидают речные береги...

я печальна. я так печальна,
как дожди на осеннем лоне...
как рябина в фате венчальной,
бью суровой зиме поклоны.
как слеза на святой иконе,
мироточу с утра до ночи.
то не стужа – то сердце стонет.
то не грозы – то плачут очи...

я как море – без дна, без края:
неумелые сразу тонут.
ожидали весны и рая,
а ступали в глубокий омут...
и, как красный кагор по венам,
разливались мои печали.
я как поздняя хризантема...
где садовник?.. я так скучаю...

будь, пожалуйста. будь поближе.
это ты иль дожди стучатся?..
ненавижу я, ненавижу
тех, кто может тебя касаться!..
разорвала бы эти тучи
свету-солнышку на потеху!
я, любимый мой, – лес дремучий,
где «скучаю» звучит, как эхо...

раздевает ненастье лихо...
превращает поля в пустыню.
нежно-нежно и тихо-тихо
листья шепчут родное имя...
в беспощадной осенней неге
душу в кровь исколол терновник.
замерзают цветы под снегом...
где же бродишь ты, мой садовник?..

ОДЕССКОЕ

на Арнаутской, в коммуналке, мы всю жизнь прожигать могли бы:
с дядей Епштой, играющим в карты, с тетей Песей, торгующей рыбой.
по Пересыпским тесным кварталам, с ребятишек смешной оравой,
мы бродили б по тротуарам, любовались закатом алым...
ветер шалый трепал мне пряди. паутинки взлетали в небо.
на скамейке сидящий дядя с воробьями делился хлебом.
и аукали б нежно волны, разбивая морские глыбы...
ощущая песок солёный, мы счастливыми стать могли бы...

не падала б жара в июле наш балкон во дворе старинном.
мы б искали двенадцать стульев, чтоб поставить их все в гостиной.
тетю Соню позвать на ужин. годовые послушать сплетни.
отыскать миллион жемчужин на ночном небосводе летнем.
хулиганов неслись ватаги – босиком по камням причала.
завели бы с тобой дворнягу – чтоб, виляя хвостом, встречала...

год сменял бы свои обличья, снег и вишни бросая детям.
мы, не думая о приличьях, целовались на зло соседям.
покупали б газеты в парке. стариков обыграли в нарды.
я б читала тебе Петрарку, ну а ты мне – заметки в «Правде».
билетёр нам сулил удачу, с перепоею глотая воду.
и с улыбкой решал задачу: цену опиума народу.

на Приморском – туманы летом. солнце волос расчесет русый.
виноград, наливаясь светом, почему-то похож на бусы...
в доме – скрип половицы слышен. пес слоняется неуклюжий.
ты б – удил мне звезду на крыше.
я б готовила рыбный ужин...

АРИНА ГРАЧЁВА

ДОРОГА В ЛЕТО

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ

Не может быть, чтоб детство отболело,
не может быть, чтоб детство отыграло.
Ещё остры и локти, и колени,
ещё во всём себя считаю правой.

Ещё хочу по скошенным отлогам
бежать навстречу солнечному ветру.
Ещё могу горящую тревогу
заесть тобой протянутой конфетой...

ЕЩЁ СВЕЖА

Ещё свежа небес эмаль,
но внешний дух остался в прошлом.
Ушёл от нас медовый май –
легко сорвался с цветоножки.

И не увидит он, как лён
июньской выбелится сушью,
и как отступит от краёв
вода в рассеянных речушках.

И не увидит, как жара
осатанеет, дым почуя,
и станут призраком добра
бродить дожди
во снах июля...

АВГУСТ

Последний месяц.
Месяц лета – третий.
Всё холоднее дышит ночь на день,
обратно в город дождь прогнал соседей,
и тишина – как в школе
без детей.

Гром кажется ошибкой, чем-то лишним,
мутнеет капель радужный хрусталь,
и жухнут, начиная с самых нижних,
на дождь не глядя,
листья на кустах.

Но жизнь вот так,
под ливня грозным душем,
от ощущений лета не отмыть,
и не теперь ещё проникнут в душу
костров осенних горькие дымы,

ещё не скоро перестанут падать
плоды в саду, замрёт стремнина звёзд...

и чувствуешь себя Господним чадом,
и веришь – всё
до свадьбы заживёт...

НА ТЕМУ ОТДЫХА

Есть, есть ещё откуда счастью взяться!
Бриз отпуска, лучащаяся явь,
волн океанских вечная возня
и берегов песочные богатства.

Назойливость экзотики «попробуй» –
недорог полный избытка куль,
прекрасен лотос и лазурь, лазурь,
солонувато пахнувшая воблой.

Грех на блесну блаженства не попасться,
но странствий плот, повременив слегка,
отправится к родимым берегам,
где от иных грехов страдает паства.

ПО-ДЕТСКИ

Мне нравилось, что ехать долго-долго.
Тогдашний день был с нынешних полгода,
все реки под мостами были с Волгу
и чистотой подсинивали воду.
Чащобы были с прорезями просек,
и то неизъяснимо волновало,
как быстро их приблизит и уносит
могучее движение состава.

Загустевал, когда купе защёлкнут,
съестного дух и романтично книжный.
Казалось счастьем спать на верхней полке
и знать, что мама рядышком — на нижней.

Что можно щёки подпереть руками
и, если не навек к окну приинкнуть,
то до минуты той, когда гудками
оповестят о станции каникул...

ПРЕДРАССВЕТНОЕ

Край небосвода предрассветно бледен,
слезами тихих озарений смочен,
нет ничего таинственней на свете,
чем призрачная смена дня и ночи.

Колышется всё дуновенной штора,
отчётливее тянутся минуты,
и чудом задремавший было город
готов в одно мгновенье
встрепенуться.

А сердце бьётся гулко и неровно,
как только от бессонниц может биться,
ещё – от слова бурного «любовник»
и оттого, что лгать
не мастерица...

В ЛОДКЕ

Пренебрегать не смею даже каплей,
из озера подхваченной веслом,
ни ряской, шелушащейся на гладком,
ни глубины боящимся теплом.

Не смею ни прикрикивать, ни пикать
на вдаль перетекающую явь,
чтоб, путаясь в поступках и ошибках,
дать приоткрыться тайнам бытия...

НЕСТАРОЕ

...к Е.

Ещё не прижилось словечко «старый»,
ещё от новых планов не отбиться,
безжалостно ещё глаза сударынь
Вас одаряют долей любопытства.

Ещё волнует в чувственном угаре
нить жемчуга и чей-то нежный вырез,
и, вдохновенью связки напрягая,
ложатся строчки в строфы
по четыре.

Ещё терпимы грозные удары
судьбы, и до конца не сдали нервы,
ещё не в полной мере город – кара
за преданные тишь и грусть
деревни.

Ещё не кличут «батей» и «папашей»
на улице подпившие детины,
но многое, казавшееся важным,
в неважное
уже оборотилось...

О ТВОРЧЕСТВЕ, КОГДА БЫ...

...Когда б ещё предвосхищённой мысль
влекла туда, где простота и древность,
где, точно терем, стих вырастает в высь
чертогом причитающей царевны,

чтоб до и после – с тем, с кем всех нежней
сочится стон мой пагубой пра-Евиной,
тоски не знать бы, мякишами дней
питая то, что будет впредь навеяно...

НАВЕЯННОЕ

Не время знаться
с напускной тоской,

гуляет в поле
безмятежный ветер,
и в звоне долговязых колосков
ещё не различить осенней меди.

Ещё разгаром лета от всего,
что видит глаз и мило сердцу,
веет:
от бьющих в берега речушки волн,
от бликов, золотого золотее,
от клумб и грядок, обступивших быт
и бесконечно кланчащих прополки,
от босоногой радости ходьбы,
от несуразных принтов на футболке,

и от того, как ищет ласки рук
ничейный кот и трётся о колено...

И быть не может, что за трупом труп
там – в зоне действий,
всё ещё военных...

НЕ НАРУШАЯ ПАУЗЫ

Опять молчу.

О золоте пшеницы,
что луч над полем – под прямым углом,
о том, что ты не перестал мне сниться,
что мысли не о том,
о том, о том...

молчу.

О мятной масте июля,
о щедрой скороспелости греха,
о том, что ясность намыывают струи
дождей по- кап-кап-кап-
по-ка...

молчу.

ТАТЬЯНА СКРУНДЗЬ

РЫБЫ НЕ ЗНАЮТ РЕВНОСТИ

Когда-то компьютеры и деревья были большими.
Я маму любила, и папа любил меня тоже...
Но время идёт, девятые мрачные спили
Судьбу мне, пытаясь впихнуть на прокрустово ложе
Уверенных планов на «светлое Б(э)», где последней
Войной обещали Вторую, канувшую в лету,
Где добрая вечность над злом торжествует победу,
Где мама и папа целуются над колыбелью.

Паутина разбитых стёкол.
Пью Любовь большими глотками.
Забытыми именами
разверзлась земля между нами.
Дай же мне сил
Излиться
в бумажную пыль страницы!
Духом Твоим родиться!
Разлететься клочками слов
и ветрами
по-миру, по-миру.
Все я знаю –
по лицу Голубь крыльями хлопал.

ВЛЮБЛЁННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Такой разговаривает музыкой и стихами.
Говорит во сне, но, обычно, молчит вне сна.
Время его – единственный месяц – май, и
Не его – лето, осень, зима, и остальная весна.
Если кошки поют во дворах, он вторит
Их немисливо ясной космической жажде в теле.
Если воют собаки, он тоже воет
О прощании, доме, верности и измене.

ЛЮБОВЬ

Выходила к тебе из парадной
с ребёнком на руках.
Посмотри – это
рожденная тобою любовь!
Отворачиваешься,
плюёшь под ноги:
«Могилу готовь.
Ей не жить;
больно несладна».

ГУТТАПЕРЧИВЫЙ МАЛЬЧИК

Минимум страха – максимум боли.
Из мазохизма плюю в эгоизм!
Полные вены отравлены кровью:
жизнь – эвфемизм.
Я – акробат, гуттаперчевый мальчик,
вдруг соскользнувший с песта.
Мне осьминожки рисуют овальчик
вместо лица.

РЫБЫ

где-то рядом с Евангелием.
милостыня. человечество.
земля моя обетованная.
пустыни лесов и рек.
не восхваляли б ангелов
в мерзости и бесчестии!
кто отдал страну нашу в этот
пластмассовый сумрачный век?

иконы скорбей непонятых.
печаль на обликах праведных.
хищные рыбы сонмами
мечут мамону икру.
я ли не ознакомлена?
танцую забавы ради их?!
а мне бы пойти и слёзы лить
за рабскую их игру.

вот. я сейчас в беспамятстве
пеплом посыплю голову.
а там, за орбитой таинства –
растворённый в миру кислород.
рыбам плевать на равенство.
страна продана, бестолковая.
но рыбы не знают ревности.
не для стихов им рот.

я, слабая, выхожу на улицу.
об лица хмурые стучаюсь.
у самой под глазами утрюмится
жилка рабы греха.
какому безумному Улиссу
в череп пришло – задумаюсь –
любить меж Сцилл и Харибд России
несчастные её потроха?

а на паперти духом нищие.
амфибии нелюдимые.
в воздухе грязном ищущие
питательный свой планктон.
вот бы упасть в корневище
страны и обнять родимую!
Бог, Ты не можешь позволить им
восстановить Парфенон!

гляди же, Бог! здесь заблудшие
по раю шляются пьяными.
рыбы не знают лучшего
в своей водяной тоске.
имеющий уши да слушает.
стихи говорить смутьянам, но
тот, кто мне сердце выдернул,
изжарит его в песке.

в глубине самого Евангелия
милостыня человечеству.
земля моя обетованная.
пустыни лесов и рек.
не восхваляли б ангелов
в мерзости и бесчестии!
кто отдал страну нашу в этот
пластмассовый сумрачный век?

рыбы не выживут в воздухе.
родина-океанариум.
но слышно в далёком отзвуке
Давидовую псалтырь.
больно царапаюсь острыми
российскими галунами я.
Но крепко зашит в моем нутре
плавательный пузырь.

Когда-нибудь меня положат в гроб,
Украсят речи небылью и былью.
Но речи смолкнут, прах развеет Бог.
И сделается прах обычной пылью.

Пройдут дожди, осыпятся снега
С размашистых кладбищенских растений.
Меня забудут. Вспомнят лишь тогда,
Когда отступят тени сожалений.
И так светло, как будто я – дитя,
Однажды упорхнувшее на волю
Из вечного трагизма бытия,
Где смерть переплелась с любовью.

ОСЕНЬ 13-го

Предвоенная осень правдива.
Серо-бордово-ультрамаринова.
Тишина перед бурей: кап, кап, кап.
Складываю стихи в шкап.
Складываю сердечную вязь в сундук.
Призраки юности в дверь мою: тук, тук, тук.
Кондук-
Тор вынимает топор:
«Платите, мадам! Саночки-то износили».
Музыка осени –
Requiem for a dream –
виолончелит по всей России.

АННА ГАЛАНИНА

ГРУНТОВКА ДЛЯ ТРОТУАРОВ

Слышишь? Дожди шелестят бумажно...
 Тучами небо небрежно скомкано.
 В каплях зонтов пузыри от граждан,
 еле видны человеков коконы.

Неразличимые в лужах тени,
 мелкой волной маета неясная...
 Может, и в глупой тоске осенней
 тоже есть правда, и смысл, и разное...

Дождь размывает огни и листья,
 и не найти для тревоги повода,
 разве что шорох... То ветер кистью
 осень рисует на фоне города.

Капли на стёкла кладутся ловко —
 штрих по пунктиру, прочнее прочного...
 Знаешь, а люди — всего грунтовка
 для тротуаров, домов и прочего.

Моё окно... Моя Москва
 соседским голосом шумит,
 что здесь давно Резиностан
 с нахальным запахом шаурмы.
 Что коренных — дворовый кот
 и дед-пропойца из восьмой,
 да брат ли, сват его — но тот,
 поди, не вспомнит, что он свой...

И я — чужая, не своя —
 из тех, что взяли на постой...
 Мой дед со взводом так стоял
 под осаждённой Москвой.
 Тогда не спрашивали, чей,
 и из каких пришёл болот,

но, может, город москвичей
благодаря ему живёт...

В моём окне – моя Москва.
Мы друг у друга за стеной,
хоть ей до лампы – хоть до ста –
и я, и кот мой, коренной.

ТАМ, ГДЕ...

Левее от фонарного столба
и справа от бочонка с рыжим квасом
свернуть туда, где не слышна толпа
и сытый дух московский, дух колбасный.
Вперёд, пока есть силы... Там, пыля,
девчупка жмёт размеренно педали...
А дальше – лес и поле... Нет, поля –
куда ни посмотреть: поля и дали.
И бабушкин, на пять окошек, дом.
А может быть, – всех бабушек на свете...
Там дед стучит усердно молотком –
как все деда, за каждый гвоздь в ответе.
Там всё взаправду, и наоборот,
и есть чулан, где прячутся потери...
Там домовая за печкою живёт.
Он, может быть, сейчас в меня не верит.

Отражением в окнах поезда,
проплыла проводница с чаем...
Шесть стаканов нести не боязно –
лишь по ходу бедром качает...
Время сонно рывками движется,
ускоряясь на полустанках,
и листает в окошке книжицы
у попутчиков – наизнанку.
Замедляется... Параллельные,
отражаясь, уснули люди –
завернулись в бельё постельное,
только пятки в проходе студят.
И качается отражением
то купе, то фонарь бродячий –
то ли поезд застыл в движении,
то ли время идёт иначе –
разомлевшее в сновидениях,
потерявшихся и вчерашних,
тянет песенку незатейливо:
– Если раньше бы, если б раньше...

ВЕЛИКОДЕРЖАВНОЕ

Сны пошли неброские. Великодержавные.
Хутора днепровские, велики все ржавые...

Надо же, приснится же... Но виднее дальше –
солнце крутит спицами, днями и педалями.
За оврагом – рощица, речка-водолазка. Там
на ветру полощется знамя цвета галстука.
Казак-разбойник, где лута некошены...
Там, где мы с тобой никем не бывали брошены.
Друг за друга стенкою, не в почёте жадины,
тормозить коленками и плевать на ссадины,
наше дело правое, и не бьют лежачего...

Время всё поправило и переименовало.
Были мы Чапаями – стали генералами,
наши битвы спаяны не своими ранами,
зреет поле минное, где прошли каникулы,
в грозы соловьиные чьи-то дети – криками...

Что ж во сне хоронится, словно виноватая,
наша вело-конница – войско конопатое...

Мы с тобой, брат, одной околицы
деревенские дурачки.
Наши матери Богу молятся,
для надёжности сняв очки.
Бьют поклоны... Грехи не тяжкие –
Бог заметит ли в суете...
Под иконой букет ромашковый,
словно с чайника на плите.
Все надежды на Богородицу,
с ней привычнее и родней –
баба тоже, поди... Как водится,
все печали за сыновей...
Мы ж с тобой, брат, одной околицы
деревенские дурачки –
городским сумасшедшим молимся
и втираем себе очки,
что сермяжные, да исконные.
А недобрые? Город лют.
Наши матери под иконами
нас отмолят. И отпоют.

Как будто больше нет никого –
тебя, меня... Только снег и дворник.
Скребёт с утра, обметая корни,
двора заснеженного ковёр...

Он завораживает... Ну вот –
твои следы отряхнул с дороги
и поклонился сугробу в ноги –
там Бог зимы до весны живёт
и охраняя под снегом двор,
следит, как дворник скребёт лопатой,
как будто каторжник, виноватый,
что не обжаловал приговор...
А мы воришки – украли свет
и теплоту у холодной ночи,
и ждём спасения... Тихо очень,
и дворник наш замечает след.

У тебя для меня лишь обиды в горсти.
У меня для тебя – кружевами обман.
Если можешь – забудь, если хочешь – прости.
Я запутаю всё остальное сама.
Сто ненужных дорог, маяков тупики...
От меня до тебя – запутаю в ночи.
Если хочешь – постой, если можешь – беги.
Слышишь? Поезда последний по рельсам стучит.
На развилке путей – сотня главных дорог,
сонный стрелочник знает, который – мой путь.
Уходить навсегда – бесконечно старо.
Я уйду просто так. Как всегда. Как-нибудь.

Весь шар земной обойду едва ли я,
зато в одном я почти уверена –
что после смерти рвану в Италию
и непременно потом – в Америку.
Теперь понятна судьбы ирония,
но задохнётся она в бессилии,
когда заметит мой след в Японии,
и дивный призрак – в лесах Бразилии.
Явилось глобуса откровение –
по мне удача, конечно, плакала,
и вальс прощальный танцуя в Вене, я
уйду под звон колокольный в Кракове.
Но как бы ни был весь мир прекраснее, –
чтоб жизнь запомнилась послевкусием,
я загляну перед вечным странствием
в глаза болотные Белоруссии.

Безветренно на краешке земли,
пустынно... Ограждение по краю
с табличкой – чтобы души не могли
свалиться, в безвоздушие улета.



На подступах почти как на войне –
чеканный шаг и сгорбленные плечи,
венки плывут рядами по волне,
и кто-то: «Жди меня», – кому-то шепчет...
Любовь идёт нейтральной полосой,
и сонная дорожка потайная,
но жизнь и смерть одной на всех косою
идущих к ним по край земли равняют.
А Бог сидит устало на мели,
качая чью-то душу на ладони:
– Порезалась о краешек земли?
И гладит осторожно, где болит,
и смотрит, как земля у неба тонет.

ЮЛИЯ БЕЗУГЛОВА

НАД ОСТРОВОМ МОИМ

ПУАНТЕЛЬ

I

Я зеркало. Бездумно заглянул
В него, безумец... Не моя вина,
Что хрупкий лёд висков ломает гул
Заклятий, отразившихся от дна
Залитой амальгамой пустоты,
Пронизанной фантомами. За ней
Не в силах разглядеть реальность ты
В сплетении мятущихся теней...

II

Внутри:
Певец, палач, бродяга, паладин.
Смотри,
Как много ликов, ты же суть един.
Из всех
Мог выбрать и предстать любым.
Твой грех
Лишь в том, что всё равно любим.
А мир
Трещит сверчком безумным: страсть – закон.
Потир
Отброшен, тускл лак икон.
Снопы
Лучей – в сугробные стога.
Стопы
Нечётот оттиск, вниз скользит нога.
Взгляни:
Тьмой налиты по край зрачки.
Тяни –
Добыча плотно села на крючки.
Шалишь!
Из отражений яви не соткать.
В них лишь
Избытой нави благодать...

III

Блики света. Сгустки темноты.
Мельтешащих пятен пуантель.
Плоскости ли, линии, черты
Нет в помине. Вспенена, как сель,
Падающий с крытых снегом гор,
Истина, стирающая грань:
Множества миров один узор.
Мнима лишь различий филигрань.

ПРИЗРАЧНЫЙ ВСАДНИК

I

Как пахнет перцем, ванилью, солью
Декабрьский вечер, бесснежный, злой.
Кто головную страдает болью,
Я ж просто мучаюсь головой.
Полдня пробилась, да глупой нерпой,
О лёд размера чужой строки –
Изящный текст, словно зев отверстый,
Глотает мысли, как поплавки.
И в нём дорога, ветра и воля,
Чужая, дикая красота.
Свернулась в кресле, – не до того мне –
Чтоб эту роскошь испить с листа...

II

Мне не нужна дорога. Я туман,
Которым тьма от глаз скрывает берег.
Уверен лишь: могуществен аркан.
Холодный, чуткий голод мной владеет.
Свирепо гонит через спящий мир
На поиски добычи и забвения.
Безумие – единый ориентир.
В бессрочной скачке смазаны мгновения.
Кто скажет, что ушедшее мертво,
Солжет вам в ослеплении гордыни.
Я первобытной ночи существо,
Не знавшее покоя. И доньше
Копыта попирают облака,
Несутся псы, давясь утробным воем,
Едва лишь тьма укроет дол, пока
По норам не попряталось живое.
Ещё немного, и твоё тепло
На миг вольется хмелем в наши жилы.
Чающейся лампы хрупкое стекло
Не охранит от тьмы. Покуда живы,
Вы жметесь к разведённым очагам,
Убогие в слепом животном страхе.
Ветрами хлещут по моим ногам
Века. И длится вечно миг на плахе...

Мне не нужна дорога. Я туман,
Натёкший утром в спящую лощину.
Истаял звёзд нестройный караван,
И холм спросонья выгибает спину.
Пичуги глупой безыскусен свист.
Вода хранит ушедшей ночи холод.
И запах леса сочен и смолист.
Но и во сне по следу гонит голод...

*«Прощай...» Прощаю, чтоб не вышло боком.
Сосуд добра до дна не исчерпать.
Я чувствую себя последним богом,
единственным умеющим прощать.*
Булат Окуджава

Остановись! Вода моя черна,
Как неба глубина над звездопадом.
На то и бездна, чтоб понятие дня
Изъять из оборота. Веришь? Ладно...
Равнин траву неброскую не вмять,
Ломая, в почву панцирной пехоте.
Пускай чужих богов несметна рать,
Мой зелен мир. Взгляни под ноги – вот он.
Я листьев совершенство, крап теней,
Стрекоз сухой, на грани слуха шелест.
Нагнись. Из родника воды испей,
Вбери в себя холодной влаги прелесть.
Медов покой цветочного ковра,
В него беззвучно канут войн эпохи.
Уходит кровь, питая корни трав,
Под землю, где текут Вселенной соки.
Исходных сил неспешная река
Всё принимает равно благодарно.
К поверхности с упорством поплавка
Стремится, безалаберный и тварный,
Тот мир, который вечная война
Не может взять ни штурмом, ни осадой,
Изменчивый, текущий... А цена?
Чрезмерна. Только меньшего не надо.

НЕ ДО ЛЮБВИ...

*A fool there was and he made his prayer
(Even as you and I)...*
Rudyard Kipling

Смазал созвездия дикий шторм,
Вечность остановив.
Бесится буря наперекор
Миру. Не до любви.



Веки сухи – уж не выбьет слёз
Ветра кинжальный шквал.
Всё, что внутри так любовно нёс,
Разом, да расплескал.
Хлещет дождя ледяная плеть.
Рухнувшей мачты треск,
Рев океана... И мне б запеть –
Что я теряю, бес?
Молния рабское жжёт тавро
Тщетно по спинам волн.
Если богам не платить оброк,
Значит, Армагеддон.
Плюнь на ладони – не моет соль
Дождь со сведённых рук.
Разве ж я буду просить? Уволь!
Мокрые пальцы лук
Скользкий удержат, и тетива
Смертную песнь споёт.
В небо сорвётся стрела, прервав
В туше грозы полёт...

Звезды, что вымостят неба скол,
Лгут, как глаза твои.
Полон покоя ночной атолл...
Тихо. Не до любви.

Над островом моим зависший шторм
Из тёмной глины туч небрежно лепит
Не големов, создателю в укор,
А хищных птиц. Великолепный кречет
Парит в коловращении стихий,
Безжалостный, как лезвие катаны.
И глаза нетускнеющий цехин
Следит с небес, как накрывает страны,
Что к берегу прижались, тень волны,
Нависшей и уже пожравшей звёзды.
Ещё страшней предчувствие войны,
Когда вокруг кипит и стонет воздух...

СВЕТЛАНА СОЛДАТОВА

ЗАКАТНЫЙ АНГЕЛ

рассказ

I saw an angel...
(James Blunt, "You're Beautiful")

Над железными крестами и замшелыми камнями шёл ангел. Он шагал широко, уверенно, и его бело-снежные одежды тускло светились в закатных сумерках. Белые крылья сдержанно сияли за его спиной, с них слетали перья, кружась, опускались на могилы и медленно таяли в холодном осеннем воздухе.

Катерина тихо охнула и прижалась, приникла всем телом, зашептала тихо:

– Гляди, Алёшенька, закатный идёт... красивый-то какой, господи боже, сколько смотрю, всё удивляюсь.

– А он настоящий, Кать? – спросил Лёха и тут же устыдился своей глупости. Это было всё равно, что сидеть в училище за партой и ляпнуть училке: «Марьянна, дважды два будет четыре или восемь?».

– Вестимо, настоящий, – девушка зябко пожала плечами. Парень молча накинул ей на плечи свою куртку. К ночи холодало всё сильнее, и у него самого уже зуб на зуб не попадал. – Ты не бойся. Он ни за кем, он просто так. Сейчас пройдёт, и тебе лучше будет.

Ангел расправил крылья, с которых снова полетела россыпь лёгких перьев, поднялся в воздух, будто бы обводя взглядом свои владения, спящие вечным сном, опустился на постамент, обнял обнажёнными руками медную урну и замер, медленно покрывшись серой каменной пылью. Катерина прерывисто вздохнула:

– Страсть как люблю смотреть, когда закатный ходит. Глянешь на него, и думается, будто вся жизнь ещё впереди. Будто и сердце колотиться начинает. И тепло так... когда тебя ещё не знала, всё равно тепло становилось. Может, он тут для того и есть, Алёш? Чтоб нам, мертвякам, хоть чуточку легче было?

– Не знаю, Кать, я ж не понимаю в этих чудесах ничего, – Лёха придвинулся поближе, неловко обнял девушку, прижал к себе. – Бабка в детстве всякое рассказывала, ангелы там, бесы, боженька с неба смортит... сейчас в это всерьёз разве что старухи и верят. Остальные так...

– Чудно, – Катерина положила голову ему на плечо, загляделась на фиолетовое городское небо. – Понастроили каменных домов аж до облаков, бога забыли, а чуть что – крестятся. Я тут видала таких, Алёшенька, которые сюда ночью забрались, я к ним вышла, говорю, уходите, люди добрые, не место вам здесь...

– Они тебя не обидели? – перебил он, с тревогой заглядывая ей в глаза. Умом парень понимал, конечно, что если кто тут кого и обидел, то разве что сама Катерина – этих дурачков, решивших проверить собственную смелость, но всё равно забеспокоился.

– Что ты! – засмеялась она, запрокидывая голову. – Какое *обидели*! Они сначала, ну, хохотать, а потом как пригляделись, так и наутёк кинулись. Напугала я их, а не хотела же.

Она вздохнула, погрузилась и закуталась в куртку так, будто бы ей и вправду было холодно.

– Они просто... дураки, Кать, – потерянно сказал Лёха. – Чего тебя бояться?

– Правда? – Катерина подняла на него тёмные глаза, уже было налившиеся слезами.

– А то! – воодушевлённо соврал он. – Я же не боюсь.

В общем-то, Лёха и вправду не боялся. Ну, почти. Когда он вспоминал о сером надгробии с полустёршейся надписью, на котором было не разобрать толком ни имени, ни даты, по спине пробегал мерзкий холодок. Но потом он думал о Катерине, и страх уходил, будто бы и не было его. Он перелистывал фотографии в телефоне, тёмные, смазанные – если она была настоящим призраком, разве её было бы

на них видно? Он даже показал пару фоток матери, как будто хотел удостовериться, не сходит ли с ума.

– Хорошая девушка, – задумчиво сказала мать, поднося телефон поближе к глазам, чтоб рассмотреть потенциальную невестку получше. – Только платье какое-то странное... А вокруг что такое, кладбище? Она... эта... сатанистка у тебя, что ли?

– Ну что ты, мам, – Лёха помотал головой и улыбнулся так уверенно, как только мог. – Это историческая реконструкция. Кружок у них в институте... платья такие шьют, на балах танцуют... И вот, фотосеты делают. А кладбище старое-старое и, как Катя говорит, антуражное очень. Там и кино снимают, и фотографируются вот так.

Не то чтобы он соврал – встретившись с Катериной в первый раз, он и принял её за одну из девчонок, приезжавших на кладбище фотографироваться в старинных платьях. Такие не удивляли ни охранников, ни даже бабулек, крутившихся у соседнего монастыря. Сатанистов и прочих готов Лёха почему-то никогда не встречал, хотя, казалось бы, старое кладбище, на котором сохранились могилы аж с семнадцатого века, было самым подходящим местом для них. Но они, как рассказывали сторожа с новой части кладбища, предпочитали могилы посвежее. Вот оттуда их просто замучились гонять.

– Интересно, – мать покачала головой. – Ты привози свою Катю как-нибудь в гости, познакомимся.

– Я постараюсь, – пообещал он. – Не знаю только, когда. У неё в институте нагрузка очень большая...

Лёха всё чаще стал задерживаться на кладбище после дневной смены и приезжать раньше ночной. Он приносил цветы к надгробию Катерины, стоял у него, глядя на полустёршиеся буквы, которые постепенно складывались в слова. «Под сим камнем погребено тело купчихи Екатерины Дмитриевны Ильиной, скончавшейся 1875 года марта на 3 день, жития ей было 25 лет 2 месяца 10 дней. Памятник сей воздвигнут безутешным супругом...». Дальше надпись покрывал сухой зелёный мох. Местная кладбищенская кошка подходила к Лёхе, тёрлась об ноги, мурлыкала, и он чесал её за ухом. Она не боялась и Катерины, выходила к ним ночью и так же выпрашивала, чтоб её погладдили. «Значит, не такой уж и призрак, – рассуждал сам с собой Лёха, – иначе б кошка испархалась от неё, они ж не любят нечисть всякую... наверное...».

Потом он шёл к ангелу. Тот стоял на постаменте и спокойно смотрел на Лёху пустыми каменными глазами – и не верилось, что эта статуя способна сходить с места и обходить кладбище, рассыпая перья.

– Отпусти её, а? – как-то раз сказал ангелу Лёха, задрав голову и стараясь смотреть ему прямо в глаза. – Я жениться на ней хочу. Она всего-ничего на свете жила... Ты же ангел. Ты же добрый. Ну чего тебе стоит?

Ангел молчал. Лёха махнул рукой и пошёл прочь, не оглядываясь. Белое перо соскользнуло с постамента, закружилось в воздухе и легко опустилось на сухую осеннюю траву.

А на следующую ночь Катерина не появилась.

Лёха обошёл всё кладбище, постоял у её могилы, зачем-то постучал по надгробию – так делала бабка, когда приходила к дедову памятнику... Но никто не отзывался. За монастырской стеной шумел город, солнце не спеша скрывалось за многоэтажками, а на старом кладбище висела прозрачная звонкая тишина.

– Кат! – позвал Лёха, но ему не отзывалось даже эхо. Кошка вышла из-за памятника какого-то почётного гражданина и принялась невозмутимо точить когти о выступающий из земли корень.

Он вернулся в сторожку, не дожидаясь, когда закатный ангел спустится и запагает над могилами. Напарник Саня, по выражению лёхиного лица догадавшийся, что проблема требует немедленного решения, вытащил из тайника бутылку водки.

– Работа у нас вредная, это да, – многозначительно сказал он и подвинул к Лёхе гранёный стакан. – Пей, полегчает.

И Лёха пил.

– Ттттам ангел... чёртов этот ангел... – жаловался он, и Саня понимающе кивал. – Хходит, ххходит. А я пговорю, жениться хочу... А он молчит, сволочь, и глядит...

– Жениться это дело хорошее, – кивал напарник. – Ты пей. Глядишь, ангелы перестанут чудиться. Будешь чертей ловить, а они всяко приятнее ангелов местных...

Хорошо, что наутро на кладбище не занесло никого из начальства. Лёха проспал в сторожке до середины дня, а потом кое-как добрался до дома. Там он мешком упал на кровать и снова провалился в тяжелый мутный сон, в котором он слышал, как Катерина зовёт его жалобным голосом, а потом появляется ангел, и сияние его крыльев становится таким ярким, что глаза слепнут, и с неба обрушивается бесконечная темнота.

Прошла осень, и настала зима, укрыла белым пологом могилы, нацепила на кресты пушистые белые шапки. Лёха расчищал на кладбище дорожки, сметал снег с ангельского постамента. Могила Катерины была будто накрыта мягким одеялом, и он не решался тревожить этот холодный покой.

– Ты совсем ушла, Кать? – спрашивал он, глядя на белоснежный холмик. – Сказала бы хоть... Я с мамкой тебя хотел познакомить, Кать, я же... серьёзно все. Ты не думай ничего такого... Ты б ей понравилась, она хорошая у меня.

Но вокруг по-прежнему звенела тишина. Кошка зимой жила при монастырской кухне и брезговала выходить на улицу, напарник сидел в сторожке, а гостей на кладбище в холода было немного. Ангел зябко ёжился и недовольно шевелил крыльями. Лёха поморгал – и тот снова застыл каменной статуей. Стало совсем холодно и неудобно, и парень предпочёл уйти в тепло сторожки. Там он открыл учебник и уткнулся в него, почти не понимая текста. За окном снова пошёл снег, и белая пелена укрыла от человеческих глаз вечный покой старого кладбища.

Лёха всё думал уловиться к чертям, но откладывал и откладывал – в конце концов, работа была непильная, неплохо сочеталась с учебной, и... он всё-таки надеялся, что по весне Катерина вернётся.

Время текло медленно и спокойно, зиму сменила весна, вслед весне пришло лето, и на могиле Катерины расцвёл яркий цветок. Лёха никогда не видел таких раньше – у него были широкие зелёные листья и красный с золотом бутон, чем-то похожий на мальву из бабкиного палисадника. Пока он стоял и разглядывал эту невидаль, кошка вспрыгнула на холмик, покрутилась, принялась, коротко мяукнула и выразительно посмотрела на Лёху.

– Ты чего? – спросил он. – Ты это... Не вздумай жрать растение!

В какой-то момент ему показалось, что кошка сейчас покрутит лапой у виска. Но она только чихнула и отвернулась.

Утром Лёха осторожно выкопал цветок с корнями и унёс с собой. Вёз в метро, боясь, что его сомнут или сломают, притащил домой и только тогда задумался – а что теперь с ним делать? У него даже кактуса никогда не было. Он оставил цветок на столе и потащился в магазин, потом долго возился с купленной землёй, то и дело сверяясь с инструкцией в интернете, и вот наконец гордо водрузил горшок с цветком на подоконник.

– Теперь не забывать бы тебя поливать, – сказал он вслух, и цветок согласно качнул лепестками.

Наутро Лёха обнаружил на кухонном столе чашку ещё дымящегося кофе и кривой бутерброд с колбасой на плохо отмытой тарелке. Плита была залита кофейной гущей, из крана подкапывала вода. Цветок стоял на подоконнике, странно свернув лепестки.

– Какого чёрта... – начал было Лёха, но почему-то осёкся. Он сел за стол, глотнул кофе – тот был горько-сладким, и пить его, прямо скажем, было невозможно. Но он мужественно выпил его до дна, стараясь не кривиться, и съел бутерброд. Потом вычистил плиту, перемыл остатки посуды и посмотрел на цветок – тот смущённо качал лепестками.

– Ну... нормально всё, – сказал он, чувствуя себя сумасшедшим. – Не так уж плохо. Только с водой и плитой осторожнее. Пошел я... учиться. Не скучай тут.

Вернувшись под вечер, Лёха успел увидеть, как мелькает в проёме кухонной двери подол длинного тёмного платья. Когда он вошёл на кухню, цветок качался из стороны в сторону. И на сей раз плита была гораздо чище, а кофе – вкуснее, хоть и ненамного.

– А теперь всё как в сказке будет, да? – спросил он у цветка. – Ну там... в церковь нельзя, ещё чего-то нельзя... Тогда ты насовсем останешься. Так, ага?

Цветок неопределённо пошевелил лепестками. Мол, я даже и не знаю.

– Ну тебя, – сказал Лёха. – Шутки ваши женские... И ангел твой шутник. Встречу – перья повыдергиваю. А кофе этот больше не вари. Он, это, растворимый. Бурда. Я хорошего куплю завтра. Для турки или как его. И сливок.

НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У НАВКИ

рассказ

*Ты, пастух, играй в трубу,
Ты найди свою судьбу.
В сизых травах у ручья
Я лежу – и я ничья.*

А.Н. Толстой, «Мавка»

– Тётъ Лен, а мы сегодня ужинать будем? – снова заканючил мальчик, дергая «тётълену» за рукав красного кашемирового пальто, и, выразительно шмыгнув носом, добавил: – Жрать хочется...

– Андрей, не «жрать», а «кушать», – поправила молодая женщина, поймав его холодную ладошку и крепко сжав её. – Ведёшь себя, как беспризорник, откуда только таких слов нахватался?

– Кушать очень хочется, – насупившись, повторил Андрейка. – А, тётъ Лен? Скоро будем?

– Так-то лучше, – улыбнулась она. – Скоро, скоро. Ещё немного погуляем, и будем.

Женщина и мальчик медленно шли по пустынной ночной улице. В этом переулке, хотя он и находился в двух шагах от главной улицы города, не горели фонари, а окна первых этажей домов были забиты фанерой и досками. Что поделать, старый фонд ветшал прямо на глазах, а реставрировать здания, помнящие ещё Великую Октябрьскую революцию, никто не собирался. Лена тихо вздохнула, взглянув на очередной полуразвалившийся памятник архитектуры, который, как гласила табличка, охранялся государством. Видимо, вся охрана заключалась в том, чтоб не присылать бульдозеры прямо сейчас, а подождать, пока памятник сам развалится, и уже тогда возвести на его месте уродливую бетонную коробку.

– Посмотри, Андрюш, – она показала мальчику на облезлый фасад, украшенный затейливой лепниной. – Это дом купца Бирюкова. Построен в конце девятнадцатого века.

– Это давно? – тут же спросил мальчик, снова шмыгнув носом. – И чё, не развалился ещё?

– Не «чё», а «что», Андрей, – Лена укоризненно покачала головой. – Если продолжишь коверкать язык, я перестану брать тебя на прогулки. И будешь всегда есть ужин холодным. Понимаешь?

– Ну я больше не буду, тётъ Лен, – Андрей показательно зашаркал сандалиями, наклонив голову и всем своим видом изображая раскаяние. – А чё... что за купец был? Что он делал?

– Покупал подешевле, а продавал подороже, – пожала плечами Лена. – Но знаешь что? Есть легенда, что купец прятал все свои богатства в доме, но никто за всё это время так и не смог их найти. Говорят, что он спутался с нечистой силой, которая с тех пор и стережёт его клады.

– Тётъ Лен, а мы можем найти этот клад? – глаза мальчика распахнулись на пол-лица, и он крепко-крепко вцепился в руку Лены. – Давай залезем, поищем, а?

– Нехорошо залезать в чужой дом, Андрюш, – она нахмурилась. – Там хозяева есть, им это не понравится.

– Они, наверное, всё нашли уже, – расстроено протянул он, пиная попавшуюся под ноги смятую пивную банку. – Обидно. И жра... кушать хочется. Уже сколько тут ходим...

– Андрей, кто из нас мужчина и защитник Отечества? – Лена выразительно цокнула каблуком. – Разве мужчины так ноют?

– Ну я мужчина, – еле слышно пробурчал Андрейка, – ну не ноют...

– Вот и молодец, таким и будь всегда, – она потрепала мальчишку по светлым волосам, которые топорщились мокрым ёжиком, аккуратно, двумя пальцами, вытащила запутавшуюся в них веточку зелёной водоросли, донесла её до ближайшей урны и так же аккуратно выбросила. Лена терпеть не могла людей, которые швыряют мусор прямо на асфальт.

Они вышли на центральную улицу и так же неспешно пошли мимо витрин, сверкающих разноцветными огнями, мимо дверей, из-за которых доносилась бессмысленная музыка, мимо расфуфыренных девиц и их шкафообразных кавалеров, вывалившихся из жары и духоты подышать свежим воздухом.

«Покурить, то есть, – фыркнула про себя Лена. – Вот же гадость...».

Сама она не курила никогда, и даже мужа в своё время от этого успешно отучила. Ученики, тайком курящие за школой, больше всего боялись попасться именно русичке, а не завучу или директору. Лена знала, что за это дети её недолюбливают, но не волновалась на эту тему – в любом случае она делала всё только для их блага. Вырастут здоровыми – спасибо скажут.

Она не знала, сказали или нет. Она, в общем-то, мало что знала – но надеялась, что к фотографии в чёрной рамке, висящей в школьном холле, дети приносили гвоздики, алые, как её любимый шарф. Наверное, к памятнику, который поставили над телом, опознанным как Золотова Елена Владимировна 1947 года рождения, тоже несли цветы, но этим она уже не интересовалась.

Лена просто очень торопилась домой в тот злополучный осенний вечер. Муж позвонил со службы и сказал, что задержится на совещании, и она, отпустив учеников с продлёнки пораньше, побежала забирать маленького Павлика из детского сада. Времени оставалось немного, и, поколебавшись, она решила срезать дорогу через старый парк. На улице ещё было совсем светло, и при быстрой ходьбе можно было пройти по полузаросшей тропинке минут за десять.

Задумавшись, она не сразу услышала чужие шаги за спиной и даже не успела обернуться. И закричать не успела тоже.

Лена потрясла головой, пытаясь отогнать неприятные воспоминания, но они упорно возвращались к ней.

Очнувшись той холодной сентябрьской ночью, она сидела на дне глубокого оврага, ощупывала онемевшими пальцами перерезанное горло, удивляясь, отчего не течёт кровь, и заматывала шею своим любимым шарфиком, жалея, что нечем зашить безобразную дыру на нём. Ей хотелось плакать, но слёз не было, а из раскромсанного горла вырывались только скрежещущие хрипы. Она ощупывала своё отяжелевшее, неповоротливое тело и, проведя ладонью по спине, почти не удивилась, когда её пальцы погрузились во что-то склизкое и мягкое.

– Нав-ка, – выдавила она, и в её горле заклокотал мерзкий ржавый смех. – Нав-ка...

На первом курсе студентов филфака отправляли на фольклорно-этнографическую практику по селам области, и Лена записывала со слов деревенских бабулек байки о «нявках бесспинных». Впрочем, будучи абсолютным атеистом и материалистом, тогда она рассматривала это исключительно с точки зрения пользы для будущей диссертации.

Навка просидела на куче опавшей листвы до утра, а с рассветом тяжело поднялась и побрела куда глаза глядят. Парк постепенно переходил в небольшой лес над речным обрывом, и она нашла себе убежище между узловатыми корнями старого дуба. Днём она спала, зарывшись поглубже в сухие листья, к вечеру просыпалась и шла бродить по округе, не рискуя заходить туда, где ей могли встретиться гуляющие по парку люди. Тело постепенно становилось более послушным, а лицо, насколько она могла судить по отражению в речной воде, стало даже намного красивее, чем было при жизни.

Навка часто спускалась к реке, долго сидела там, глядя, как ходят ходуном тёмные осенние волны, как на другом берегу ездят по шоссе машины, как последние лучи заходящего солнца дробятся в оконных стеклах многоквартирных домов. Она опускала белые ступни в ледяную воду и, хрипловато смеясь, перебирала пальцами.

Когда с неба полетел лёгкий белый снег, навка свернулась между корнями дуба, укрылась одеялом из сухой листвы и крепко-крепко уснула, не видя снов.

Её разбудил голод. Хотелось есть. Хотелось горячего, жирного, сладкого. Она с трудом разлепила глаза, скуля от пустой голодной боли, от которой тело скручивало тугим узлом, заскребла пальцами по мёртвым листьям. Навка раскидала, разбросала своё зимнее лежбище, выбралась наружу и сощурилась, вертя взлохмаченной головой, разглядывая чёрные голые деревья и сероватый талый снег.

Свою первую еду навка даже толком не запомнила. Увидела, заманила, бросилась, а потом, сидя на красно-сером снегу, жадно жрала. Набив живот до отказа, она повалилась навзничь и долго лежала рядом с остывающими останками еды, бездумно глядя в темнеющее небо. Ей было тепло, даже жарко, она чувствовала, как наливаются силой руки и ноги, как она становится ярче, звонче, горячее. Это было хорошо.

Навка оставила место пиршества только под утро, снова ушла к реке и села там у самой кромки берега, где лёд уже подтаял, обнажив чёрную стылую воду. Она смыла кровь с лица и рук, поплескала немного на свои полуистлевшие лохмотья и подумала, что в следующий раз надо будет снять с еды какую-никакую одежду. Её плащик, кофта и юбка уже никуда не годились, а туфли она потеряла ещё осенью, в том овраге. Навка помнила, что ходить без одежды – плохо. Неправильно. Неприлично.

Потом она вспомнила и всё остальное. Мужчину, который когда-то был ей мужем. Ребёнка, который был ей сыном. Других детей, которых было много, – это называлось «школа». Свое имя – Е-ле-на. Ле-на. Запах безумия, которым несло от человека, перерезавшего ей горло. Она собирала память по кусочкам и тихонько выла от этих воспоминаний, свернувшись меж надежных дубовых корней.



Как-то вечером навка пробралась почти вплотную к людским домам и, забившись в колючие кусты, наблюдала, как высокий мужчина с седыми висками играет в мяч с русым мальчиком лет пяти. Они смеялись, перекидывая мяч друг другу, и она смотрела на них во все глаза, забыв о вечно мучающем её голоде. Ребёнок тоже изредка косился на кусты, а потом подбежал к отцу и что-то зашептал, тыча ладошкой в её сторону. Она замерла, не шевелясь. Мужчина нахмурился, поднял мяч, взял расплакавшегося мальчика за руку и повёл прочь. И в отчаянном плаче навке слышалось: «Мама! Мама! Там мама!». Она взвыла раненым зверем и бросилась прочь, через парк, в лес, к обрыву.

Долгое время она не подходила к людскому жилью так близко. На зиму засыпала в своём убежище, под листьями и снегом, по весне вылезала, находила еду и пряталась снова. Летними ночами она плескалась в реке, ныряла, смеялась в лицо жёлтому месяцу. Приходили новые зимы и новые вёсны, расцветали цветы, опадали листья, река покрывалась панцирем льда. Что происходило у людей, навка не знала и не хотела знать. Ей было достаточно того, что еда изредка забредала за границы её владений. Много ли ей было нужно?

Навке ни разу не приходило в голову поискать таких же, как она. Ей хватало реки, леса, глухих уток и лупоглазого месяца. Иногда по ночам до неё долетал серебряный смех и всплески с верховьев реки, она видела блуждающие огоньки, пляшущие на другом берегу, где буйно цвели жёлтые кувшинки. Она слушала и смотрела, но ни разу не переплывала реку, не поднималась вверх по течению, чтоб взглянуть на своих теперешних сестёр и братьев. И не видела вблизи никого из них, пока однажды ночью к её убежищу не вышел, неуклюже переваливаясь на слабых ножках, маленький мальчик в мокрой белой рубашке, сжимающий в ладошке крохотный зеленоватый огонёк.

— Ты кто? Ты потерялся? — спросила навка. Ребёнок молча подошёл к ней, пристально, не по-детски глянул запавшими бесцветными глазами, улыбнулся, показав острые мелкие зубы, сел рядом с ней на узловатый корень дуба, нагретый лунными лучами, и протянул огонёк на раскрытой ладони. Навка взяла его в руку, и тот заплясал между её пальцами, чуть обжигая и выстреливая мелкими искорками.

— Красивая у тебя... — она замялась, подбирая слово, — красивая штука. Мне нравится. Как тебя зовут?

Мальчик не ответил, просто подвинулся поближе к навке и ткнулся мокрой головой в её локоть. Огонёк вернулся к хозяину и устроился на плече, посверкивая в лунном свете. По ту сторону реки плясали такие же огоньки. Навка и мальчик смотрели на них и молчали.

Она не стала его прогонять, и днём он теперь спал с ней рядом, сворачиваясь клубком и крепко зажимая в кулаке огонёк, а в сумерках выходил бродить по округе. Разговаривать ребенок не умел, зато мог плавать и нырять, ловко ловить за шеи зазевавшихся уток и сворачивать им головы, а потом поедать тушки вместе с костями. Когда навка в первый раз увидела, что он делает, она спрыгнула с обрыва в воду, добралась до ребёнка, брезгливо отгоняя от себя плывущие по воде окровавленные перья, и отобрала у него недоеденную утку.

— Нельзя так делать, — строго сказала она, прямо глядя в глаза мальчишки, уже готовые налиться злыми детскими слезами. — Нельзя. И клацать так зубами тоже нельзя. Понимаешь?

Безымянный мальчик не понимал. Он обиженно ткнул пальцем на ту сторону реки, и навка всё поняла. Это означало: «Они-то так делают!». «Все дети, как ни крути, одинаковы, даже мёртвые», — подумала она.

— Мне всё равно, что там делают другие дети, — она отпустила несчастную утку по течению и взяла ребёнка за руку, стараясь говорить с ним мягко, но непреклонно. — Если все будут прыгать с крыши, ты тоже прыгнешь?

Хотя вряд ли её маленький мёртвый мальчик знал, что такое крыша и как с неё прыгают.

Уложив всё ещё обиженную детку спать, навка уселась на краю обрыва, чтоб посмотреть на летний рассвет, который уже окрашивал алым небо над тёмными коробками многоэтажек, мельком глянула на свои голые белые колени и вдруг с ужасом подумала о том, что позволяет себе при маленьком ребёнке ходить полуголой. Стало противно и стыдно. Да и ребёнка не помешало бы одеть получше. Она припомнила, что, кажется, люди развешивают выстиранные вещи сушиться во дворах и можно следующей ночью позаимствовать кое-что. Наверное, это лучше, чем выбирать еду с подходящей фигурой, хотя...

Но найти хотя бы какое-то бельё на верёвках оказалось делом непростым. Навка впервые за долгое время выбралась в город и теперь не узнавала места, знакомые ей по прежней жизни. В серых бетонных дворах почти не было зелени, цветные детские площадки торчали посреди голых асфальтовых пятчиков, на месте бывших газонов кучковались блестящие машины. Несколько старых пятиэтажек жались между новыми высотными домами, и, окружив около них, навка нашла то, что искала. Она воровато сдёрнула с верёвки какие-то детские вещи и линялое женское платье в дурацких аляповатых маках. Пусть. На первое время сойдёт.

– Ле-на. Скажи Ле-на, – говорила навка мальчику, натягивая на его мокрые ноги цветные шорты. – Ну, скажи. Ле-на. Я Ле-на, а ты... а ты...

Она покрутила в руках белую маечку с каким-то жёлтым зверьком на животе и увидела внутри добротную пришитую бирку. На ней шариковой ручкой было аккуратно выведено «Андрей».

– Андрей, – задумчиво проговорила она, – Андрей... Вот и хорошо. Я Ле-на, а ты Анд-рей. Ну-ка, повтори?..

– ...тёть Лен, тёть Лен, – Андрейка снова настойчиво подёргал Лену за рукав пальто. – Смотри, вон идёт...

Она подняла глаза. К ним приближался, чуть пошатываясь, молодой мужчина, улыбающийся настолько радостно и бессмысленно, что Лена машинально принялась – она не любила пьяных, потом от такой еды во рту оставался неприятный привкус, а уж ребёнку и подавно такое было бы вредно. Но этот человек был всего лишь слегка нетрезв, как раз до такой степени, при которой уже можно спокойно знакомиться на улице с привлекательными одинокими женщинами и полагать, что они не откажут.

– Девушка, и не страшно вам тут одной с ребёночком гулять? – поинтересовался он, поравнявшись с Леной и Андрейкой. – Может, проводить вас? Времена сейчас опасные, без сильного мужчины никак...

– Да, спасибо! – улыбнулась Лена, и Андрей энергично закивал головой. – Так получилось... пришлось идти одним, и так страшно... Тут недалеко, мы будем очень благодарны.

– Вот и отлично, – мужчина галантно подхватил её под локоть. Лена чуть поморщилась, но не подала виду. – Меня зовут Данила, а вас?

– Лена, – она поправила шарфик у горла и вежливо улыбнулась. – Очень приятно.

– И мне, – подхватил он. – Вы знаете, Лена...

Она рассеянно слушала, кивая в нужных местах, подавая ничего не значащие реплики и одновременно пытаясь унять разгоравшийся тянущий голод. Андрейка притих, держась за её руку, и с преувеличенным вниманием смотрел себе под ноги, не поднимая головы. Это было хорошо – Лена никак не могла отучить его от привычки облизываться при взгляде на еду. «Ну кто так делает? Просто щенок, а не ребёнок», – отчитывала она его, но Андрейка, каждый раз клятвенно обещавший следить за своими манерами, всё равно продолжал в том же духе.

Они свернули в тёмный переулок, в конце которого горел одинокий фонарь. И без того неяркий свет то и дело гас, будто подмигивал кому-то невидимому. Живот Лены резко свело от голода, она даже оступилась, но новый знакомый поддержал её за руку.

– С вами всё в порядке? – спросил Данила, по-хозяйски приобнимая её за талию.

– Да-да, просто тут так темно, – виновато улыбнулась Лена и аккуратно высвободилась из настойчивых объятий. – Вот мы и пришли, спасибо вам большое. Дальше мы сами, правда, Андрейка?

Мальчик кивнул и широко разинул зубастый рот. Далекий фонарь дрогнул и потух окончательно. Человеческий крик потонул в густой темноте переулка.

«Насколько же стало проще с едой, не то что раньше, – думала Лена. – Кричи-не кричи, никто не обратит внимания. На улицах столько всего происходит, аж за ребенка страшно. Хорошо, что мы живём далеко от центра».

– Андрей, не вытирай рот рукой, – одёрнула она мальчика. – И жуй нормально, что ты торопишься, будто больше не дадут? Понял?

Тот молча закивал, видимо, вспомнив, что разговаривать с набитым ртом неприлично. Лена довольно улыбнулась, вытирая губы заранее заготовленной салфеткой. Ужинать, сидя прямо на асфальте, и отрывать мясо руками было, конечно, тоже свинством, но она старалась соблюдать приличия хотя бы в чем-то. В конце концов, смерть и голод – это не повод превращаться в неряху.

– Поел? – спросила она у Андрея и протянула ему салфетку. – Держи, вытри рот и руки. Дома я тебя умою как следует.

– Да, я шас... сейчас, – мальчик принялся старательно тереть лицо. Лена с неудовольствием заметила, что он всё-таки умудрился заляпать майку бурыми пятнами.

– Ну всё, всё, дыру протрёшь, – сказала Лена, протягивая Андрею руку. – Пойдём, поросёнок ты мой. Вырастет из сына свин...

– Я разве тебе сын, тёть Лен? – он недоверчиво глянул на неё исподлобья, поднимаясь на ноги, руками отряхивая со штанов налипшие осколки костей, но Лене отчего-то расхотелось его за это ругать.

– Это просто... стихи такие, – ответила она, старательно глядя в сторону. – Я дома тебе почитаю.

Они вернулись на берег реки в сонные предрассветные часы, когда над водой вставал белёсый прозрачный туман. Поплескались, отмывая с рук и лица следы сегодняшнего ужина, поплавали



наперегонки, Лена выстирала запачканную одежду и разложила её сушиться на корнях дуба. Андрейка, переодетый в сухое и чистое, уселся над обрывом, болтая ногами над пустотой, и перекидывал из ладони в ладонь свой блуждающий огонёк.

– Тётъ Лен, а большие мальчишки говорили, что они меня скоро к себе заберут, ветер гонять на дорогах, – слыло сказал он, шмыгая носом... – Ты скучать будешь?

– Конечно, буду, – Лена села рядом, глядя, как рваные клочья тумана плывут вниз по реке. – Ты ж меня не забудешь? Заглянешь как-нибудь?

– Загляну, загляну, каждый день буду загля-ды-вать, – Андрейка прижался к ней и запустил огонёк на её юбку, будто котёнка посадил. – Ты самая на свете лучшая. Лучше мамки. Она меня в воду бросила, а ты даже не ругаешься почти. У других мальчишек тебя нету, а у меня есть. А вот я поиграть к ним пойду, хочешь со мной?

– Хочу, – Лена погладила его по мокрой голове. – Ты мне покажешь секретное-секретное место?

– Ага! – с жаром подтвердил Андрейка и взял её за руку. – Пойдём!

Когда-то на этой детской площадке в парке играли обычные живые дети. На скамейках сидели мамы и бабушки, вязали, вышивали и обсуждали то последние новости, то способы закатки огурцов на зиму. Потом парк совсем забросили, сама площадка заржавела от дождей, между асфальтовыми плитами проросла трава, со скамеек слезла весёленькая зелёная краска. Лес неторопливо наступал на крохотный пятачок, созданный человеческими руками, и с каждым годом откусывал от него по кусочку.

Сейчас центральная карусель с жутким скрежетом вращалась – на ней катались несколько разновозрастных детей, одетых в одинаковые белые рубашки. Они звонко смеялись и хлопали в ладоши, а завидев Лену и Андрейку, замахали руками.

– Андрюха, здорово! Иди сюда, – закричал рыжий мальчишка, спрыгивая с карусели на полном ходу. Девочка, такая же рыжая, взвизгнула, когда сиденье ударило его по голове со всей силы, но он перекатился кубарем, подпрыгнул и побежал, как ни чем не бывало.

– Майка клёвая, Андрюх, ваще! А это чё, тётъ Лена твоя? – выпалил он, подкатившись к Андрейке. Блуждающий огонек плясал по его рыжим вихрам. – Красивая какая, здрате, тётъ Лен!

– Не «чё», а «что», – машинально поправила она. – Ну, бегите играть, бандиты.

Мальчишки с азартным воплем умчались на карусель и принялись раскручивать её под звонкий девчачий визг. Лена села на ближайшую скамейку и прикрыла глаза. Над лесом поднималось солнце, и уже становилось сонно и жарко. «Ещё немного погуляем, и нужно спать идти, – лениво зевнув, подумала она, – и других казаков-разбойников загнать, детям спать надо, а то безобразие сплошное. Следить за ними некому, скажут, как беспризорники. Времена ужасные просто...».

И она задремала под скрежет и визг старой карусели.

ПОД КУПОЛОМ МОРА

рассказ

*Аисты кричат над домами,
Но никто не слышит их рассказа,
Что вместе с духами и шелками
Пробирается в город зафаза.
Н. Гумилев, «Зафаза»*

*Птицы другие будут петь у окна на заре,
Умерших – забудут, ну, засытай скорей...
Е. Ачилова, «Колыбельная»*

Андьялка опаздывала. Тим с тоской огляделся по сторонам, пнул подвернувшийся под ногу серый камень и неловко затоптался на месте. Никогда раньше он не ходил на пустырь в одиночку, только со старшими мальчишками – да и тогда ему было страшиновато. Начальник полиции, часто заходивший к тимовскому старшему дяде пропустить кружку-другую, уверял, что и в городе, и в ближайших окрестностях совершенно безопасно, но соседи шушукались то о шайке бродяг, промышлявшей в округе и способной в любой момент подобраться совсем близко, то о звериных стаях, то об отпелынике-людоеде. В бродяг и отпелыника Тим не очень-то верил – все знали, что одичавшими людьми всего лишь пугают маленьких

детишек. Но звери... Он нервно покрутился, в который раз осматриваясь вокруг. На пустыре из земли торчали обломки труб, внутри которых что-то едва слышно шелестело. Никто теперь не знал, для чего они служили в старом мире, а нового применения им не нашлось. Тим сглотнул. «Если б здесь водилось что-то опасное, оно бы уже вылезло, – подумал он, пытаясь себя успокоить. – И сюда бы вообще никто не совался...». Ему вспомнились байки среднего дяди про железных чудовищ, изредка выползавших из-под остатков прежнего мира, но он тут же постарался отогнать подальше эти мысли.

– Никаких чудовищ не бывает, – сказал Тим вслух, чтоб было не так страшно.

– Бывают, – сказал кто-то прямо над ухом, и он от испуга чуть не подпрыгнул на месте. Мальчик резко обернулся, ожидая увидеть кого угодно, но это была всего лишь худенькая девчонка в ярких разноцветных лохмотьях.

– Андбя! – обрадованно выдохнул Тим. – Я уж думал, что ты не придёшь...

– Я же обещала, – Андбялка пожала плечами и потёрла щеку, на которой густо цвели разводы потёкшей краски. – И прийти, и всё тебе у нас показать. Не трусишь?

– Ни капельки! – вдохновенно соврал он, помотав головой. Что скрывать, ему было страшно. Хорошо ещё, что ни дядя, ни леди матушка не знают, что он мало того что водится с цирковой девчонкой, так ещё и собирается заглянуть за потрёпанный полог цветного шатра. Они б его даже из дома не выпустили... но Тим сказал им, что идёт гонять мяч с соседскими мальчишками, мать рассеянно кивнула и больше ничего не спросила. «На представление они мне точно запретят пойти», – с тоской подумал мальчик.

– Тебя запрут? – спросила Андбя, заправив прядку волос за заострённое ухо. Тим уже почти привык к тому, что она умеет слышать то, чего не говорили вслух, поэтому при ней старался следить за своими мыслями. Но не всегда получалось.

– Да вряд ли, – пожал он плечами, старательно разглядывая запыхавшиеся носки своих ботинок. – Но все знают, во сколько будет представление... если я захочу уйти из дома куда-нибудь, всё будет ясно.

– Никто не заметит, – девочка подобрала с земли камешек и запустила им в ближайшую трубу. Камень ударился о металл с глухим звуком, Тим напрягся, ожидая, что сейчас к ним вылезет чудовище из старого мира, но ничего не произошло. Андбя скривилась, будто бы ожидала чего-то иного.

– Старьё, везде одно старьё, – презрительно выплюнула она, отворачиваясь от трубы, внутри которой по-прежнему что-то размеренно шелестело, и продолжила, – не заметит, говорю. Главное, чтоб не заперли. Дверь без хозяина не открыть. Ты выходи и шагай. Шаг за шагом, шаг за шагом... шаг за... шаг за...

Её голос делался то дребезжащим, то скрипучим. Она забавно задвигала руками, закружилась на месте и вдруг остановилась, замерла, мерно покачивая взлохмаченной головой. Когда с ней случилось такое в первый раз, Тим перепутался – он тряс её за плечи, хлопал по щекам и уже думал о том, согласится ли господин Доктор осмотреть цирковую девчонку... Но сейчас он твёрдо знал, что нужно делать. Он подошёл к Андбье, замершей в нелепой позе, взял её за левое плечо, уверенно нащупал уплотнение под холодной кожей и надавил на него. Она дернулась, раз, и другой, потом вздрогнула всем телом и глубоко вздохнула, глянув на него в упор.

– Сп-сибо, – кивнула она, осторожно шевеля руками. Тим постарался не прислушиваться к лёгкому поскрипыванию железных суставов. – Мы с тобой... о представлении говорили, да? Ты приходи. Твои не заметят. На арене все другие, не такие, как за кулисами. Я тебе их и так покажу, конечно, но ты приходи всё равно.

Андбя потянулась, уже почти беззвучно, по-детски глубоко зевнула и прыгнула, вытянув руки вперёд, и пошла колесом по серой земле пустыря, только замелькали худые ноги в разноцветных полосатых носках и замельтешили лохмотья юбки. Раз-два-три... Тим поймал себя в том, что мысленно повторяет мерное «Шаг за шагом, шаг за шагом...», и недовольно потряс головой. Девчонка прыгала, перекатывалась, ходила на руках так быстро, что невозможно было за ней уследить, и голова начинала кружиться. Наконец она приземлилась на обе ноги, выпрямилась и церемонно поклонилась. Тим захлопал в ладоши, и Андбя поклонилась ещё раз.

– Все для вас, господин Наследник! – выкрикнула она, улыбаясь, будто ей сейчас аплодировал весь город. Тим почувствовал себя так, словно сунул в рот яркую конфету, а она оказалась горькой, как лекарство.

– У тебя здорово получается, – буркнул он, снова упираясь взглядом в носки ботинок. – Вот бы и мне так уметь.

– Ты обиделся, – Андбя покачала головой и потёрла лоб, снова размазывая краску. – Так тебя зовут

люди в городе, мне сказала Старая Леди. Хочешь, я не буду никогда звать тебя так? И своим скажу, что ты Тим. Просто так Тим. Хочешь, а?

– Я не... обиделся, – выдавил Тим. – Зови, как тебе хочется.

– Обижать других нехорошо, – без всякого выражения на лице произнесла девчонка, будто повторила давным-давно выученный урок. – Я не буду. Пойдём, Тим?

Цирк стоял на самой окраине города – там, где, скрепя сердце, позволил ему встать младший тимов дядя. Он что-то говорил о необходимости развлечений для черни, хлеба и зрелищах, но кривился при этом, будто хлебнул скисшего молока. Впрочем, всё семейство было с ним солидарно. А Тиму было страшно и любопытно ещё тогда, когда он первый раз услышал о приехавшем цирке. А уж когда он познакомился с Андшей, и подавно. «Если и все остальные циркачи такие, как она, бояться нечего», – старательно убеждал он себя, пока шёл за девчонкой по пустырю, а она шагала, приплясывая, пиная камушки и скрипуче напевая что-то под нос. Тим не мог разобрать слова, как ни прислушивался.

Так они оставили позади себя трубы, тоскливо шелестящие вслед, прошли мимо огромных каменных бочек, в которые Андша просто не могла не запустить камнем, миновали ржавеющие скелеты забытых всеми машин, о назначении которых не знал даже старый Доктор, и пошли по узкой дороге, давным-давно заброшенной, покрытой сухим желтоватым мхом. Средний дядя Тима часто говорил о том, что эту дорогу стоило бы расчистить и использовать, но всё упиралось, как вздыхал он, в нехватку средств. Тим обычно не вслушивался в разговоры взрослых, как только они начинали говорить о «средствах» и всё́м таком. Вот если речь шла о бродягах или чудовищах...

– Ты много знаешь о чудовищах? – вдруг громко спросила Андша, замедляя шаг. Она дотронулась до его руки холодной гладкой ладонью, и её пальцы тихо скрипнули, сгибаясь. Тим сжал её руку, будто бы она была обычной девчонкой, боявшейся страшных сказок.

– Не очень, – честно признался он. – Старший дядя много говорит, особенно когда выпьет, но я не во всё верю. Люди с собачьими головами...

– Странная му-та-ци-я, – Андша медленно покачала головой, будто раздумывала о чём-то. – Нет, таких я не видела. Ещё?

– Звери, ходящие на двух ногах и говорящие по-человечески, – Тим даже вздрогнул, представив это, – а ещё они... едят обычных людей, таких, как мы...

– Как ты, – поправила девчонка, потирая пальцем блестящий кончик носа. – Был такой город. Я помню. Они ещё смешно хлопали в ладоши. Такими мохнатыми руками. Я смеялась. Много смеялась.

– И они вас не... – начал Тим, запоздало понимая, что Андша не врёт, а, значит, не врал и дядя. Стало страшно.

– Нас? – она фыркнула и рассмеялась каким-то злым старушечьим смехом. – Конечно, нет. Им было весело. С нами всем бывает весело. Кого ещё ты знаешь, Тим?

И он вспомнил людей огромного роста, которые могли поднимать огромные камни и швырять их друг в друга, и одичавших механических птиц с острыми железными клювами, и ржаво-зелёных тварей из болот... Андша то хихикала, утверждая, что никогда такого не видела, то кивала, добавляя жутки к дядиным байкам. За болтовней Тим и не заметил, как впереди замаячило цветное пятно – пути до циркового шатра оставалось всего-ничего.

Андша поманила Тима за собой и нырнула под цветастый потрёпанный полог. Мальчик помедлил, чувствуя себя как перед прыжком в воду, и нерешительно приподнял занавес, заглядывая внутрь. Холодные жёсткие пальцы со скрипом сомкнулись на его запястье, и он даже вскрикнул, когда его втянули в полумрак, после солнечного дня показавшийся сперва полной темнотой.

Когда Тим думал о цирковом шатре, он представлял, что с порога на него обрушатся резкие запахи и громкие звуки, что всё это будет похоже на россыпь стёклышек в калейдоскопе, в который Тим всё ещё любил смотреть – тайком от леди матушки, полагавшей, что сын уже слишком взрослый для таких забав. Но за пологом было темно, тихо и не пахло вообще ничем – даже запаха человеческого жилья не чувствовалось. Когда глаза привыкли к сумраку, и сердце перестало так испуганно колотиться, Тим нерешительно огляделся по сторонам. Андша по-прежнему держала его за руку, но не говорила ни слова. Он скользнул взглядом по свисающим откуда-то сверху серым тряпкам, по огромному шару, который, казалось, дышал, медленно сдуваясь и раздуваясь, услышал, как под ногами что-то зашуршало. Бронзовая сороконожка пробежала по дощатому полу, дробно стуча металлическими лапками, остановилась перед

Андьей и что-то требовательно прострекотала. Девочка отпустила Тима и наклонилась, протягивая руку. Существо – насекомое? или какая-то хитрая машина? – запрыгнуло к ней на ладонь, Андья подняла его и сунула Тиму под нос.

– Это Ирррс, и ты ему нравишься, – сообщила она, не меняя тона. – Он хочет посмотреть на тебя поближе. Он говорит, что давно не видел настоящих людей.

– Ну... скажи ему... мистеру Ирррсу, что я... не возражаю, – растерялся Тим, но всё же не утерпел. – Он что, живой?

– Я не буду передавать, что ты усомнился в этом, – Андья покачала головой из стороны в сторону, как антикварный болванчик в стеклянном шкафу у леди матушки. – Ирррс этого не любит. А когда он что-то не любит... Однажды на остров, где жил он и его племя, упал дирижабль. Там были люди, такие, как ты. Один из них попытался поймать вождя и разобрать его... на «детали». Ирррс рассказывал, что тех людей хватило надолго. Даже с соседних островов приплывали к племени Ирррса на званые обеды.

Тим слотнул и с ужасом уставился на бронзовое насекомое. «Мистер Ирррс» шевелил блестящими усиками, глазки его отливали перламутром, как портсигар среднего дяди, и он выглядел не страшнее этого самого портсигара. Но Андья не стала бы врать.

– А что он делает... ну, когда вы выступаете? – шёпотом спросил Тим, стараясь смотреть в сторону.

– С ним работает Старая Леди, – девочка потёрла пальцем нос и, наконец, опустила плотоядное насекомое на землю. Он что-то прострекотал и деловито нырнул обратно в кучу тряпья. – У неё есть большая скатерть, на которой вышито много-много букв, новых, древних, каких угодно. Кто-то из зрителей спускается из зала, задаёт вопросы, Ирррс ползет от буквы к букве, а Старая Леди переводит его ответы.

Андья замолчала и, покачивая головой, уставилась в никуда.

– Интересно, что он сказал бы мне... – начал было Тим, но девочка прервала его резким взмахом руки, скрипнувшей, как старый засов.

– Ваше будущее – всего за одну каплю крови! – громко и хрипло прокаркал кто-то из глубины шатра. – Ты и впредь готов платить, мальчик? Ирррс запомнит тебя на вкус, Ирррс придёт за тобой в темноте. Андьялка, девочка моя, разве ты будешь против?

– Он пошутил, леди бабушка, пошутил, – заторопилась Андья, не давая Тиму и рта раскрыть. – Он не будет играть с Ирррсом, он будет играть только со мной!

– Это хорошо, деточка, это хорошо, – шаркающие старческие шаги начали приближаться, кажется, со всех сторон одновременно – или это было всего лишь эхо? – Ирррсу найдется с кем поиграть в этом городке...

В полумраке вспыхнул жёлтый огонек. Это зажглась свеча в руке Старой Леди, осветив доброе морщинистое лицо – такое могло бы быть у бабушки Тима, если бы она не умерла давным-давно, ещё до рождения первого и единственного внука. Леди матушка почти не рассказывала о ней, она не любила воспоминаний. Младший дядя как-то показал племяннику медальон с полустёршимся портретом молодой женщины в строгом тёмном платье, и Тим хорошо запомнил и лицо, и тихую улыбку, и волосы, собранные в пучок. Такой и была Старая Леди – просто лет ей было намного, намного больше. Она улыбнулась, показывая зубы – острые, кривые, звериные. Но Тим почему-то не испугался.

– Здравствуйте, леди бабушка, – поклонился он и поцеловал её костлявую руку, затянутую в чёрную кружевную перчатку. Ему показалось, что под вытертой тканью нет кожи и мяса, а только сухая жёлтая кость.

– Здравствуй, дорогой Наследник, – отозвалась старушка, внимательно разглядывая его ярко-голубыми, как у юной девушки, глазами. – Ирррс, этот глупый дикарь, тебя не обидел? У него ужасные манеры. Позорит меня и себя на старости лет, забывает о правилах игры... Отвратительное существо, верно?

Тим в растерянности посмотрел в том направлении, где скрылся, стуча металлическими ножками, Ирррс, но там не было заметно никакого движения. Может, маленькая плотоядная сороконожка просто ему почудилась?

А Старая Леди неотрывно смотрела на него и ждала ответа. Какого? Что она сделает, если сказать... не то, что она ожидает?

– Нет, он вовсе... не отвратительный, – выдал Тим, почувствовав, как Андья берёт его за руку и чуть сжимает пальцы. Он попытался представить, что говорит сейчас со своей бабушкой, с той самой, с портрета в медальоне, и это совсем не страшно. – Честно, я просто не понял, что он мне сказал.

Старая Леди рассмеялась – дробно и мелко, будто сухой горох рассыпался по полу.

– Господин Наследник такой милый, – она потрепала Тима по щеке. Он ожидал, что пальцы старухи окажутся такими же ледяными, как у Андьялки, но от них исходило ровное тепло, как от материнских

косяных гребней, когда она только-только вынимала их из волос. – Такой честный, такой искренний мальчик... Как хорошо, что ты выбрала его, Андья. Но нам с мистером, хе-хе, Ирррсом пора, представление вот-вот начнётся, а я ещё не переделалась и не уложила волосы. Ах, разве вам, молодым, это интересно? Ещё увидимся, господин Наследник...

Она повернулась и пощёлкала пальцами, приманивая свою ручную сороконожку-предсказателя. «Мистер Ирррс» тут же подскочил к ней и засеменил рядом с её колышущейся пышной юбкой – так они и скрылись из виду, растворившись в сером полумраке, невысокая седая старушка и механическое насекомое.

Тим перевел дух и вопросительно посмотрел на Андью. Спросить вслух он не решился.

– Не бойся, – пожалла плечами девочка. – Нет, правда, если б Старая Леди хотела перерезать нить, то уже бы это сделала. Знаешь, как щелкают её ножницы? Клац-клац, и всё. Взрослые никогда не узнают её лица, но всегда боятся. А дети – наоборот. Мне рассказывал один мальчик, что она похожа на его бабушку.

– На мою тоже, – тихо сказал Тим. Он попытался найти в себе хоть крупинку страха – и не смог. У Старой Леди были тёплые, хоть и косявые руки, она улыбалась и называла его «милым мальчиком». Интересно, испугалась бы её леди матушка? Или ей можно было бы все объяснить?

– Ну вот, видишь, – Андья покачала головой из стороны в сторону, будто раздумывала о чём-то. – Хочешь пойти дальше? Я никому не дам тебя обидеть, и... даже леди бабушке. Или ты всё-таки боишься?

– Не боюсь я, – Тим решительно нахмурился, – нисколько. Что там у тебя ещё запрячено?

Андьялка хриловато рассмеялась и взяла его за руку.

– Это хорошо, что ты храбрый, – сказала она, не переставая растягивать рот в застывшей улыбке. – Мы ещё посмотрим представление из-за кулис. Оттуда всегда интереснее. Можно увидеть столько всего... Но это потом, потом! Пойдём же.

За пыльной тусклой занавесью обнаружился длинный полутёмный коридор, по бокам которого можно было разглядеть двери в комнаты. Тим было удивился, как всё это помещается внутри циркового шатра, но спустя минуту и думать забыл об этом. Андья звонко хлопнула в ладоши, и вдоль стен начали медленно загораться желтоватые огоньки, точь-в-точь такие же, как свеча леди бабушки. Девочка протянула руку к одному из них, и он спустился на её ладонь – небольшой бронзовый жук со стеклянным брюшком, наполненным изнутри тёплым свечением.

– Посмотри, – сказала она, – правда, они красивые? Когда на арене поёт Женщина-Змея, они летают вокруг и складываются в разные фигуры, а потом опускаются к зрителям и остаются с ними... ну, как подарок. Дамы любят прицеплять их на платья, как... эти... брошки, а мужчины – на часы. Это называется брелок, да?

– Угу. Вы их дарите? – поинтересовался Тим, разглядывая металлического светляка. – А потом?

– А потом они возвращаются обратно, конечно, – Андья отпустила жука, и он взлетел к потолку, потеряв к детям всякий интерес.

Совсем рядом тихо скрипнула дверь. Огоньки затрепыхались, закружились и брызнули в разные стороны, рассыпая искры, будто бы в тёмном коридоре взорвался золотой фейерверк. Тим зажмурился от неожиданно яркой вспышки, а когда открыл глаза, увидел, как из дверного проёма медленно-медленно вытягивается необычайно длинный человек, больше всего похожий на то, какими бывают тени на закате. Казалось, угловатое, изломанное тело было плоским, как лист бумаги, на которых мать писала письма дальней родне, писала долго, затейливо – и никогда не отпирала. Человек-письмо наклонился к Тиму, будто перетнулся пополам, и мальчику подумалось, что, наверное, в месте сгиба останется залом, как на тех самых листах, которые мать перевязывала тёмными лентами и складывала в большую шкатулку, украшенную по бокам полустёршимися вензелями.

– Но-о-о-вый го-о-о-ость? – прошелестел плоский человек, заглядывая Тиму в лицо нарисованными глазами-точками. Галочка вместо носа, шевелящееся чернильное пятно, изображающее рот... нет, положительно, новый знакомый был не страшнее Ирррса и леди-бабушки. – Го-о-ость оста-а-анется на предста-а-авление? У ме-е-еня загото-о-овлен сме-е-ертельный но-о-омер...

– Не лезь, Тонкий, – неожиданно сварливо заговорила Андья и передразнила, – сво-о-оих дел нет? Вечно суёшься, суетишься, мухлюешь, шуршишь. Скомканный билет, вот ты кто! Где То-о-олстый, а? Где ты его потеря-а-ал?

Тонкий скривился, сморщился, будто бы его и вправду кто-то скомкал в ладони. Он напомнил Тиму старичка из дома напротив, который в солнечные дни выносил на улицу стул и подолгу сидел на нём, шуря выпуклыми глазами, а однажды остался так и на ночь, и только утром соседи позвали Доктора – Тим

видел из окна, как тот качает белой головой, как снимает потёртый цилиндр и прижимает его к сердцу. Леди матушка рассеянно сказала, что старик умер, и Тим почему-то плакал ночью, вспоминая о нём. Ему стало жаль Тонкого.

– Андя, ну что ты, – примиряюще сказал он. – Зачем ты его обижаешь? Я рад знакомству, мистер... эээ?

– Ра-а-ад, я ра-а-ад, – загнусавил Тонкий. – Про-о-осто Ми-и-истер. При-а-а-тно. При-и-идёте на меня-а-а посмотр-е-сть?

– Конечно! – заверил Тим, вспоминая все фразы, которые, с точки зрения леди матушки, были образцом хороших манер. – Я буду ждать Вашего номера, Мистер. Уверен, это будет что-то потрясающее.

– Спа-а-асибо! – Тонкий расправился, развернулся и стал похож на старинную географическую карту, которую старший дядя держал под стеклом в кабинете. – Бу-у-ду жда-а-ть.

И он втянулся обратно в дверной проём, заставив огоньки снова затрепетать и заметаться. Андя что-то забормотала себе под нос, сжимая кулачки.

– Ты зачем так с ним? – спросил Тим. – Он тебя обидел?

– Любопытный, слишком любопытный, – голос девчонки снова начал становиться скрипучим и неприятным. – Не люблю его. Фи, бумажка, палка-палка-огуречик, получился человечек, кривенький, косенький, раньше ходил, людям в окна заглядывал, а потом к нам прибил. Завидует всем. Мне завидует, мне есть с кем играть, а ему нет. Лезет, лезет... Будет звать, ты с ним не ходи.

– Не пойду, не пойду, – попытался он успокоить Андю. Его пугали её мелкие подергивания, будто бы механизм внутри неё стал давать сбой. – Ты не волнуйся так. Слушай, а... Женщину-Змею можно увидеть? Ну хоть одним глазком?

Анды пристально посмотрела на него из-под колючих ресниц. Помолчала. Прикрыла глаза. Тиму показалось, что он слышит, как в её голове скрипят шестеренки, как гулко стучит в груди железное сердце.

– Можно, – наконец выговорила она, медленно и торжественно. Таким же тоном старший дядя Тима говорил с горожанами, расписывая им долгие годы безмятежного процветания, которые уже на пороге. – Старая Леди уже бросила скатерть на стол и щёлкнула ножницами. Ирррр предрекает людям жизнь, глупый, глупый железный жучок. Тонкий скомкан, Толстый сдулся, медвежонок скалит зубы... Пойдём, Тим – я ведь обещала называть тебя только так? Пойдём, и Змея споёт для тебя.

Анды взяла Тима за руку, и он пошёл за ней, как крысы из сказки, которую леди матушка читала ему на ночь, шли за пением дудочки прямо в холодные жадные волны озера.

Она отсчитала седьмую дверь по левую руку и постучала в неё костяшками пальцев. С другой стороны раздался в точности такой же стук.

– Слышишь? – с коротким сухим щелчком Андя повернула к Тиму голову. Теперь он видел, что на её лице кое-где облупилась краска, пряди волос неровно приклеены к черепу, а глаза потускнели и потрескались. – Она нас ждёт. Ты всё ещё не боишься меня, Тим?

– Не боюсь, – её пальцы, крепко обхватившие его ладонь, стали совсем шершавыми и обжигающие холодными, но он не отнял руки. – Пойдём.

Дверь открылась бесшумно, и за ней была темнота и голос.

Женщина пела низко и мягко, словно мать над кроваткой ребёнка. Тим не различал слов, песня обволакивала его и обнимала, укутывала, баюкала и гладила по волосам. Он улыбнулся ей, чужой матери, и сделал шаг вперёд.

– Шаг за шагом, шаг за шагом, – полушёпотом заговорила Андя, поскрипывая суставами в такт, – шаг за шагом...

Тим было хотел сказать ей – не говори ничего, давай просто слушать, но песня стала громче, заглушила бормотание девчонки, заполнила собой всё вокруг, распахнула огромные крылья и подняла цирковой шатёр в воздух. Захлопали на ветру полотна и флажки, взвились вверх оборвавшиеся канаты, где-то сбоку мелькнул Тонкий, подхваченный порывом ветра, как бумажный листок, звонко, по-молодому расхохоталась Старая Леди, щёлкая ножницами.

– Не смей! – закричала Андя, и её голос оглушил Тима, будто звон колокола городской церквушки, такой старой, что туда опасно было входить. – Не смей так, глупая, безногая, безрукая, не смей! Я играю с ним! Всё скажу Старой Леди, всё, всё про тебя!

Песня оборвалась. Тим захолопал глазами, пытаясь прийти в себя. Под ногами был твёрдый деревянный настил, Андя всё так же крепко держала его за руку, а вокруг клубился густой, как кисель, непроглядный мрак.

– Я увлеклась, – женским голосом сказала темнота. – Простите меня, дети. Мне захотелось петь, и я



поторопилась. Но представление уже началось, и осталось так мало времени... Давно ли в вашем городе звучал колокол, о котором ты вспомнил, мальчик мой? Не отвечай. Я знаю, что давно. Нет пения церковного, нет звона колокольного, все наги и босы, растрепаны косы, пляши и кружись, пропащая жизнь...

Светлячки стали робко загораться вокруг, слетаясь, кружась возле Анды и Тима. Один из них сел девочке на плечо, осветив ободранную розовую краску со щеки и тусклый металл под ней.

– Кто ты? – спросил Тим, глядя в темноту. – Зачем ты так говоришь?

– Я? – невидимая женщина улыбнулась. – У меня столько имён, что я вечно их забываю, мальчик. Да и какая разница? Песня звучит, маятник раскачивается, Старая Леди устала резать живые нити. У твоей матери в ладони светляк, она приколет его брошью к воротнику, твои дяди будут спорить до хрипоты о предсказаниях Ирррса, Тонкий всё-таки исполнит свой смертельный номер, и представление закончится, занавес опустится, мы соберём шатер и уедем. Так было с начала времён.

– А Андя? – проговорил Тим, косо глянув на девочку.

– Она может и остаться, – женщина почему-то хихикнула. – Тебе будет весело с ней. Не так одиноко, как... Впрочем, это неинтересно. Хочешь посмотреть на меня, мальчик, перед тем, как мы расстанемся навсегда и больше никогда не увидимся?

Тим кивнул. Ему вдруг стало душно и тяжело, будто его придавили пышной подушкой, не давая вздохнуть. Сердце заколотилось в горле, ноги стали ватными, и очень захотелось спать, долго, долго, не просыпаясь и не видя снов.

Светлячки замельтешили, закружились перед глазами, и Тим сощурился, глядя, как огоньки сбиваются в стайки и освещают невысокую, какую-то нелепую, странную фигуру женщины, которая пела и говорила с ним. Желтоватый свет выхватил из темноты огромные блестящие глаза, тёмные, почти чёрные тени под ними, сухой алый рот, тёмные волосы, повисшие безжизненными сосульками... Женщина улыбнулась, показывая окровавленные зубы.

Мальчик вскрикнул от ужаса.

У его собеседницы не было рук и ног.

– Она же Змея, я говорила, – извиняющимся шёпотом прошепстала Андя под ухом. – Змея. Зараза. Я же...

У Тима закружилась голова, пальцы разжались сами собой, и он упал в сердце смерча, разбуженного песней женщины-змеи, смехом Старой Леди и стуком железного сердца маленькой Андылки.

Было темно, тихо и холодно. Тим со стоном поднялся на постели, не понимая, почему он уснул одетым, отчего в доме не слышно ни шорохов, ни разговоров вполголоса, ни даже треска свечи. В разбитое окно заглядывала полная луна, жёлтая, как цирковые светлячки.

Тим поёжился и спустил босые ноги на пол, осматриваясь по сторонам. Мать спала за столом, уронив голову на скрещённые руки, в лунном свете можно было разглядеть даже прядку, выбившуюся из строгого пучка волос.

– Леди матушка, – позвал Тим, – мне снился такой смешной сон, представляете? Будто бы к нам в город приехал цирк, и я подружился с девочкой оттуда. Вы не подумайте, она хорошая, хоть и не обучена манерам. Матушка? Леди матушка?

Мать молчала и не шевелилась.

Тим подошел к ней, осторожно дотронулся до бархатного рукава и отдернул руку. На столе лежала брошка в виде жука и слегка светилась в полумраке. Мать по-прежнему не двигалась, и Тим не решился прикоснуться к ней ещё раз. «Зараза», – вспомнилось ему. В памяти всплыло ещё одно тяжёлое неуклюжее слово – «эпидемия». Так говорил старший дядя, пока ещё выходил к перепуганным людям, чтоб успокоить их, а потом...

Тим на цыпочках вышел из комнаты, даже не думая заходить в другие – он почему-то был уверен, что найдёт там что-то очень страшное – спустился по лестнице в пустой гулкий холл и толкнул тяжёлую дубовую дверь, ведущую в сад.

На ступенях дома сидела старая кукла с аляповато раскрашенным лицом и в потрёпанных разноцветных тряпках. Тим наклонился, взял её в руки и прижал к себе. На миг ему почудилось, будто в пустой игрушечной груди стучит железное сердце.

Где-то вдалеке завывли собаки.

Тим сел прямо на гравий садовой тропинки, не заботясь о том, что испачкается, посадил куклу к себе на колени и стал ждать.

В тишине послышалось, как мерно заскрипели чьи-то металлические суставы.

ВЛАДИМИР КАЦ

ВЕНОК СОНЕТОВ

1

Верни мне изначальность смысла слов,
Пьянящих слов, прозрачных, как дыханье,
Как дерзкий аромат ночных садов,
Как терпкий трепет тайного свиданья.

Верни мне стон, верни мне страсти крик,
Увядавший лист, октябрьскую слякоть,
Той лёгкости бездумной острый миг,
Когда смеяться хочется и плакать.

А может быть забыть, перечеркнуть
Несвязных предложений многоточье,
Освободить свою больную грудь
От тяжести неразделенной ночи.
Но память сохраняет как награду
Осенних дней дрожащую прохладу.

2

Осенних дней дрожащую прохладу,
Весны распутной радостный порок,
Горячее дыханье летних строк,
Величие лебяжье снегопада.

Не уничтожит времени поток
И не затушит древнюю лампаду
Поэзии цинизма ветерок
И мишура казённого парада.

Дай мне избежать липкой суеты
И подари раскованность движений
Поля сожги побед и поражений
Сожги мосты, но не сжигай мечты.
И кладовой волшебных детских снов
Ты отодвинь заржавленный засов.

3

Ты отодвинь заржавленный засов,
Сними замок, открой скорее двери.
Я вслушиваюсь в музыку поверий,
В сумятицу тревожных голосов.

Забыв о зыбкости бегущих прочь часов,
Мне хочется судьбу свою измерить,
Но как могу я радость и потери
На чаши бросить разные весов?

Могу ли счастья дни я отделить
От чёрных дней – от дней твоей измены,
Когда порой хотелось выпить яду?
Могу ли я забыть или простить?
Но повторяю в мыслях сокровенных:
«Верни любви мне горькую усладу».

4

Верни любви мне горькую усладу,
Блуждающий огонь раскрытых глаз,
Впусти меня за рук твоих ограду
В безумный мир, твоих безумных ласк.

И в этот мир – как гордый миф Эллады,
Искусной простотой пленивший нас,
Безудержно врываюсь каждый раз,
Когда свой взгляд с твоим скрещаю взглядом.

Но расплылися пятна на стене,
Распаты мы по мизерной цене.
И плачет ветер, годы теребя.
Ты с плеч сними воспоминаний крест.
Других люби, пока не надоест,
Срывай же листья с древа бытия.

5

Срывай же листья с древа бытия,
Сгребй в охапку их шумящий ворох,
Прошу, не вспоминай о разговорах,
Бесплотных, как голодная кутя.

Вбирай в себя травы примятой шорох,
И песню колыбельную дождя,
И торжество звенящего гвоздя,
И шепот примиренья в милых ссорах.

Перечеркни чертою карандашной,
Перечеркни день завтрашний, вчерашний,
Чтоб эти дни тобою не слгчались,
Ты породнись с мечтой простоволосой,
Перечеркни сомненья и вопросы
Срывай же листья радости, печали.

6

Срывай же листья радости, печали
И в хаосе крутящихся миров,
Давай с тобой присядем, выпьем чаю,
Подбросим в печь сухих смолёных дров.

Средь славословья, пылких обещаний,
Среди застолья буйного пиров,
Как часто мы с тобой не замечали
Уютного молчанья вечеров.

У каждого из нас своя лабья,
У каждого из нас свои дороги.
Своих страстей минуты колотья,
Но прилечу, вилетусь в венок тревоги.
Средь листьев, шлют которые нам боги,
Средь этих листьев, может быть, и я.

7

Средь этих листьев, может быть, и я
Сорвусь и упаду на спящий город,
Как падает, раскручивая ворот,
В колодец пересохла бадья.

Ведь этот город нам с тобой судья,
Он слышал наших слов и жар, и холод,
Он видел глаз неутолимый голод
В блаженные минуты забытья.

Не разрубить тяжёлыми мечами
Ненастных дней сырую пелену,
Навечно мы у памяти в плену
За проволокой жёсткого молчанья.
Но я, разрушив времени стену,
Войду в тебя бессонными ночами.

8

Войду в тебя бессонными ночами,
Растерзанною утренней зарей,
Тебя прожгу я острыми лучами,
Окутаю небес голубизной.

Я буду собирать цветы и камни,
И влажных звуков чуткую росу,
Я буду пить шумевшую над нами,
В небытие ушедшую грозу.

И я коснусь ладонью осторожной
Твоих покатых плеч, твоих волос.
Я к ране приложу, как подорожник,
Солёные ручьи забытых слёз.
Соткав из пряжи памяти сонет
И перейдя глухую пропасть лет.

9

И перейдя глухую пропасть лет,
Я вновь пройду по пыльным тротуарам,
По улице, оваянной пожаром,
Я пронесу горящих строф букет.

В них будет всё: и нежность песни старой,
И мудрых книг таинственный завет,
Ночь, серый плащ, безмолвие бульвара,
Пощёчиной стремительное «Нет».

Ты сбрось с себя покров одежды лживой,
Доверься сумраку медлительному ночи.
Пусть сон твой будет робок и порочен,
Пусть в нём воспоминанья будут живы.
Как берега пустынного фиорда
Склонюсь перед тобой в смиреньи гордом.

10

Склонюсь перед тобой в смиреньи гордом,
Но разве гордым может быть смирение?
Как верный пёс уткну в твои колени
Судьбою исцарапанную морду.

Казалось мне – в своём решении твёрд я.
Всё кончено. В ночи исчезли тени,
Но в грудь вонзились копьями мгновений
Воспоминаний беспенные орды.

Как всё забыть легко. Как трудно всё забыть.
И, сверив путь по призрачной звезде,
Шагать вперед, в её поверив свет.
Тяжёлым молотком желанья пригвоздить
И в утешение шептать себе:
Мечтатель, математик и поэт.

11

Мечтатель, математик и поэт?!
Безвольный сибарит и неудачник.
Паяц безумный, чей колющий бред
Всё вывернет и всё переиначит.

Ты не найдёшь в душе своей ответ
На жизни нерешенные задачи.
За дерзкою иронией не спрячешь
Любви ушедшей незаживший след.

Но снова звуки надо мной сплелись,
То падают, то вновь взлетают ввысь,
И хлещет кровь разорванной аортой.
Хочу, чтобы предстал перед тобой
Весь этот мир, печальный и седой,
Раздавленный рыдающим аккордом.

12

Раздавленный рыдающим аккордом
Сон уходил, сон таял постепенно,
И явь врывалась музыкой Шопена,
Пронзала ледяным дыханьем Норда,

И обагрив домов прибрежных стены,
Вставало солнце медленно над портом.
Кривую жизни огненной хордой
Спрямила ты, любя проникновенно.

И мою душу выжженной пустыней
Оставила и в ней живёт поныне
Страх: в целом мире мы с тобой одни.
Вернись, приди, шурша осенним платьем,
К себе прижми горячих рук распяты
И ты через разлуки долгой дни.

13

И ты через разлуки долгой дни,
Через обиды шла ко мне навстречу,
И ты шептала: «Милый мой, верни
Минуты, обратившиеся в вечность».

Качала ночь в тумане фонари,
И ветер дул уныло, бесконечно,
Деревья гнул. И заключал пари
С зарею утренней сырой дождливый вечер.

Дома, как в роще вырубленной пни,
Побегами антенн тянулись в поднебесье,
За ширмой ветхих стен чуть теплились огни,
И царствовал уют в обшивках мягких кресел.
С тобою мы мертвы, но чтоб воскреснуть
Мне ласковые руки протяни.

14

Мне ласковые руки протяни,
Дай ощутить их страстное пожатье,
И безоглядным радостным объятьем
Кольцо воспоминаний ты сомкни.

Венок сонетов — дань былой любви.
Я вплёл в него и нежность, и проклятье.
Я делал так, как мне велел Создатель.
Ты этот дар моей души прими.

Освободи от тяжести оков
Усталостью измученное тело,
Верни любви утраченную смелость
И разорви тугую сеть узлов.
И ласкою дикарской неумелой
Верни мне изначальность смысла слов.

15

Верни мне изначальность смысла слов.
Осенних дней дрожащую прохладу.
Ты отодвинь заржавленный засов,
Верни любви мне горькую усладу.



Срывай же листья с древа бытия,
Срывай же листья радости, печали,
Средь этих листьев, может быть и я
Войду в тебя бессонными ночами.

И перейдя глухую пропасть лет,
Склонюсь я пред тобой в смиреньи гордом,
Мечтатель, математик и поэт,
Раздавленный рыдающим аккордом.

И ты через разлуки долгой дни
Мне ласковые руки протяни.

ИЛЬЯ РЕЙДЕРМАН

МИР ПЕРЕПОЛНЕН СЛОВАМИ

Мир переполнен словами.
Средь вакханалии слов —
кто же в общении с нами
что-то услышать готов?
Слово — яйцо, но вытек
смысл из него — желток.
Вот и жуёт политик
жвачку газетных строк.
Зря вырубают рощи,
в текст превращают мир.
Не выходи на площадь
и не кричи в эфир!
Произнесённое нами —
речью стало чужой?
Ибо затопчут ногами
то, что казалось душой.
Мир переполнен словами.
Как же сказать — до дна?
Мысли неяркое пламя,
внемлющая тишина...
Искреннее (в нём искра?)
слово — летит в пустоту.
Мы не слышали? — быстро
гаснет оно на лету.
Сказанное украдкой
тихо, в беседе краткой.
Может, его согласишь
только тому, кому веришь.
Что не усилено матом,
не вываляно в грязи.
Тихо — тому, кто рядом.
Молча — тому, кто вблизи.

Я широко раскинул сети,
я тьму журналов пролистал,
я мыслям всем внимал на свете,
и — удивляться перестал.

Слова, что вне родной стихии,
где жили, рыбами скользя...
Страницы шелестят сухие,
и нам судить уже нельзя
о жизни, что могла сказаться,
что шевелилась на губах.
Как сквозь грамматику прорваться?
Благоразумье? Правды страх?
Где смысл, что в предвкушение сладком
предчувствовал? Слова – не те.
Всё стало только отпечатком
букв типографских на листе.

Уже не важно, что нам говорят,
а важно – где и как, с какою миной.
И умирает смысл, покинув звукоряд,
опутанный всемирной паутиной.
Поверить, что поэзия жива,
что дух высокий в нас вдохнули музы?
Пластмассовые шарики-слова,
бильярдные шары, что метят в лузы...
И треск сухой, и непрерывный шум, –
та болтовня, в которой все мы тонем.
А если вдруг придёт кому на ум,
мысль настоящая, – то мы её прогоним.

МЕМУАРЫ ПОЭТА

Вот молодость, и головы – в дыму.
Но исчезает жизнь – с табачным дымом.
И как же рассказать её? Кому?
Ведь правда нынче – не необходима.
Во фразе смысл шатается, как зуб.
Концы с концами не свести – ты разный,
и, как гальванизированный труп,
в самопризнаниях дёргаешься страстно.
Коль правды нет, то остаётся – нрав.
Подробностей вываливая груды,
ты, зная, что неправ, тверди, что прав.
А жаль чего? Несбывшегося чуда.
Что сделал этот век с тобой, поэт?
Из чаши бытия ты пил – иль не пил?
...Жизнь – это много пачек сигарет.
А что в остатке? Пепел. Пепел. Пепел.

Давиду Сородскому

Каждому овощу – час.
Гений – умерь нетерпенье.
Что популярно сейчас –
обречено на забвенье.

Бренная музыка масс!
Но бесконечное пенье
ноты, смущающей нас, —
словно в жару дуновенье.
Ловишь и кожей, и ртом
тайную эту прохладу.
Вечное — будет потом,
после времён камнепада?
Всё же калифы на час
нас не лишают надежды.
Вечность — ведь это сейчас,
в паузах, в пропусках, между...
Между деяний пустых —
вечность струится живая,
силою истин простых
временность одолевая.
Только дерзни и поверь
в ноту гармонии, лада.
...В чуть приоткрытую дверь —
вечности тихой прохлада.

О чём вы все поёте одичало,
певцы конца? А я — певец начала.
И человек — вне власти всех начал —
как дикий зверь, утробно закричал.
...Ведь там, в начале — и отец, и мать,
всё то, чего нельзя забыть, нельзя предать,
земля, что несмыслёнышей держала,
весь мир, что в колыбели нас качал,
что, с нами вместе жило и дышало,
чему ты всею жизнью отвечал.
Но чтоб ответить — целой жизни — мало!
И — в подлинности Слова и Лица —
началам верь. И начинай сначала.
Всё ново. Всё впервые. Нет конца...

Пусть жизнь ведёт себя как сводня,
И торжествует свальный грех, —
не то, что сказано сегодня,
должно быть на устах у всех.
Волнуемого моря пена!
И все халифы и царьки,
чья власть непрочна и мгновенна,
как лопнувшие пузырьки.
Но есть же времени глубины,
есть вечных истин глубина.
И в тех глубинах — мы едины.
Но там — молчанье. Тишина.

Заешь обиду сладким чем-нибудь.
О, что бы это ни было – забудь.
Неужто жить и умирать – с обидой,
свой рот кривя в улыбке ядовитой?
Нет, выдыхая тяжесть – жизнь вдохни.
Как хороши серебряные дни,
неяркий свет и мысли тишина.
А что не знаменит – твоя ль вина?
Поэзия ведь вовсе не потеха,
и не в соревновании забег.
Так говори, оспаривая век,
на дальнее рассчитывая эхо.

Оттуда – ты уже не скажешь ничего.
А что отсюда говоришь – не слышат.
И я не понимаю одного:
как слово – не услышанное – дышит?
Чем живо? И обращено – к кому?
К приказчику в литературной лавке?
Зачем сегодня пишем – не пойму.
Слова в толпе, что задохнулись в давке,
слова, что обесценены, как гривны...
– Принц, что читаете? – Слова, слова, слова...
И буквы чёрные, как мухи – непрерывно
роются. Если ты, поэзия, жива,
тансь, скрывайся от сетей, как рыба,
на глубине. Верь: орган речи – дух.
И если время – тяжелей, чем глыба,
ответь на эту тяжесть Словом. Вслух.

Выхожу на финишную прямую.
Всё, что может ещё случиться – приму я.
Но когда по последней бежишь прямой –
поневоле и речь станет тоже прямой.
Да и времени нет для лишнего слова.
И собьёшься с дыханья, если соврёшь.
Выбиваясь из сил, утверждай же снова,
то, во что веришь, чем вправду живёшь.
И пускай не первым придёшь на финиш,
но и под ветром холодным – не стынешь,
нерасчётливо тратишь душевный жар,
и вперёд глядишь. Эта даль – как дар...

«ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ «КОЛЬЦО “А”»

Литературный журнал «Кольцо “А”» отмечает своё двадцатилетие. Созданный по инициативе тогдашнего первого секретаря Союза писателей Москвы поэта Владимира Савельева, он сначала был ежеквартальным, потом – ежемесячным, – сначала бумажным, потом – увы! – только электронным. Главным редактором журнала стала Татьяна Кузовлева (с 2013-го – Кирилл Ковальджи).

На что рассчитывали мы, затеяв в начале девяностых, в пору всеобщей нестабильности, новое, претендующее на интерес к нему взыскательного читателя издание? Прежде всего, на то, чтобы недавно созданный Союз писателей Москвы имел свой журнал – для маститых авторов, и для молодых... Включив в своё название достопамятный маршрут любимого москвичами трамвая «Аннушка» (первые номера издавались именно на Чистых прудах, в издательстве «Московский рабочий»), журнал подчеркивает тем самым связь со старинным Бульварным кольцом, по которому не раз совершались прежде и совершаются сегодня наши прогулки в компании с Личностью, с Историей, с Книгой, с Воспоминанием, с Любовью, с Иронией, с Улыбкой.

Со временем у журнала образовалась своя литературная история: многих из первых его авторов уже нет в живых – Булат Окуджава, Юрий Нагибин, Валентин Оскоцкий, Юрий Давыдов, Вячеслав Кондратьев, Борис Чичибабин, Роберт Рождественский, Александр Иванов, Римма Казакова, Евгений Весник, Борис Васильев...

Низкий поклон их памяти.

На страницах «Кольца “А”» можно встретить поэтов, прозаиков, публицистов, критиков, сатириков, эссеистов разных поколений – Николая Шмелёва, Леонида Жуховицкого, Сергея Филатова, Дмитрия Сухарева, Кирилла Ковальджи, Игоря Минутко, Александра Говоркова, Леонида Рабичева, Радугу Полищук, Евгения Бунимовича, Лариссу Миллер, Алексея Смирнова, Дмитрия Веденяпина, Марию Ватутину, Анну Гедымин, Сергея Белорусца, Елену Исаеву, Евгения Лесина, Галину Нерпину, Дмитрия Курилова, Романа Сенчина и, конечно, многих молодых, включая дебютантов.

Литературные контакты связывают «Кольцо “А”» с русскими писателями США, Израиля, Германии, с польскими, армянскими, украинскими, белорусскими, словацкими, болгарскими, венгерскими поэтами и прозаиками.

Ежемесячно в Малом зале Центрального дома литераторов проходят клубные вечера журнала, на которых обсуждаются новые номера, только что вышедшие книги авторов, ведутся дискуссии, читаются новые стихи, исполняются авторские песни.

Булат Окуджава напутствовал выход первого номера «Кольцо “А”» словами: «...я бываю счастлив, когда появляются новые издания. Но не испытываю разочарования, когда они гаснут, ибо это свидетельствует о том, что они прожили свою жизнь до конца. Будем надеяться, что и у “Кольцо А” будет своя жизнь. Подчеркиваю – своя, и до конца».

На это надеемся и мы, продолжая выпуск журнала в электронном варианте и сохраняя его «печатную» нумерацию.

Редколлегия

ВЛАДИМИР МОНАХОВ

Братск, Иркутская область

ДРЕВО ПОЗНАНИЯ ТИШИНЫ

ПРОБУЖДЕНИЕ

Все в себя погружены
Камни-травы-птицы-люди,
Едет время на верблюде
И везёт цветные сны...
Вышло время тишины,
Ночь истлела до тряпицы.
Сны в себя погружены,
Чтобы утром воплотиться
В щебет сладко нежных трав,
Обнимая мир в зелёном,
А расход беспечных трат
Раскрошится щедрым звоном.

*

земля по ночам
прикармливает небо —
всё мечтает засеять
безводные пустыни
падалицей звёзд!

*

За щекой берега
раскатыстые волны
на шершавом
языке моря
сладостно
перекатывают
каменные
солёные
леденцы...

Из-БОЛЬ-ницы

1.

болезнь меня снова пыталась
измазать прощальной краской,
но смерть сотворить поленилась
из гипса посмертную маску!

2.

пора приучаться к мысли,
что жизнь возможна без нас...
душу готовить к небу,
как прикосновенный запас...

3.

– Ну, что, старик, тебе опять не спится,
Зачем сквозь страх на пустоту смотреть, –
Спросил дежурный врач второй больницы,
В который раз смахнув с кровати смерть!

4.

время делится –
на до и после...
пространство делится –
на до и после горизонта...
небо делится –
на до и после смерти...
жизнь до смерти неделима?..
хотя сказал же Шукшин:
родился, женился и умер...
Вот это вся жизнь?

*

Наталье Никулиной

Когда Бог
Унижается до человека,
Человек – до поэта,
А поэт – до стихотворения,
То в кровеносной системе памяти
Стартует броуновское движение
Красных телец поэзии,
Которые дрейфуют от ритма к рифме,
От метафоры к Слову
И обратно,
Растекаясь
душой
По древу
познания
ТИШИНЫ!

*

Когда я умру –
патологоанатом вскрыет грудную клетку
и удивится – моё сердце ещё сильнее любит тебя.
Но я ничего не возьму с собой на тот свет, любимая!
Даже стихи о тебе. Но ты не спеши за мной...
Разве только захочешь

узнать, что я пишу тебе после жизни
на семь нот тишины
и тридцать две буквомысли русского молчания.
Всего-то три слова из словарного запаса –
«Я тебя люблю!», которые я говорил многим женщинам,
но только так научился любить
одну-единственную – тебя

ДОЛГОЖИТЕЛЬ

«Что с ним возиться!» – решила жизнь.
«Пусть поживёт!» – отказала смерть. –
Долготерпением он заслужил
Не постареть». —
«Что же он делал?» – вспыхнула жизнь.
«В том-то и штука, что ничего!
Только бессмертные сторожил
Для себя одного!»

*

полезно сеять хлеб
бесполезно воспевать сев
полезно растить хлеб
бесполезно воспевать рост
полезно жать хлеб
бесполезно воспевать жатву
полезно есть хлеб
бесполезно воспевать процесс еды
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Но всё, что посеял, вырастил, сжал, – съели,
а бесполезные песни остались

—

АННА ГЕДЫМИН

Москва

ПРЕДЧУВСТВИЕ ТЕПЛА

Предчувствие тепла...
Мы были так живучи,
Что можем представлять
Научный интерес.
И смутно на душе.
Так праведника мучит,
Привыкшего к земле, –
Предчувствие небес.

А может, мы и впрямь
Диковинной породы?
Иначе кто бы смог,
Удачей не храним,
Не зная ни любви,
Ни Бога, ни свободы,
Прожить изрядный век
Предчувствием одним?..

Месяцы, пропахшие голубикой –
Ягодой неприветливою и дикой –
Принципиально отличаются от апреля,
Когда до подснежников – ещё неделя.

А в июне, земляничной порою,
Я обычно сама не своя, не скрою:
Смотрит небо в душу, как зеркало,
и дятлы выстукивают по коре
Точки-тире.

Но всё лучшее со мной случается в октябре.

Болдинская моя осень,
оранжевый сеттер,
огонь рябины,
Месяц рождения сына,
месяц песни моей голубиной!
После этого можно хоть навсегда
В холода.

Говоришь, ни покоя, ни счастья,
Только воля –
надоевшая, да своя?
И сердчишко,
наподобие воробья,
Вьётся, бьётся
о зазубренные края,
Так и не выучив ни аза?

Не печалься,
мой любимый чужак,
Когда на душе мрак,
Смотри не туда,
а в мои глаза.

Переможем зиму,
пожар, потоп,
Шепоток за спиною
и пулю в лоб,
Не уступим –

ну, понимаюсь —
ни пяди земли...
Пусть вокруг изумляются:
Какого рожна?
Вроде ты не сестра ему,
не жена!..

Не тревожся,
Только если сделаюсь не нужна,
Я сумею оказаться вдали.

Памяти гнёт
С каждым мгновеньем весомей —
но и милей.
Жизнь промелькнёт,
Как промелькнул горностаи
среди снежных полей.

Лунная долька,
Следов торопливая нить...
Памяти только
Дано это всё сохранить.

Ты для меня
Больше, чем беда,
Больше, чем вода
В пересохшей округе.
Ты для меня —
И шальная толпа,
И лесная тропа,
И друзья, и подруги.

Давай
Сядем, как в детстве, в трамвай,
Чтобы лужи и брюки клёш!
Давай
Ты никогда не умрёшь!
Лучше уж я...

И стану для тебя
Солнцем над головой
И лохматой травой
У ограды.
Чтоб все подруги твои
И все супруги твои
(И даже мама твоя!)
Мне были рады.

Ты помнишь? – детство, стриженные ногти,
Огромный бант, умолкший третий класс...
Горнист, волнуясь, врёт на каждой ноте...
Так в пионеры принимали нас.

Смеркается. Салют. Ноябрьский праздник.
Вдруг – полная луна, как мандарин...
И ангелоподобный одноклассник
Мне о геройстве что-то говорил.

Мы были так торжественно-серьёзные,
Так дружно шли, поддерживая строй,
Что в небесах рассчитывались звёзды,
Как фонари – на «первый» и «второй».

А он грустил, что слабое здоровье,
И всё ж мечтал в матросы, хоть убей, –
Где море на закате – цвета крови,
А может – даже голубей...

Ветра нет, но зябко у воды,
И деревья смутны, как во сне...
Может, нынче свет моей звезды
Наконец дотянется ко мне?

Даже не очнутся берега,
Только сердце грохнет в тишине,
И у закадычного врага
Пробегут мурашки по спине...

—

ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ

Москва

ВСЁ, ДРУГ МОЙ, БЕСКОНЕЧНО...

Вот взять: Набоков и Булгаков.
Ведь их на рукописи взгляд
отчаянно неодинаков:
горят иль всё же не горят?

Один, приверженный к эскизам,
считал, цenia родную речь,
что если опус недописан,
его ещё возможно сжечь.

Другой, исполненный отваги,
сказал, пусть даже и не сам:
жизнь, явленная на бумаге,
она огню не по зубам...

Да, этот спор – не из последних.
Кто прав, неясно до конца.
Вот сын Набокова, наследник,
был верен принципу отца.

Но не у всех такие дети,
хоть печки есть почти у всех.
Что вызвало сожженья эти?
Каприз? Возможный неуспех?

Иль ощутило ретивое
в идее ложь, в сюжете слизь?
О рукописях эти двое
всё знали. Всё. И не сошлись.

У каждого на то есть право.
Ведь в чайные грядущих тризн
в одном художнике держава
рождала скорбный оптимизм.

И в то же время на свободе,
где о гоненьях ни гу-гу,
другой невозмутим был, вроде:
ах, не получится – сожгу!

Иная жизнь и разный опыт.
И только та же кочерга,
в огне вздымающая копоть,
летающую от очага.

ЛУЖА

Все снега февраля в этой мартовской спинули луже.
Может, Ладога глубже немного, но всё-таки уже.
Что за лужа! За ней чуть видна там, на месте сугроба,
цепь огней: казино? пиццерия? – ну, словом, Европа.
Петербург, Нижний Новгород, Миргород – так ли уж важно?
Океанская рябь дышит вольно, загадочно, влажно.
Подгоняем неделю, эпоху – проклятое ралли.
Вся древлянская кровь устремилась к июню, к Ивану Купале.
Для чего, если в каждой эпохе и в каждом пейзаже
и всё та же судьба, да и лужа вот эта всё та же?
Бросьте! Та, да не та. Я нагнулся, и – что в отраженье?
Старый хрыч, для которого новость всегда поражение.
А ведь в прошлом году отраженье моё мне явило
человека, в котором была невесёлая сила...
Над бескрайней водой снова Путь обозначился Млечный.
Боль потери моей, неужели ты можешь быть вечной?
Всё невечно у нас, кроме нашего вечного гимна.
Я его не люблю, ибо знаю, что это взаимно.

На хорошей машине в эту пургу – лафа!
Гастарбайтеры-дворники чисто метут стекло.
И машина летит, как изредка – лишь строфа,
предыдущей строфе и последующей назло.
Снег засыпал волчьей ямы наших дорог.
Это – благо, его не ценят лишь тормоза.
На волне савояр всё твердит, что его сурок
никогда никуда от него ни на полчаса.
Все формации отменила эта пурга.
И машины не ездят. И люди не ходят. Застой...
Эх, такого бы мне, такого бы мне сурка –
чтобы верность считал обязанностью святой.
Потому что неверно всё на этом пути:
старость шин и недальновидность передних фар,
недорезанный день – с двенадцати до пяти,
рознь племён и самоедство гражданских свар.
И этот дорожный знак в световом пятне –
что он значит: конец дороги? Конец всему?
Савояр со своим сурком, побудь на волне,
не спеши от меня в этой темени ни к кому.

Ну, вот, в лесу ли, в полюшке
держава собрала
разрозненные пёрышки
имперского орла.
И в мире взбаламученном
иной сосед следит
с тоской за грозным чучелом:
а ну, как и взлетит...

Нефть под землёй лежит неравномерно.
Её озёр хватает нам вполне.
Хозяева их: Озем и Сумерла –
беспочвенно щедры к моей стране.
В Европе, ни о чём не беспокоясь,
в кабак заходишь: Крез, ни дать, ни взять.
И в Азии мне кланяются в пояс,
хоть древним духам я ни сват, ни зять.

Но вот – Урал, чья речь проста и внятна.
Здесь трижды за день, хоть кого спроси,
из Азии в Европу и обратно
пныряет оренбургское такси.
Там, под мостом, июньскою, нагою
жизнь предстаёт. Какой-то местный хват,
чуть оттолкнувший Азию ногою,
коснулся лишь Европы и – назад.



Потом в пельменной «У царя Гороха»
нагреет на сто рубчиков меня
лакей, который сразу видит лоха,
хоть мы с ним по Сумерле и родня.
Пускай... Его законная зарплата
законное диктует воровство.
Иконы в тихих домиках Форштата
не возразят на это ничего.

Домашняя ленивая зевота
одолевает что-то, господа.
И никуда отсюда неохота:
ни в Токио, ни в Лондон – никуда.

НОЧЬ ПОСЛЕ КАРТОЧНОГО ПРОИГРЫША

Долги, безденежье, скандалы –
на всё на это просто плюнь.
Июнь вошёл в твои кварталы.
Каталы в отпуске – июнь!

Когда вакханки на Волхонке
летят со смехом босиком,
их ослепительные гонки –
за счет июня целиком.

Покуда лето на подъёме,
у жизни много козырей.
Всё, друг мой, бесконечно, кроме,
ну, разве жизни... Не старей!

Цени изгиб старинной стогны,
бегущей к нам, авось, не зря!
Люби трагические стоны
ревнующего сизаря.

Здесь всё – мираж. И всё здесь – драма.
И даль всего, – пусть ваш, не ваш, –
бассейн, не пожалевший храма,
и храм, встающий на реванш,

и путь по затенённым ямам,
и всхлип, – счастливый, извини, –
осточертевшим этим ямбом,
отговорившим в наши дни.

—

ГАЛИНА НЕРПИНА

Москва

ИЗОБРЕТЕНИЕ ПАРУСА

На утренний дым над водой ледящей,
На лес драгоценный за старым мостом,
На всех, в этот час по земле проходящих,
Кого не слизал ещё век языком –
Смотри...
И прелестная, в крыльях прозрачных,
Висит стрекоза... И вот-вот за углом
Откроется счастье... что вовсе не значит,
Что кто-то одержит победу над злом.

Нам обоим пора от любви подохнуть.
За шепотку истины,
добытой в поединках,
Я живу без крови – призраком, невидимкой,
Со звенящей злобой
(чтоб не оглохнуть!)...
Здесь слоёный ветер да натиск суши,
И песчинки вечности
всё прибывают.
По разбитому небу
чиркают наши души.
Что не делает нас сильнее –
то убивает.

Розы расцветают...
В.А. Жуковский

Нетронутая, полная весна –
которой человек уже не нужен.
Он слишком вероломен и недужен –
чтоб на него обрушилась она.
Зато деревья, птицы и трава
возьмут себе её тепло живое...
А человек – пространство нежилое:
Он просто нижет временно слова.
Вот он стоит с заточкою в руке –
и словом равнодушно точит слово.
И ничего не замечает снова...
И розы расцветают
вдалеке.

ИЗОБРЕТЕНИЕ ПАРУСА

Он где-то долго и бесславно жил.
Покрылся пылью, что-то ел со всеми.
Почти что спятил, с птицами дружил.
Внутри него заканчивалось время.

Но человека всё ведет к воде.
В ней, растворяясь, исчезает старость.
И вот однажды, вопреки судьбе,
он просто так изобретает парус.

Щенячье счастье ветра, корабля –
служить хозяину без страха и без слова...
Владыка паруса – прощай, земля! –
он сопределен всем стихиям новым.

На борт поднявшись, чтобы жить опять,
он капитан – теперь уже навеки.
Морская, без единой складки, гладь.
И сумасшедшая свобода в беге!

ПОДСОЛНУХ

Ах, подсолнух мой,
Встань во весь рост!
Или – всё-таки – стой на коленях,
Потому что всему своё время:
Разведённый невидимый мост.
Ах, подсолнух, так много всего!
Мы с тобой одинаково живы.
И затянутся солнца разрывы,
И закроются раны его.

Луна, ослепшая от снега,
летит в предутренней тоске,
почти соскальзывая с неба,
от гибели на волоске.
Кипит ненастное застолье,
всё пуще снег валит к утру,
мрачнеет облако густое
на балтазаровом пиру...
И мы глядим, сцепившись крепко –
как будто всё ещё игра:
с овчинку небо или в клетку,
иль просто чёрная дыра.

Станет легче...
Откроется давняя дверь –
и наступит весна.
Станет легче, поверь!

И затеется дождь. За пустым гаражом
пузырится вода, как весёлый боржом.
Неужели возможен порядок такой,
Или нет – беспорядок,
 в котором покой
беснадежная жизнь освещает одна
ежедневно, навски...
До самого дна.

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА

Москва

СКВОЗЬ КОПЧЁНОЕ ОКНО ЭЛЕКТРИЧКИ

Возьми мою голову в лодку ладоней,
такая боль затаилась в ней,
будто, измученная погоней,
дюжина дышит коней.

Всё – туман, и наш город в тумане
ищет огарок дней.
А могла бы жить на Кубани.
Рыжих держать коней.

Город жилы тянет и жёстко стелет,
болью проняв до кости.
Так саженец нежный долго болеет
перед тем, как начнёт расти.

есть правду алую с куста
горчинку волчьих ягод
и заступать за край листа
с пастушьей сумкой тягот

пусть клевер с заячьей губой
четырёхлистник прячет
я жизнь свою несу с собой
а прошлое тем паче

мой свет сквозь ветви зеленой
с морковным вкусом сняти
растет стихийно сад камней
и просит – соберите

На листе альбомном радуга и поляна,
небо синее в белых стриках.
Ждали манну, и привалила манна
в образе манной каши и детских криков.

Скрип качелей и скрип рессоры –
Скрепки, спивающие пространство.
Отпусти коляску – сама покатится в гору
с пугающим постоянством.

Жизнь – это шликер, а слово – форма.
В небытие выливаетесь густые остатки.
На спинке стула синее форма.
И самолёт летит, вырванный из тетрадки.

Там ангел – капустница,
а чёрт – майский жук.
Шиповник распустится,
отбившись от рук.

Там скрипка-кузнечик
и флейта-сорняк.
Паук-человечек
латает гамак.

Латает и ловит
то сны, то росу.
На слове, на слове –
держась. На весу.

дачный хлам раздали поодиночке
патефон и ножную машинку Зингер
стало больше места для сна и игр
хотя дети выросли повзростели дочки

крепче памяти фотоснимки
на экстракте из раннего детства
и Высоцкий дорожке наследства
на самопальной пластинке

патефон и Зингер сентиментальный хлам
вернулись на дачу наплись на развале
но у той машинки скрипели педали
а патефон хрипотцу добавлял басам

жёлто-серый меланж на спицах
лес бежит за окном повдоль
день читает хронику в лицах
чёрно-белых и бритых под ноль

край кривой уходящий в рубчик
швы на теле пустой иглой
в электричке бухой попутчик
был на самом деле тобой

перекинь петлю на другую спицу
распусти стихи и свяжи рассказ
мёртвый ночью к утру проспится
и из петельки вынет нас

Дни заносишь в красную книгу
Тепла исчезающий вид
Собранную чернику
Свекольный сахар хранит

Свет узнаёшь по блику
По привкусу летние сны
И ночь добавляет чернику
В манную кашу зимы

Безучастное время сырое предзимье
Всё бессмысленней всё тесней
Тени леса ложатся косыми
Буквами в рукопись дней

Берёзовой грамоты влажный свиток
Разверни и письму внимай
Листьев и веток скромный пожиток
Ржавую накипь снимай

Без сапог не выходишь из дома
Серой птицей мерещишься мне
И крыло твоё в два перелома
Висит на озябшей спине

Красно-белая труба заводская —
Чёртов палец указующий в небо
Но ты смотришь на трубу не мигая
Как она под небом нелепа

Одинока как она бесполезна
Молчаливо как высокое горло
Был завод цветмет и железа
А теперь там склады и торговля
Сквозь копчёное окно электрички
Незаметно для себя прозревая
Каждый раз смотри по привычке
Это жизнь теперь твоя осевая

РОМАН МИХЕЕНКОВ

Москва

САКРАЛЬНЫЙ МАССАЖ

Пассакалья

Andante non troppo

– А-а-а-а!!! Изверг! Ирод! И «дыбу» ещё разок... А-а-а-а! Инквизитор! Душегуб! И «железный крюк»... А-а-а-а...

Уникальному массажисту по имени Бек – гориллоподобному существу с обаянием террориста – я дал кличку «Великий инквизитор». Я искал его всю сознательную жизнь, с тех пор как музыкальное образование отравило мне детство и искалечило спину ежедневным аккордеонизмом. Нашёл случайно, когда от меня в очередной раз отказалась «скорая». Плексит! Это как насморк, он тоже проходит через неделю. Эту неделю ты тоже не дышишь. От боли. Слава святой инквизиции! – Бек к тому моменту уже понял, что массировать дряблые прелести политбюро Узбекистана менее выгодно, чем мять московский целлюлит, и приехал в столицу. За два счастливых месяца знакомства с Великим инквизитором каждому приёму массажа я придумал специальное название: «вилка еретика», «нюрнбергская дева», «колесование», «испанский сапожок», «кресло допроса».

Первая встреча запомнилась гораздо ярче, чем моя первая влюблённость, – я пережил второе рождение. Бек говорил по-русски на уровне первой сигнальной системы, но как он общался с моим телом! Великий инквизитор с первого раза безошибочно нажал на все мои мышечные узлы и болевые точки, пальцем-сарделькой начертил «линии боли», ведущие от причин к симптомам и обратно. Дальше я испугался: Бек посмотрел на меня так, как смотрят на «воинов-интернационалистов», которые приезжают в южные республики «принуждать к миру» бывших соотечественников. Это позже он объяснил, что врагом его был не я, а мой плексит. Каждый приём Бек сопровождал воинственным выкриком «Ассссс!» Я отвечал ему сначала истошными криками, потом вялыми стонами. До сих пор не понимаю, каким образом я тогда выжил. Но выжил! На радостях я придумал ему слоган, перефразировав великую русскую уголовную «мантру»: «Бек боли не видеть»!

– Спасибо вам, Бек! Вытащили с того света!

– Сиз – билан – куриш – канимдан – хурсанд – ман.

Я воспроизвожу его речь, как услышал. Неоднократно пытался её понять, но тщетно. Общий смысл угадывался: «Обращайтесь».

И я обращался! Иногда, когда острой боли не было, мы с Бексом «изгоняли дьявола» авансом, чтобы даже не думал приближаться. Такие сеансы я называл «индальгенция», а Великий инквизитор выбирал для них относительно падающий режим массажа. «Массаж-индальгенция» давал возможность общаться, насколько позволял языковой барьер. Из этого общения и родился словарь терминов, соответствующий пыткам средневековья.

– Ассалому алейкум, еретик! – приветствовал меня Бек.

– Салом, Великий инквизитор!

– Индульгенция?

– Сегодня дыба...

Не успев начать массаж, Бек извинился, извлёк из кармана мобильный телефон, выпискивавший заунывную мелодию его родины:

– Жена...

Дальше был филологический праздник! Государства, в которые технический прогресс пришёл одновременно с советской властью, не были готовы к этому на лингвистическом уровне. Для обозначения любви, плава и социального неравенства слова уже были придуманы, а для электроприборов, механизмов и прочих достижений научно-технической революции пришлось одалживать у русских. Судя по тексту, Великий инквизитор и его супруга делали в квартире ремонт:

– А-утиз-кирк, лампочки. Ха-албата-икки, телефон. Джуда-баши, стеклопакеты – келишдик... – В отличие от «офисного русского», полного американизмов, который звучит пошло и ущербно, речь Бека, полная «русизмов», была смешной и трогательной. Он говорил о гнёздышке, которое они с женой вили в чужой стране.

А ещё в этот день Бек произнёс первую связную фразу на русском: «Обращайся, приводи друзей».

Я знал, какого «друза» мне хочется отдать на растерзание Беку. Уже полгода я мучился с очень духовным персонажем, которого спонсоры приложили к деньгам на документальный фильм в качестве консультанта. Я окрестил его «человеком бессмысленных словосочетаний». Владлен Изяславович был членом «общественной палаты», чиновником («министерства культуры», координатором движения «духовное возрождение», а тема его диссертации формулировалась вообще вне комментариев: «сакральные предпосылки духовного возрождения»). В изречении Бека «Сиз – билан – куриш – канимдан – хурсанд – манн» я находил гораздо больше смысла. Для комплекта не хватало должности «психоаналитика аквариумных рыбок». Владлена Изяславовича – это бесполое и безнравственное существо – хотелось подвергнуть всем известным пыткам, включая бековский массаж.

– Понимаете, коллега!

Эта фраза каждый раз вызывала у меня судороги и необходимость посетить Бека.

– Понимаете, коллега! Наш фильм...

Это сакрально-духовное членистоногое почему-то обзывало фильм «нашим».

– Наш фильм – это «Послание»! Нет! Это сакральная предпосылка к духовному возрождению родины!

Статья 105, часть вторая УК РФ. Убийство при отягчающих обстоятельствах. Интересно, сколько мне дадут?

Каждую фразу закадрового текста, каждый кадр видеоряда мне приходилось трактовать для него с точки зрения сакральных смыслов и прослеживать, как они отразятся на ментальном фоне нации. Владлен Изяславович занимался этим далеко не из соображений заботы о духовном возрождении. Хитрый сакральщик договорился со спонсорами о ежемесячной зарплате из бюджета фильма, так что каждый день его «работы» отражался не только на качестве картины, но и на моём кармане. Послать его «в сакрал» я не мог, так как он являлся родственником главного спонсора.

Владлен Изяславович исхитрился превратить словоблудие о духовности в продукт вполне материальный. С завидной регулярностью на телеэкране он и ещё несколько не менее духовных граждан, впадая в оплаченный экстаз, рассуждали о судьбах русской интеллигенции. В результате они получали гранты, заседали в палатах, издавались и назначались консультантами на документальные фильмы за более чем приличное вознаграждение. Когда власти было необходимо отвлечь народ от своего очередного «косяка» и она (власть) вспоминала о духовности, сразу вставал вопрос: «И кто это у нас тут самый духовненький?» А вот они!

– Понимаете, коллега! Мы взываем к прекрасному, которое дремлет вековым сном! Наша священная миссия пробудить его! Я вижу для этого все предпосылки.

И тут же, без паузы:

– Я уже несколько дней сесть не могу, спина болит. Соли.

Интересно, как сближает людей общая боль. На мгновение Владлен Изяславович показался мне не таким омерзительным. Я ему искренне посочувствовал. Кто хоть однажды познал боль в спине, меня поймёт. Однако это не помешало мне отправить его к Беку. Это была месть, не оставляющая урызений совести: я выручал человека, что бы он при этом ни испытывал.

– Владлен Изяславович! Я как раз приехал к вам от уникального массажиста! Он меня реанимировал!

– Вы не представляете! Я чувствую себя возрождённым! Я принял муку, ваш Бек очень жесток, но я испытал катарсис! Теперь мне открылась жизнь без страданий плоти! Я договорился с Беком на два раза в неделю.

Вот сформулировал, гадина!

– Я многое понял! Наш зритель должен пережить то, что вынес я! Мы должны низвергнуть его в самую пучину страданий, довести до отчаяния... и возродить!

Владлен Изяславович «извергался» минут сорок. Я кивал и записывал этот бред на диктофон, добавляя его к коллекции предыдущих «потоков сознания». У меня назревала идея сделать по его словоблудию первые духовные комиксы.

– Ассссссс!

Бек закончил очередную пытку. Мы не виделись довольно долго, так что в этот раз на мне был отработан весь репертуар святой инквизиции.

– Рахмат (спасибо), Великий инквизитор.

Телефон Бека, своим звонком напоминавший невysморкавшийся кларнет, запищал очередную песню узбекских степей. Я одевался и краем уха слушал разговор. Узбекские тексты Бека были разбавлены странно-знакомыми словами:

– Сиз – айтгандек – булсин, духовность?

А вот это уже был перебор! Я прощал Владлену Изяславовичу многое: «сакральные посиделки» в телевизоре, издевательство над моим фильмом, но надругательство над юной неокрепшей душой – увольте! В этот же день я составил подборку диктофонных записей с высокодуховным бредом, чтобы объяснить спонсору, почему работа над фильмом стоит и куда уходят его деньги. Встречу мне назначили на следующий день.

Главный спонсор – абсолютно нормальный бездуховный мужчина – сначала перепроверил смету, потом график работы над фильмом и только потом услышал речи своего родственника – консультанта. Из текстов Владлена Изяславовича спонсор вывел логическое заключение:

– Дальше вы работаете без консультанта.

Владлен Изяславович несколько дней названивал, предавал анафеме мой автоответчик и требовал деньги за неотработанный им месяц.

Фильм был сдан вовремя. Без консультанта работалось с удовольствием. Полгода спустя, на фестивале, мне снова скрутило спину, и я вспомнил, что всё это время не был на массаже.

Над дверью кабинета Бека сияла бронзовая табличка «Сакральный массаж». Чуть ниже висел прейскурант: цены взлетели в несколько раз. Если бы не адская боль, ни за что бы не вошёл.

Я обнаружил Бека, сидящим за столом, с книгой Владлена Изяславовича в руках.

– Бек, спасай! – простонал я и начал раздеваться, настолько быстро, насколько позволяла боль. Бек подошёл ко мне, заглянул в глаза:

– Ваше тело страдает. Но это только видимость. Корень боли в муках духовных.

– Бек, какая духовность, это плексит!

– Только осознав природу страдания, мы вместе сможем её одолеть!

– Бек! Мне нужен массаж, а не проповедь!

– Сакральный смысл массажа в единении души и плоти.

Матом, мольбами и тройной оплатой я добился массажа. Бек вяло водил своими руками-кувалдами по моему телу, бубня о чем-то сакральном. Мне так не хватало его «Сиз – билан – куриш – канимдан – хурсанд – ман». Фирменной «инквизиторской» боли я не почувствовал, как не почувствовал и облегчения.

Ищу массажиста. Сакральный массаж не предлагать.

«ЛИТМУЗЕЙ»

*От редакции: в нынешнем номере «Южного Сияния» рубрика «ЛитМузей»
приурочена к 120-летию со дня рождения известного одесского поэта, переводчика
и драматурга Эдуарда Багрицкого.*

Ни об одном одесском поэте не вспоминали так много, как об Эдуарде Багрицком. Феноменальная память, актерский талант, страсть к розыгрышам, любовь к птицам и рыбам, декламируемое обжорство – обо всём этом так легко говорить. А за внешней веселостью и маской Пантагрюэля – талантливый поэт, страстный поклонник Гумилёва, Пушкина, Маяковского, Бодлера, знаток европейской и русской поэзии. Именно он, астматик, читавший стихи ночи напролёт во время приступов, спасавшийся поэзией, словно заменявшей ему глоток свежего воздуха, стал поэтическим наставником молодых.

И один из учеников после смерти друга и учителя написал поэму – о юго-западной литературной школе о друзьях – Катаеве, Ильфе, Славине, Олеше, о Коллективе поэтов, ЮгРОСТе – о весёлой одесской юности Багрицкого. Впервые поэма была опубликована лишь спустя 74 года. Книга «Марк Тарловский. Молчаливый полёт», составленная Е. Витковским и Т. Резвым, вышла тиражом всего 500 экземпляров. Прочтём же воспоминания ученика об учителе, поэта – о поэте.

Алёна Яворская

МАРК ТАРЛОВСКИЙ

ВЕСЁЛЫЙ СТРАННИК

стихотворные мемуары
(1935)

2 глава

1. Продавленная мамина софа;
Трухлявая трава под репсом рваным;
Кочующие пышным караваном,
Клопы упитаны, клопам – лафа.
2. И он лежит, невыбрит и патлат,
Лениво переругиваясь с мамой,
В рубаше, что могла бы быть рекламой
Для мастерицы штопок и заплат;
3. Лежит ничком на рычагах локтей
И улыбается, подобно сфинксу,
И фантазмагорическую бриндзу
Пред ним рисует голод-чародей.

4. А под окном, пока овечий сыр
Встаёт из недочитанной страницы,
За прутьями полушки чечевицы,
Считает клёст, как банковский кассир.

5. Сын взвизгивает: «Мама, сволоки
Мою перину к старой тете Сарре!
Успехом пользуются на базаре
Такие пышные пуховики...».

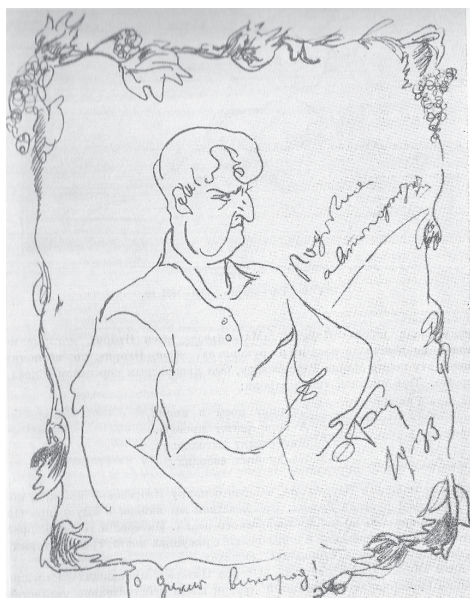
6. Ему не терпится: «Не пожалей
Подсвечника, на что тебе он, мама?
Паршивый хлам, но из такого хлама
Исходит запах пары кренделей.

7. Будь другом (он волнуется), не рань
Мне сердца, мама: где твои салфетки? –
Два фунта сала даст оценщик меткий
За эту продырявленную дрянь!».

8. Но мама не сдаётся: «Были дни,
Когда меня считали балабустой,
Хозяйкой дома, чтоб им было пусто
За цурэс наши, за мои грызни.

9. Кто продает последнее? – босьяк.
Работай и накушайся с курами». –
«Спорь, мама, с “Дюком” – он ещё упрямей,
К тому же спорить может натопаю».

10. О вещи, вещи, зёрна войн и ссор!
Кто не подвластен вечному их игу? –
И на раскрытую чужую книгу
Он плотоядный устремляет взор...



Э.Г. Багрицкий. Автопортрет, 1933 г.

11. ...Акациям хотелось бы дождя.
Поджарых псов жара одолевала.
Плечом вперёд (другое отставало),
Он шёл вприпляску, руку отводя.

12. Эскадрой парусников и байдар,
Готовящихся к абордажной схватке,
Шли рундуки, навесы и палатки,
Столпотворительный шумел базар.

13. Горело солнце в стеклышках монист.
Он даже не подмигивал дивчатам,
Спеша туда, где в домике дощатом
Сидел нахохлившийся букинист.

14. Шарманка ныла, мукали волю.
«Привет вам, уважаемый папаша!»
Он, козырнув, как пых из патронташа,
Печатный клад извлёк из-под полы.

15. «Вы это продаете?» – «Продаю».
– «А я не покупаю». – «Доннер веттер!
Опомнитесь, папаша! вы, как сеттер,
Залётному грозите журбаю».

16. Ведь это же Новалис, не в укор
Будь сказано покойнику, романтик!
На переплёте – золочёный кантик,
Под крокодила сделан коленкор!».

17. «Вы скудова свалились? – из Бендер,
Чи из-за Врангельского Перекопа?
– Романтиками только недотёпа
Интереснётся в РСФСР».

18. Но я куплю – скажите только мне,
Что автор ваш знакомит мир с секретом,
Как жить разутым и необогретым
На полувыпеченном ячмене».

19. Я бы валютных надавал вам леит,
Скажите только, на какой странице
Против погромов, против реквизиций
Романтик ваш предложит мне рецепт?»

20. «Кхэ, кхэ, папаша, правда, напрямик
Здесь нет об этом... впрочем, без ломаний:
Достоин он того, чтобы в кармане
У вас источник денежный возник».

21. Позвольте вам прочесть лишь десять строк
Из «Гимна ночи»... Ну и перемена!
Как соблазнительнейшая сирена,
Он старика в пучину уволок.

22. Пускай на нём рогожные штаны,
В счёт гонорара выданные «Ростой»,
Но он потомок девы рыбохвостой,
Дитя понтийской вкрадчивой волны...

23. Новалис продан. Хватит на обед.
Вперёд, к рядам, манящим чадом пряным!
Спеши к их жареным левиафанам,
Беги, голодный русский кифарел!

24. И он бежит сквозь строй военных баб,
Где каждый вертел поднят, как шпигрутен;
Он дымом экзекуции окутан,
Исхлёстан солнцем, от соблазнов слаб.

25. Отплясывают запахи в ноздрях,
Тиранствует летучее добро в них,
И, фыркая, бормочет на жаровнях
Съестной товар промасленных нерях.



Э.Г. Багрицкий.
Национальный гвардеец
1933 г.

26. Народ бедует, по густым рядам
Шныряет, одичалый с голодухи.
На лицах у стряпух, что скифски-глухи,
Написано: «Не дам! не дам! не дам!..».

27. Над сковородками же – переплёт,
Чтоб воры рук туда не запустили,
И проволока рыночных бастилий
Затворников румяных стережёт.

28. Тут мы встречаемся. Блажен, кто сыт.
Он сообщает, взяв меня за локоть,
Что рыбам срок икринки обмолочать,
Что не грешно взглянуть на птичий сбыт.

29. Ковчежная манит нас толчея,
Которая писклива и брызгуча,
Где мокнут квакши, окуляры пуча,
Где сбиты мех, и пух, и чешуя...

30. Далёк наш путь с базара на толчок.
На улицах вольготно грязным детям.
Трамвайного вагона мы не встретим,
Автомобильный не ревнёт рожок.

31. Всё, с чем возможна тяга и езда,
Ушло на фронт, где гибель и защита,
И демон тока выключен из быта
И можно смело трогать провода.



Э.Г. Багрицкий.
И.Э. Бабель.
1933 г.

32. Портовый двор, где в ведра брызжет кран,
Невольно служит как бы общим клубом,
И крысы по водопроводным трубам
Гуляют, презирая горожан.

33. Безводен путь наш. Воздух разогрет.
Сопит мой спутник, астмой грудь колышет.
На тумбе, где болтается афиша,
Расклеивают ленинский декрет

34. О инкунабулы большевиков
На бандеролях спичечных акцизов!
На немногоречивый этот вызов
Откликнуться всегда он был готов.

35. Он по пути рассказывает мне,
Воспоминаниями увлечённый,
Как партизанские прошли колонны
По отвоевываемой стране.

36. Он «счастьем не насытился вполне»,
Зато винтовкой помахал как будто,
И про теплушки с литерами «брутто»
Он по пути рассказывает мне. –

37. Ему знаком
теплушечный уклад
С гнилым пайком
и тряской невпопад.

38. Лупили впей,
почёсывали бок,
Но стал свежей
дорожный ветерок,

39. И виден стал
невиданный Кавказ,
И ропот шпал
уже смолкал не раз.

40. И горизонт
ему открыл вдали
Каспийский фронт
и вражки корабли.

41. Весь, как скрижаль,
пред ним лежал Иран,
Тянуло в даль,
тянуло в Тегеран,

42. Туда, где стык
языческих культур,
Где львиный рык
слыхал не раз гяур.

43. Кто не слышал
про «Горе от ума»?
Скули, шакал,
наваливайся, тьма.

44. Велик Аллах,
пророк – надёжный щит,
Гяур в очках
растерзанный лежит...

45. Большевиков
страна зовёт назад,
Приказ таков,
и он приказу рад.

46. Ах, он вкусил
по родине тоски,
Ах, мало сил,
верблюжские полки!

47. Из-под копыт
земля летит назад,
Но путь закрыт
на Елисаветград.



Э.Г. Багрицкий.
Беня Крик. 1934 г.



Э.Г. Багрицкий.
В.Э. Мейерхольд. 1930 г.

48. Распчатан мост,
но в тошный плен попасть,
Как в клетку клест, –
сомнительная сласть.

49. И он в рябой,
в облезлый поезд сел
И над рекой,
шатаясь, пролетел.

50. Под ним настил
шатался и плясал,
Ах, рачий ил –
сомнительный вокзал.

51. Нет, сыч Махно,
нам было б не с руки
Прибыть на дно
разлившейся реки,

52. Где влепит штраф
нам шука-билетёр,
Чей глаз – пиф-паф! –
по-снайперски остёр.

53. Проезжий скуп, –
адью, носильщик-рак!
Ещё мой труп
в придоньи не набряк.

54. Река, теки, –
мне лучше наутёк,
Сжав желваки
под щёткой впалых щёк.

55. У нас – рубцы на коже бледных щёк,
И мы друзей рассказами морочим,
– Хрипит он нежно, – впрочем, между прочим,
Мы с вами таки вышли на толчок».

56. По глинистому грунту пустыря
У молдаванской нищенской заставы
Прогуливают свой товар лягавый
Полу-торговцы, полу-егеря.

57. Там птичий гомон, свист и перещёлк,
И рыбий плеск в аптекарской посуде,
Всё, что сумели приневолиить люди,
Всё, в чем наш Дидель знает крепко толк.

58. Он ощущает радостный прилив,
Охотничьего духа. Это – сфера,
Где скромный мастер лирного размера
И тот порой становится хвастлив.

59. Не кажется ли данью хвастовству
То, что, не ошибаясь ни на йоту,
Он якобы по одному помёту
Распознает животную братву?

60. «Здесь, – говорит он, – зяблик жил, а там
Держали пеночек черноголовых»...
И, возбуждая зависть в птицеловах,
Им поясняет: «вижу по следам».

61. «Здесь, – говорит он, – до последних дней
Держали суслика, была и белка,
Отнюдь не крыса, – крысы гадят мелко,
К тому же их наследство потемней».

62. И, в лейденскую банку заглянув,
Он говорит: «Здесь, где теперь гурами,
Жил телескоп, вращающий глазами,
Как заработавшийся стеклодув».

63. Живое торжище избороздив,
Но ничего по бедности не тратя,
Мы ликвидируем довольно кстати
Дарвино-Брэмской страсти рецидив.



Э.Г. Багрицкий.
Чемберлен. 1933 г.

64. И вот мы входим в зрелищный барак,
Задуманный строителем как рынок.
Там, вместо бочек, ящиков и крынок,
Расставлены скамейки для зевак.

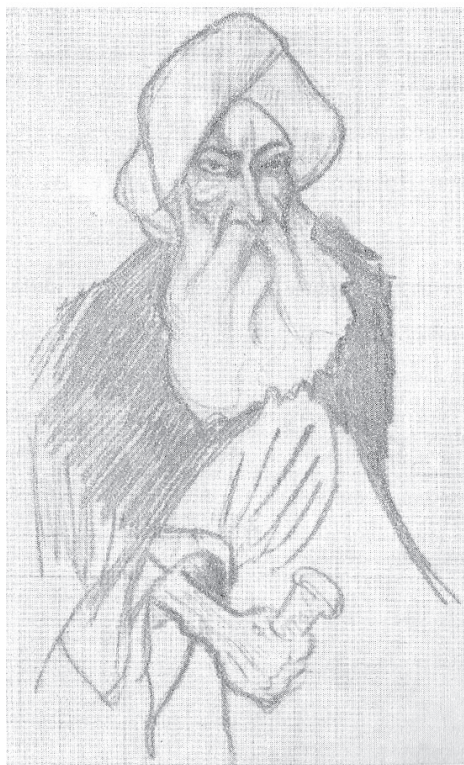
65. «Четыре чёрта». Дьявольски-пылака
Программа их в безграмотном либреттце,
И шесть никелированных трапеций
Висят у складчатого потолка.

66. Вот в пустоте, где синий дым плывёт,
Распластываются четыре тела,
И Дидель наблюдает обалдело
Их головокружительный полёт.

67. Он хищным съёживается котом...
О эти птицы, под защитой сетки
Порхающие в вытянутой клетке
И улыбающиеся притом!

68. О этот фантастический размах
С его математическим расчетом!
На улице, ещё покрытый потом,
Он говорит: «Я вспомню их в стихах...».

69. Куда ж теперь? – Есть женщина. Она –
Волшебница с Нарышкинского спуска,
С душою осьминоного моллюска,
Не по-венециански сложена.



Э.Г. Багрицкий.
Старик в чалме, б. д.

70. Он со двора стучится к ней в окно,
Авось ей «захотится», этой цаце,
«Пройтись» с ним под ручку вдоль акаций
По улицам, где пусто и темно!

71. На шпaеры у женщин аппетит:
Её уже увел какой-то фрайер...
Пусть ломит этот девственный брандмауэр,
Он не обидится, он не сердит.

72. А впрочем, если в корень поглядеть,
На граждан – мор, силёнок маловато.
«Эх, – шутит он, – без доброго домкрата
Рискнет ли хлопец женщину раздеть?..

73. Плевать. Пойдёмте!». Улицы, бульвар,
И мы вдвоём, беспечные, как дети.
Влюблённые сидят на парапете, –
Мы, кажется, счастливее тех пар.

74. Мы с рифмами целуемся взасос,
А в темноте, под нашими ногами,
Лежит минированная врагами
Дорога на Босфор и на Родос.

75. Цикады теплятся у самых ног,
Во тьме попыхивают папиросы,
И стихотворчеству, сладкоголосый,
Подводит он торжественно итог.

76. Торжественней, чем кафедральный хор,
Чем все синагогальные капеллы,
Он открывает слову Дарданеллы
И музыку ведет через Босфор.

77. Ах, отчего при вскрике петуха
Он оборвал, задолго до рассвета,
Тот колокольный благовест поэта,
Тот медный звон пасхального стиха?

78. Ах, отчего так редко я бывал
С тем, чей недуг давно сулил разлуку,
Ах, отчего твою я, брат мой, руку
Ни разу в жизни не поцеловал?

Комментарии автора:

1. Подразумевается квартира матери Багрицкого на Ремесленной улице в Одессе. Я бывал в этой квартире с конца 1919-го года, когда и началась наша дружба.

2. Бриндза – овечий сыр.

4. Комнатные птицы у Багрицкого в ту пору почти не переводились.

8. «Балабуста» – испорченное древнееврейское слово, означающее на разговорном еврейском языке хозяйку дома.

«Цурэс» на разговорном еврейском языке означает горе.

8-9. Речь матери Багрицкого, конечно, сильно шаржирована, так же как и многое другое в этом произведении.

9. «Дюю» – упоминавшийся уже выше памятник дюку де-Ришелье.

12. Столпотворительный – намёк на шумливость и многоязычность южных базаров, похожих на Вавилонское столпотворение.

15. «Доннер веттер» по-немецки – гром и молния.

16. «Журбай» – украинское название степного жаворонка.

16. Новалис – немецкий романтик начала 19-го столетия, которым в рисуемую пору зачитывался Багрицкий.

17. Бендеры, находящиеся на территории Бессарабии, уже были тогда оккупированы Румынией. Перекон тогда находился в руках Врангеля. В те годы вся территория Советского Союза носила название РСФСР.

19. Лепта – мелкая греческая монета, имевшая распространение в Одессе наряду с прочей средиземноморской валютой.

21. «Гимн ночи» – стихотворение Новалиса, переведённое А. Соколовским.

22. «РОСТА» – российское телеграфное агентство, в Одесском отделении которого Багрицкий работал.

27. Описанный способ страховки продаваемой пищи от расхищения был широко распространён в то время на базарах.

28. Обмолочать – обсеменить рыбу икру молоками.

30. Описанный выше рынок можно локализовать для Одессы либо на старом Базаре (на Базарной улице), либо на площади у Нового базара (на Торговой улице). «Голчок», рядом с которым торговали и любительской живностью, находился в районе предместья Молдаванки.

32. Напор воды был в те годы так слаб, что её приходилось доставать далеко внизу, в порту, да и то только в определённых дворах.

33. Астмой Багрицкий был болен уже тогда. Припадки этой болезни его посещали часто, сильно стесняя его в его странствиях.

34. Инкунабулы – книги, печатавшиеся в Европе на заре книгопечатания. За неимением бумаги, для большевистской печати на юге были использованы оставшиеся от старого режима запасы неразрезанной папиросной бумаги, одна сторона которой была чиста, а на другой были оттиснуты бандеролы, служившие для обклеивания спичечных коробок на предмет взимания акциза (налога).

35. Багрицкий участвовал в военных походах Красной Армии в 1919-м году.

36. 1-я строка – видоизменение строки Багрицкого из посвящения к поэме «Трактир»: «И счастьем не насытились вполне...». «Винтовкой помахал» – в «Думе про Опанаса» у Багрицкого это выражение употреблено в строке «не хочу махать винтовкой». В те годы была обычна езда в теплушках, то есть в товарных вагонах с надписями «брутто», «нетто» и т. п.

40. Год спустя на Каспийском море оперировала большевистская флотилия под командованием Ф.Ф. Раскольников.

41. Багрицкий добрался до Ирана (б. Персии).

43. Ассоциация с «Горем от ума» возникает потому, что автор его, А.С. Грибоедов, был русским послом в Тегеране.

46. «Верблюжские полки» – выражение Багрицкого, употребленное им дважды в стихотворении «Голуби».

47. Об Елисаветграде он, также дважды, упоминает в том же стихотворении.

48. Багрицкий мне рассказывал о том, как ему пришлось проехать в поезде по подорванному и готовому рухнуть мосту.

58. Багрицкий был страстным охотником, что в нём уживалось со страстью к содержанию и разведению животных.

61. Лейденские банки употребляются в электротехнике. Стекланые основы этих банок служили в те годы для содержания в них комнатных рыб.

Гурами – порода комнатных рыб. У Багрицкого в аквариумах не раз бывали гурами.

Телескоп – разновидность золотой рыбки, отличающейся сильно выпуклыми глазами. Телескопов, между прочим, Багрицкий не любил, считая их слишком примелькавшимися в любительских аквариумах.

63. Дарвин и Брэм – имена этих естествоиспытателей Багрицкий всегда произносил с величайшим трепетом и уважением.

64-65. Крытое помещение нового базара в Одессе в пору запрещения частной торговли было использовано для цирковых представлений. Особенно оно было удобно для демонстрации номера, носившего название «четыре чёрта». [Акробаты перелетали с трапеции на трапецию над головами зрителей, вдоль длинного рыночного корпуса, к гофрированным железным перекрытиям которого эти трапеции были прикреплены.]

68. Я не знаю, осуществил ли Багрицкий свою мечту написать стихи об этих акробатах.

69. Нарышкинский спуск в Одессе соединяет старую часть города с предместьем Пересыпью.

70. «Захотится» и «пройтись» – парафразы из стихотворения Багрицкого «Весна».

71. «Шпаер» – жаргонное выражение, обозначающее револьвер. Фрайер – жаргонное обозначение бездельника.

72. Подлинная острота Багрицкого.

73. В своей северной части Приморский бульвар в Одессе имеет парапет.

74. Вследствие блокады все воды Черного моря вокруг Одессы были минированы.

75. Иступленный треск цикад – характерный звуковой фон одесских вечеров.

«ШКАФ»

ЕВГЕНИЙ ГОЛУБОВСКИЙ

ЧЕЛОВЕК СОБИРАЕТ КНИГИ, КНИГИ СОБИРАЮТ ЧЕЛОВЕКА

эссе

Не приемлю слово «коллекция» по отношению к книгам. Коллекционируют почтовые марки, монеты, открытки... Книжки собирают, так возникает собрание твоих друзей, с которыми ты общаешься, в которых находишь собеседников, в конце концов, поддержку в трудные часы.

Сегодня я могу сказать, что за полвека сложилось моё собрание русской поэзии XX века, есть книжки с автографами, есть просто очень редкие книжки. А начиналось собрание, по сути, ещё в школе — в десятом классе. Я ходил по улицам Одессы и бормотал про себя строки раннего Маяковского — «Лиличке, вместо письма...». Мне казалось, что я всё знаю о любви поэта, о трагедиях поэта, об его друзьях и врагах. Но меня уже не устраивали бесчисленные советские переиздания, где даже лирика была цензурирована. И я начал заходить в букинистические магазины (тогда их в Одессе было несколько!) в поисках первых сборников Маяковского, тех, что он выпускал, редактировал сам. Так началось увлечение футуризмом, которое пронёс через долгую жизнь, так втянулся в чтение, осмысление Велимира Хлебникова (его вообще в послевоенные годы не издавали), затем пришла пора захлёб читать, бормотать Бориса Пастернака...

Кстати, первой «самиздатовской» книгой, которую мы сделали с моей подругой Мусей Винер, был томик стихов Пастернака. Шел 1958 год, ещё не было сообщений о присуждении Борису Леонидовичу Нобелевской премии, ещё не был прочитан нами «Доктор Живаго», но стихи из романа мне удалось получить в Москве (не только те, что были опубликованы в журнале «Знамя», но весь корпус). Тогда и возникла мысль, хоть в пяти экземплярах (больше не удавалось «зарядить» в пишмашинку),

сделать для друзей книгу Б. Пастернака, как из новых стихов, так и из старых книг из моего собрания.

Естественно, начавшаяся с футуристической поэзии, библиотека росла, как было пройти мимо русского акмеизма — Н. Гумилёва, А. Ахматовой, О. Мандельштама, а потом в круг интересов вошли русские символисты, начиная с первой книги Александра Блока «Стихи о Прекрасной даме», изданной в 1905 году. По сути, сегодня, это начало собрания, а завершает его Иосиф Бродский, все прижизненные сборники которого удалось найти, включая первый, изданный в США, когда поэт был в ссылке.

Постепенно поэзия обростала и прозой. Как можно представить Андрея Белого без романов «Петербург», «Серебряный голубь». Андрей Платонов вошёл в литературу книжкой стихов, но остался в ней прозаиком. Илья Эренбург прежде всего считал себя поэтом, но без «Хулио Хуренито» русскую литературу уже не представить.

Я мог бы рассказать о самых редких книгах в своём собрании. И это была бы одна статья. Там нашлось бы место и литографированным книжкам А. Крученых, и ежемесячному журналу стихов «Остров» №1 (на этом журнал и закончился), изданному в 1907 году тиражом в 30 экземпляров со стихами Макса Волошина, Вячеслава Иванова, Григория Потёмкина, Алексея Н. Толстого... В мой экземпляр вклеен листик: «Редакция: Царское село, Бульварная улица, дом Георгиевского. Н.С. Гумилев».

Я мог бы рассказать о книгах с автографами. Только один пример. На первом сборнике Николая Асеева «Ночная флейта», выпедшем в Москве в 1914 году, дарственная надпись: «И.В. Игнатьеву — Ник. Асеев .914.1.15. Moscow». Трагизм этой

надписи ощущаешь лишь тогда, когда знаешь, что лидер эгофутуристов, поэт Иван Игнатьев покончил с собой через пять дней после получения книги. Игнатьеву было 22 года, за день до того, что он перерезал себе бритвой горло, он женился.

Можно было бы рассказать и несколько «детективных» историй об охоте за той или иной книгой, представить такую своеобразную «андронниковщину», к примеру, как собирались книги одесского издательства «Омфалос», как переписывался с поэтом Зинаидой Шишовой в желании разгадать тайны псевдонимов авторов, составивших сборник-мистификацию «Омфалитический Олимп»...

Но постепенно выкристаллизовалась другая идея. Невозможно себе представить собрание русской поэзии и прозы без ...еврейской полки. Большая она или маленькая, судить тем, кто любит стихи Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака, Саши Чёрного и Эдуарда Багрицкого, прозу Исаака Бабеля и Василия Гроссмана... А я, пожалуй, впервые – именно для журнала «Мигдаль-Таймс» попробовал под таким углом зрения взглянуть на своё книжное собрание. И убедился, что оно не только представительно, но и продуктивно, так как побуждало и побуждает к издательской деятельности, к счастью, уже не самиздатовской.

Естественно, в стеллажах книги стоят не по алфавиту. Но если бы разложить их от А до Я...

Марк Алданов. «Святая Елена. Маленький остров». Берлин. Издательство «Слово». 1926 год. На авантитуле автограф, обращённый к писателю, многолетнему редактору газеты «Новое русское слово» в Нью-Йорке Андрею Седых (Якову Моисеевичу Цвибаку): «С самым сердечным приветом Вам, дорогой Яков Моисеевич от автора». М. Алданов после перестройки начал издаваться в России, вышло его собрание сочинений. Но родился Марк Александрович Ландау (Алданов – псевдоним) в 1886 году в Киеве, окончил два факультета – юридический и химический, стал блестящим стилистом, автором исторических эссе и романов. Его прозой восхищались Иван Бунин и Владимир Набоков. Может, придёт время, когда киевлянина Марка Алданова начнут издавать и в Украине.

Джек Алтаузен. Безусый энтузиаст. Элептическая поэма. Москва. 1933 год. Обложка и рисунки Бориса Пророкова – ставшего в 60-е годы очень популярным графиком. На книге автограф: «Тов. Бойчевскому – усатому энтузиасту литературы. Джек Алтаузен. 22.11.33 года». Почти по М. Светлову можно спросить: «Откуда у парня испанская грусть?». Откуда у Алтаузена экзотическое имя Джек?

В действительности он Яков Моисеевич, но, попав мальчишкой в Харбин, став продавцом газет, приобрёл кличку Джек. С нею и перебрался в 20-е годы на Дальний Восток. Его стихи заприметил В. Маяковский, поддержал Э. Багрицкий. В 1941 году ушёл на Великую Отечественную войну. Первым среди советских поэтов был награждён орденом Красного Знамени. Погиб 25 мая 1942 года под Харьковом, участвуя в неудавшемся наступлении в районе Изюм-Барвенково-Лозовая. И вновь-таки стихи Джека Алтаузена выходят в России, на Украине, где он погиб, стихи его не переиздавались.

Еврейскую полку, начатую буквой «А», естественно завершить буквой «Я». И тут обращаю внимание на раритетную книгу.

Ярошевский Лев. «Песнь песней». Стихотворное переложение библейского текста. Редакция и предисловие Михаила Кузмина. Петроград. 1917 год.

На сегодняшний день стихотворных переложений «Песни песней» существует множество. Но неизменен интерес к первому русскому переложению Абрама Эфроса и второму – Льва Ярошевского. Интересно и то, что в 1919 году, через два года это петроградское издание было повторено в Одессе. Но в моей библиотеке одесского издания книги Льва Ярошевского, увы, нет.

Человек собирает книги, книга собирает человека. Это именно так. Книга воспитывает вкус, определяет род занятий, в конце концов, побуждает к действию.

В шестидесятые годы я прочитал роман Владимира Жаботинского «Пятеро». И буквально влюбился в эту нежную, эмоциональную книгу. О том, чтобы издать её в Одессе, речь не могла идти. Хотелось иметь хотя бы её экземпляр в своей библиотеке. Тем более, что у меня был том Ханма-Нахмана Бялика в переводе Жаботинского. Позднее попало издание «Пятеро», выпущенное в Израиле в библиотеке «Алия», не было возможности сравнить её с парижским изданием 1936 года (мне давали когда-то книгу на одни сутки), но не мог избавиться от ощущения, что в израильском издании что-то не так, изменился ритм. И вот наконец парижский журналист Виталий Амурский нашёл для меня, изданный в Париже томик «Пятеро» с иллюстрациями одесского художника МАД'а. Это было в конце восьмидесятых, во времена перестройки. И вот уже в 2000 году в одесском издательстве «Друк» вышел том «Пятеро», где текст Владимира (Зева) Жаботинского сопровождался статьями Е. Каракиной, А. Мисюк, А. Розенбойма, Е. Свенцицкой и моей. А затем, в том же издательстве, я

выпустил стихи и поэмы Хайма-Нахмана Бялика в переводе Жаботинского, повторив петроградское издание 1917 года. Третьим томом стали «Стихи и переводы» Владимира Жаботинского, изданные Марком Соколянским и мною.

Так библиотека подсказывает, как воскрешать литературу, возвращать забытое.

Иногда это отдельные книжки, иногда публикации в альманахах и сборниках. Я очень обрадовался, что неустанный исследователь литературы XX века Вадим Перельмутер подготовил и издал том стихов и прозы Георгия Шенгели, куда впервые вошла замечательная поэма «Повар базилевса». Но одновременно и огорчился, что в этот том не вошла стоящая на моей полке книга Г. Шенгели «Еврейские поэмы», изданная в Одессе, в 1920 году. Когда-то этот томик подарил мне выдающийся одесский историк и археолог П.С. Карышковский. Как книга в книге вышли «Еврейские поэмы» Г. Шенгели в сборнике Одесского литмузея «Дом князя Гагарина». А недавно я получил письмо от В. Перельмутера о том, что он подготовил новое издание Г. Шенгели, куда включил и этот томик стихов.

Библиотека, собрание книг всё время побуждают к созидательной работе, к желанию заполнять лакуны в живой литературе. У меня хранится сборник «Чудо в пустыне», изданный в Одессе в 1917 году, подаренный мне литературоведом, профессором А.В.Недзведским. В книге стихи Э. Багрицкого, П. Сторицына, А. Фиолетова (это одесситы), но наряду с ними – В. Маяковский, В. Шершеневич. На книге автограф: «Милому, глубокоуважаемому Скальковскому Ан. Фиолетов. 1917 год, 4 марта».

Замечательные стихи А. Фиолетова, включая знаменитое «О лошадях простого звания», сами требовали переиздания. Но не хватало «малости» – первого сборника стихов А. Фиолетова «Зелёные агаты», не сохранившегося ни в одной из одесских библиотек. Немало прошло времени, мы с Александром Розенбоймом писали и публиковали статьи, запрашивали коллекционеров и в конце концов нашли эту книжечку, проследили биографию Натана Шора (подлинное имя и фамилия Анатолия Фиолетова). В результате родилась книга, изданная в Одессе в 2000 году. Старался не цитировать тексты, но тут не могу не познакомить читателей со стихотворением Фиолетова, которое знали и любили Ахматова, Бунин, Катаев.

*О сколько самообладания
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования!*

В моём собрании книг несколько сборников стихов Веры Инбер. И самый первый – «Печальное вино», изданный в Париже в 1914 году с иллюстрациями Осипа Цадкина, ставшего впоследствии всемирно знаменитым скульптором. И второй – «Горькая услада», выпущенный в Петрограде в 1917 году, на нём автограф «Милым и чудесным Кемперам с любовью Вера Инбер. 26 ноября 1917 года. Москва». Напомню, что В. Кемпер выступал на эстраде под псевдонимом Владимир Коралли (муж Клавдии Шульженко). Но больше всего я люблю третью книгу Веры Инбер «Бренные слова», выпущенную в Одессе в 1922 году. Именно эту книгу я и вернул читателям, переиздав её и постаравшись объяснить, что произошло с талантливым поэтом и прозаиком (вспомним её повесть «Место под солнцем») во второй половине 20-х годов. Её обуял страх. Закономерный, так как она была двоюродной сестрой Льва Троцкого. Вера Инбер не замолчала. Хуже, она начала петь не своим голосом. Пропал талант.

Естественно, я условно назвал эти книги из своего собрания «еврейской полкой». Но продолжая смотреть на стеллажи. Вот передо мной книга – «У стен Вавилонских. Национальная еврейская лирика в мировой поэзии». Составил Л.Б. Яффе. Издательство «Сафрут». Москва. 1917 год. Здесь библейские стихи К. Бальмонта и И. Бунина. В. Гюго и Г. Гейне, В. Соловьева и А. Майкова в одном ряду со стихами Х.-Н. Бялика и В. Жаботинского.

А вот сборник стихов Леонида Гроссмана «Плеяда», изданный в 1919 году в Одессе. Леонид Гроссман, конечно же, больше известен как прозаик. Но я рад, что и эта книга стихов вошла в сборник Одесского литмузея «Дом князя Гагарина» как книга в книге.

Последнее моё издательское приключение – возвращение в литературу после 50-летнего забвения погибшего на фронте писателя Ефима Зозули. Кто знает, быть может, всё началось со стоящего у меня на полке альманаха «Трилистник» за 1922 год, куда входил и рассказ Ефима Зозули. Но, надеюсь, что о выпущенной в этом году в издательстве «Пласке» книге Зозули «Мастерская человека» ещё придёт время писать в этом журнале.

Иногда кажется, что будь у книг голос, они бы громко требовали: «Переиздай меня!».

Кто крайний в очереди? – как любили когда-то говорить в Одессе. Может, Пётр Моисеевич Пильский, который вывел на литературную сцену Багрицкого, Катаева, Олешу, замечательного эссеиста, издавшего в Риге в 1929 году книгу «Затуманившийся мир». На моём томе печать писателя

Антанаса Венцловы, отца выдающегося поэта Томаса Венцловы, друга Иосифа Бродского.

А может, Юрия Казарновского, попавшего в ГУЛАГ ещё в 20-е годы, выпущенного на год-два, вот тогда-то, в 1936 году, и была издана его книжка, но в 1937 году автора вновь забрали, сборник уничтожали, где могли. Мой экземпляр с автографом

«Сергею Бондарину – в знак дружбы и любви. Ю. Казарновский. 12.36».

Книги побуждают к действию. Действительно собирают человека. А это ведь и есть вечный двигатель, над изобретением которого тысячелетия ломало голову человечество.

ЕМЕЛЬЯН МАРКОВ

ПОЭТИЧЕСКАЯ СОЛЬ ЕВГЕНИЯ ЧИГРИНА

(О книге Евгения Чигрина «Неспящая бухта». Москва: «Время», 2013)

«Литература, язык – субстанции более древние и непреходящие, нежели любая форма общественной организации... Разговоры о том, нужна поэзия или нет, являются праздными», – говорит Е. Чигрин в одном из интервью.

Да, действительно, эти разговоры являются праздными ещё и потому, что разговор о необходимости поэзии происходит в ней самой. И речь не о классическом пушкинском разговоре Поэта и Книгопродавца. Поэзия вроде даже устала от самодоказательств. Русская поэзия всегда пребывала в этой тревоге и в этом комплексе своей социальной и метафизической вины, она грезилась о чистом искусстве, но и в нём (особенно, у А. Фета) сквозила редуцированная социальность, напряжённый социальный конфликт. Сама интимность в нашей поэзии была остро социальна.

В советской легальной поэзии этот конфликт в сильной степени сублимировался в конфликт классовый. Когда же враждебные классы были, мягко говоря, упразднены, класс победивший стал писать о своём, классовом же, одиночестве. Звучит до анекдотичности цинично, но доля правды в такой печальной шутке есть. Классовое одиночество явление трагическое для нашей Родины, оно породило множество хороших стихотворных строк, но одновременно задавило многие таланты.

Те же, кто пребывал вне этого классового одиночества (Леонид Губанов, Венедикт Ерофеев, И. Бродский, пока не уехал), выглядели, как павлины, клюющие окурки на стесанном городском асфальте.

Но благословенное время самиздатовской свободы достаточно давно окончилось. Что же теперь происходит с самодоказательствами русской поэзии, сохранился ли в ней извечный социальный конфликт и, с другой стороны, что стало с означенным классовым одиночеством?

Евгений Чигрин выносит свою поэзию за рамки социальной злободневности. Но это не

значит, что он пребывает вне её. Он выносит постоянно, перманентно, в этом «выносе» – естественная динамика его поэтики. И «вынос», наоборот, как правило, обостряет социальный конфликт, соотнося творчество Чигрина с той самой досоветской русской традицией явного, или скрытого в робком дыхании, социального конфликта.

Перед нами новая поэтическая книга Чигрина «Неспящая бухта». Вот строки из стихотворения первого раздела «Островистые земли»:

*...Не в первый раз – ограмная зима,
в которой холод с Колыму размером,
Вся местность – ступор, снежная чума,
губерния, в которой я шамерам...*

Стоит сразу обратить внимания, что вынос здесь наблюдается не только из внутреннего социального конфликта, но и вообще из языка. Мандельштам сравнивал писание стихов с прыжками через залив с джонки на джонку. Поэзия и должна выпрыгивать из стереотипов общепринятого литературного языка: от общепринятых явлений языка к языковому вечному бытию. Так только самовозраждается язык и литература. В этих строках нет привычной красоты, но красота и не может быть привычной. Культура гибнет под грузом общепринятых красот.

Социальность же здесь заявлена вроде бы со всей очевидностью. «Колыма», внутренне срифмованная с «зимой» и «чумой», отсылает нас не к поэзии, а к прозе Варлама Шаламова, и вообще лагерной теме, ставшей для русской культуры одной из стихий, как та же зима. Ощущение себя «гомером с маленькой буквы» тоже очень природно русской словесности, тут намечается возвращение к величию «маленького» человека; здесь удар по «равноправию», как советскому, так и либеральному, это самое величие «маленького» человека исключаящему, – раз уж все равны...

Но какой же тогда вынос из социальности? –

возникает вопрос, – где он тут?

Стихотворение заканчивается:

*Над старым портретом в изворотах тьма,
Как будто после демонского штурма.
Закончить чем? Я успокоюсь тут?..
Хлебну вина и выйду в сновиденье,
Чтоб видеть – рай по облакам везут...
Какое, нахрен, чудное мгновение?..*

Вынос тут происходит не «в сновиденье». В «сновиденье» выноса нет, в одних показанных облаках было бы именно выполнение внутреннего социального заказа, мнимый катарсис. Эстетический вынос совершается в последней бранной строке. Поэт не кощунствует, а словно бы перечеркивает своё же только написанное стихотворение. На самом же деле, тут и происходит герменевтика, очищение смыслов, доходящее до изначальной белизны бумаги.

Переберём теперь некоторые первые и последние строки дальнейших стихотворений.

Первая: «...ну конечно, припомню: дыра, захолустье, отшиб...»; последняя: «II глагольной рифмой светилось...».

Первая: «Я давно за себя не похож, я давно на себя...»; последняя: «II любые стихи обрастают Его тишиною...».

Первая: «В последнем сновиденье видел, как...»; последняя: «...Шаги в подъезде. Звяканье ключом...».

Первая: «Мифическому сыну? Простаку?...»; последняя: «Да смахивать невидимые слезы».

Каждое стихотворение словно бы перечёркивается невидимой (как слёзы) чертой. Оно словно бы запахивается и отворачивается, оно отрекается от самого себя ради... Чего ради? Возвращаемся к природной социальности русской поэзии. «Эго» поэзии Евгения Чигрина в остро социальном аспекте отворачивается от самого себя, словно отмахивается, иногда зло даже высмеивает не просто себя, а свою субъективную метафизику.

Но что, самое время припомнить скептицизм Дэвида Юма?.. Нет. Стереотипы и привычная красота должны избегаться и даже побиваться искусством. Но – не канон.

Одной из опорных в книге является тема Киммерии (Черноморья). Серебряный век окаменел в Киммерии, как профиль Максимилиана Волошина в абрисе Карадага, окаменел, может быть, под каменящим взглядом Горгоны-революции. Но – галька коктебельского побережья держит тепло ступней Марины Цветаевой. Осип Манделштам и теперь сидит в чуткой голубой тени на портовых задворках и внимает отсюда синему шелесту морской каймы, примеривается к ней, как портной... Впрочем, ока-

менение это скульптурно, оно архитектурно и живо во всех своих ракурсах. Это и есть канон. И этому канону истово, с суровыми, если не сказать – фанатичными, трепетом и иронией следует Чигрин. Каноническая Киммерия выступает у него далеко за свои историко-географические рамки. Доходит до прямого именного священного упоминания.

*По Волошину, серая роза
Расцветает... Спускаюсь в метро,
Там дымится ничья папироза,
Грязновато и как-то мертво...*

Далее:

*Расцветает, как серая роза...
Дождь стучится по крышам кафе.
На листву точно сыпнула оспа –
Это осень. Аппи подшофе.*

Описание Парижа. Но в этом описании та же Киммерия. Та же верность ритмическому канону, заданному Максимилианом Волошиным, Вячеславом Ивановым, Валерием Брюсовым. Чигрин сохраняет канонический шаг, величавую походку, остаётся в ритме канонического танца. И «священные камни Европы», и озарённый мрамор Агры, и журчащий миражами песок Сахары у него солонят выптербленным побережьем Кафы (Феодосии) и сухими слезами московского тротуара.

*Ну конечно, смогу пережить одиночество
с крымским портвейном,
Пробираясь на лучик стиха, ну конечно,
путём нелинейным
Между бытом и вечностью, и –
то ли родиной, то ли душою,
Это – искренний бред, это –
свет старой лампы в объёме с изгой*

*Этой жизни, в которой теперь ничего,
ничего не исправить...*

Ритмический канон чётко организует поэтическое пространство текста.

Повторимся, в «сновиденье» выноса нет, но в особом качестве сновидение погружение в стихах Чигрина безусловно есть. «Самоосмеяние» Чигрина Игорь Белов характеризует английским словом *understatment* (принижение): «Особую же силу всем его стихам, как мне кажется, придаёт неповторимый чигринский *understatment* – сдер-

жанность человека, отдающего себе отчёт в том, что он способен и должен сказать...» – шипит И. Белов в своей статье «Вызывающе другой». Думается, что здесь присутствует не столько шик битнической негативной куртуазности, сколько своеобразный переход в поэтический транс, особый бдительный сон («Поэт? Спящий», «Все спящей видели меня, / Никто меня не видел сонной». – Марина Цветаева). Обыкновенно, поэт сразу выходит к этому сну. Чигрин же – застрельщик в передаче перехода от будничного бдения к тому самому поэтическому сну. Но и сон у него сугубый (держим в памяти противоположный по смыслу эпитет в названии: «Неспящая бухта»). Это – тайнопись, затягивающая читателя в реальность «вещей в себе», в которой границы между вещами не размыкают, а соединяют, сплавляют вещи. Проследим этот поступателный переход:

*Я давно на себя не похож, я давно на себя
Не похож, – говорю, слышу голос настывшего ветра,
Что взьерошил листву и, в незромкие трубы тубы,
Притащил на хвосте, как ворона, холодное лето.
Я давно на себя, я давно на себя, я давно...
Вот заела пластинка!.. И полночь виниловым цветом
Обросла хорошо, вот такое случилось кино...
Я меняюсь, старею, я вижу: проснувшийся летом,*

*Постучался в окно мотылёк, в постороннюю жизнь...
Может – это посланье под лампой настольной сумею
Переделать в стихи? Может, ангел кому-то «проснись» –
Говорит-говорит... И как будто бы ветер аллею,
Как младенца, качает, и бродят беспечные сны...
Беззаботное лето к светилу прижалось щекою,
От которого много в виниловой тьме белизны
И любые стихи обрастают Его тишиною...*

Сперва передаётся действительно будто бы засыпание, сонное забытие, а вот последние пять строк это уже переход в другую «вязкую» реальность.

Павел Басинский в статье «Поэзия вопреки времени» отмечает: «...у Чигрина есть своя поэтическая тема, своя поэтическая “география” даже. Восток, Индия, Крым... Его стихи тягучи, как солнце Востока, как крымское вино...». Нас из этой оценки более всего притягивает именно определение «его стихи тягучи». Может быть, как вино, но ближе тут как раз слово «вязкость», созвучное «вязи», в которой буквы срastaются в единую ветвь.

Но есть и обратный путь, дверь открывается в обе стороны. Буквально в следующем стихотворении «Бухта» мы видим ход обратно – из тайнописи к understatement:

*Бубен ветра в пределах бухты,
Сколько смотришь – везде песок,
Хоть пиши песочные буквы,
Всё Восток, да опять Восток.
Голос кайры – глухое чудо,
Солнце выпито, ровно ром,
Да пуста, как душа, посуда,
И молчишь таким дураком,
Что ещё бы глоток – и в море –
В запотевшее темнотой...
Не барахтаться бы в глаголе,
Не лепить...*

И тут поэт вставляют бранное словечко в свой адрес. Есть вход в эту прозрачную смолу, но есть и выход. Весьма важный момент в духовном смысле. Тут как раз и реализуется understatement в русском уже смысле, в смысле смирения. Поэт не преобразился до романтической неузнаваемости в поэтической смоле, у него только руки в этой смоле перепачканы, как у мальчугана, который мечтает:

*Флибустьерам за чёрной музой,
Рыбаком Галилеи за...
В оболочке таких иллюзий –
В неслучайные чудеса.
Там экзотика полным цветом:
Крабы в камешках... Сундуки...
(Это тянет пиратским бредом,
Это Флинт закоптил мозги.)*

Такова амплитуда поэтической самоориентации, хронометраж самосознания главного (лирического) героя стихов Чигрина. Потому Юрий Кублановский и отозвался о нём: «Стихотворения Евгения Чигрина – своеобразный сплав меланхолии с боевитостью, лирики – с потребностью объясниться без обиняков. Его лирический герой цепок и подслеповат, простодушен и ершист разом...». Кублановский тут отмечает эдакую противоречивость натуры поэтического «я» Чигрина. Но суть, соль, этих противоречий, на наш взгляд, именно в означенном обратимом переходе.

Два стихотворения процитированы подряд неслучайно. Так же закономерен в этой статье вариативный анализ противоположных точек достижения маятника поэзии Чигрина. Вся книга «Неспящая бухта» представляет собой метафизический роман в стихах. Метафизика его и заключается в этом ритмичном переходе от физики к метафизике и обратно.

АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО**О КНИГЕ ЛЕВОНА ОСЕПЯНА**

(О книге Левона Осепяна «Как я однажды чуть не затопил Венецию». Москва, Гуманитарий, 2014)

У писателя и общественного деятеля, главного редактора журналов «Меценат и мир» и «Арагаст», Левона Осепяна увидела свет книга малой прозы. Короткие рассказы, эссе, работы о Пиросмани и Лермонтове. Самое ошеломительное впечатление производит, конечно, рассказ, давший название книге – о затоплении Венеции. Когда следует серия чисто исповедальных рассказов, от первого лица, меньше всего ожидаешь от автора какого-то подвоха. Тем более что до этого он говорил «правду, правду и только правду». Может ли такой автор рассказать нам что-нибудь в стиле знаменитого барона Мюнхгаузена? Может. И, конечно же, мы неизбежно ему поверим, ибо до этого он никогда нам не врал. Рассказ «Как я однажды чуть не затопил Венецию» и восхитил меня, и одновременно озадачил. Как такое может быть, чтобы человек, открыв обычный водопроводный кран, чуть не затопил большой город? Как вода может нестись быстрее электрички? Несомненно, здесь мы имеем дело с фантазией на тему Ноевого Ковчега, близкую каждому армянину!

«Не только Венеция! Не только Италия! – почти вся Европа была под водой... Только макушки горных вершин торчали кое-где, напоминая о прошлом величии некогда просвещённой и “мудрой” Европы...».

Не иначе, это возмездие матушке Европе за недружественные санкции! Рассказ о затоплении Венеции венчает у Левона Осепяна цикл коротких рассказов, начинающихся с «Как я однажды...». В первом из них Левон перебирает в памяти, как чётки, случаи, когда он запросто мог расстаться с жизнью. И случаев таких набирается у него немало. Всё это рассказано, конечно, не для того, чтобы пострадать читателя. Скорее – для того, чтобы показать, каким чудом является наша жизнь, если она в любой момент может так внезапно оборваться. Всем памятна слова булгаковского Воланда о внезапной смертности человека. Наверное, каждый может вспомнить из своей жизни, как минимум, несколько случаев опасной близости к смерти. Даже если человек не участвует в войне и не живёт в мегаполисе, он всегда, сам того не подозревая, подвержен смертельной опасности. Однажды я читал биографию Николы Теслы, и меня поразило, что живя в глухой деревне, будущий великий учёный несколько раз чуть не погиб ещё в младенчестве.

Существует ли некий «отбор свыше» лучших людей в подобных критичных ситуациях? Нам очень хочется верить, что такой отбор существует. Но вероятнее всего, что для Бога все равны – и малые, и великие. Многое зависит от силы личного ангела-хранителя. Сильный ангел-хранитель может оказаться у совершенно пустого и никчёмного человека. И наоборот, гений может оказаться абсолютно незащищённым. Вот такие мысли возникли у меня по ходу чтения рассказа Левона Осепяна «Как я однажды чудом избежал смерти».

Тема жизни и смерти ещё будет «аукаться» в книге Левона Осепяна в судьбах Пиросмани и Лермонтова. А пока Левон рассказывает нам о своём новом увлечении – фотографии. По собственному признанию, он начал фотографировать в 55 лет. С тех пор фотография стала важным делом в его жизни. Настолько важным, что некоторые люди не знают Левона Осепяна как писателя и редактора, зато отлично знают как фотографа. Такой вот неожиданный поворот в судьбе. И символично, что книга Левона Осепяна «Как я однажды чуть не затопил Венецию» заканчивается его избранными фотопортретами – ещё одной обрётённой творческой ипостасью этого замечательного и неординарного человека.

Особняком в новой книге Левона Осепяна стоят его рассказы о Пиросмани и Лермонтове. Что мы знаем о жизни Пиросмани? Очень немного. Вспоминается разве что знаменитая песня на стихи Вознесенского. Но это – лишь один красивый эпизод из жизни грузинского художника. Читая Левона Осепяна, я был поражён, насколько нетривиально выстраивает автор своё повествование о Пиросмани. Он ведь начинает... со смерти художника, а потом рассказывает о его жизни. Как будто это уже «потусторонняя» жизнь, граничащая с бессмертием. Левон Осепян показывает Пиросмани очень ранимым человеком, не от мира сего. Его постоянно преследуют видения, от которых он не может избавиться. Маленькие рассказы Левона Осепяна о Пиросмани не менее трогательны, нежели песня о миллионе алых роз. Просто жизнь отличается от легенды отсутствием нарочитых красотостей. Из повествования Левона Осепяна мы узнаём, что Пиросмани не мог продать свой дом и все картины, чтобы подарить любимой море цветов. По той простой причине, что своего дома

у Нико никогда не было, а картины он писал на чём попало – даже на клеёнке, и обычно они были заранее проданы – за еду и ночлег. Но, что самое интересное – короткие рассказы Осеяна, приближённые к реальной действительности, обладают не меньшей, на мой взгляд, поэтичностью, нежели легенды о Пиросмани. Потому как поэзия жила в самом Нико. При всей его безалаберной и нищей жизни, духовно он был богаче многих. Думаю, что Левон Осеян обнаружил много родственного в душе с грузинским художником. Поэтом он повествует о нём с такой любовью и неподдельным сопереживанием. Вроде бы рассказы составлены из разрозненных фрагментов, а картина получается цельная. Это – мастерство. Это – своё видение. И, как бы в подтверждение моих слов, Левон Осеян

в другом своём рассказе сводит воедино дуэль Лермонтова, дуэль Пушкина и стихотворение «Смерть Поэта». Сколько уже сказало на эту тему! И сколько ещё будет сказано! Но Левону Осеяну удалось рассказать дуэльную историю Михаила Юрьевича и Александра Сергеевича по-своему. Редкое умение! Когда я уже заканчивал писать эти заметки, свою новую книгу подарил мне известный поэт и искусствовед Станислав Айдинян. Портрет на обложке книги Айдиняна показался мне очень знакомым. «Эврика! Да это же фоторабота Левона Осеяна из его книги о затоплении Венеции», – воскликнул я. Здорово, когда человек талантлив сразу в нескольких видах искусства! Пример Леонардо да Винчи заразителен и для наших современников!

АНДРЕЙ КРАЕВСКИЙ

МЕХАНИКА НЕБЕСНЫХ ЖЕРНОВОВ

(О книге Станислава Айдиняна «Механика небесных жерновов: Стихи двух веков». Москва: «Гуманитарий», 2014)

Слово, появляющееся в формате печатной продукции, в наше время является достаточно смелым авторским шагом. Развитие электронных средств массовой информации, а также электронных носителей, девальвирует книгу в традиционном её виде не только у молодого поколения читателей, но и у поколения среднего, уже привыкшего относиться к компьютеру чуть ли не как к члену семьи. Да, что уж там, как к члену семьи – как к своему второму я. Взять в руки книгу, прочитав несколько строк, закрыть её и задуматься о прочитанном – примета уходящего времени, неотъемлемое свойство старшего поколения, которое ещё умеет получать удовольствие не только от сопереживания прочитанному, но и от самой книги, продукта полиграфического производства с характерным запахом краски, слитых при разрезании страниц, фактуры и сорта бумаги, обложки, иллюстраций. Нам, старшему поколению, Станислав Айдинян сделал такой подарок, написав и издав свою книгу «Механика небесных жерновов».

Книга Айдиняна необычна. В ней автор разместил свой поэтический багаж, накопленный им за несколько десятилетий, и отправил в книжной оболочке, словно в незримом транспорте, в длительное путешествие по душам и сознанию читателей. На станциях (это читатели) багаж подвергается досмотру, изучается сотрудниками станции, возможно, переключается из одного вагона в другой (не всегда читаешь сборник стихов с начала

до конца в последовательности, предложенной автором); в конечном итоге вагон, покинувший станцию, оставляет на платформе немного погрузивших её сотрудников, чьё эмоциональное состояние сродни состоянию того, кто расстался с любимой женщиной (всегда испытываешь подобное, заканчивая читать интересную книгу).

А книга Айдиняна по-настоящему интересна. Интересна внезапно открывающимися перед читателем мирами, вообразить которые без помощи автора ему было бы невозможно. Не каждому посчастливится воспринимать Вселенную так, как это удаётся Айдиняну, человеку, в ком гармонично зазвучал симбиоз культур. Армения и Греция, Юг Украины и Москва – плодами четырёх древ культур вскормлен с малых лет был Станислав Айдинян, и они-то сформировали в нём тот удивительный мутуалистический симбиоз культур, который позволяет ему воспринимать не только явь, но и миражи, как если бы он сам принял участие в их создании. Плоды четырёх древ наделили Айдиняна ещё одним очень редким качеством: кроме таланта восприятия, в нём развит не менее яркий талант изложения. Его способность делиться увиденным и пережитым даёт нам возможность стать хоть на миг причастными к удивительным, хорошо отшлифованным бриллиантам из миров, в которых побывал Айдинян, которые живут в нём, образами которых он с нами щедро делится.

*Я ездил на двух черепахах тогда, —
 Не гасла на небе ночная звезда,
 Узором восточным пылился мой путь,
 Возница не мог бы волов повернуть.
 Мои черепахи — степные волны
 Меня протащили и мимо беды,
 И мимо ненастья, и мимо золы,
 И мимо углей, что под ней до поры...*

Для европеизированного менталитета, воспринять и стать сопричастным медленному, но неуклонному продвижению жизни — задача неразрешимая. Только тот, в ком Восток органически воплотился в способ мышления и существования, в ком славянское неудержимое стремление к постижению неограниченных пространств позволяет стать сопричастным вселенским процессам через своё продвижение во Времени, только тот и есть частица Мира!

*Проснутся мои черепахи тогда,
 Когда вновь появится свисше звезда,
 Откроют глаза, выпрямляя мой путь,
 С которого мне никогда не свернуть...*

У Мира, по которому путешествует Айдинян, своя особенность: он не придуманный им, он им почувствованный и осознанный, как огромная общность таких же, как и он — неразделимых с Миром. С Миром Прошлого и Настоящего. С Миром Чувственным и не всегда Осязаемым. В этих мирах не всегда дороги прямые, есть на этих дорогах мосты, полуразрушенные, опасные для прохода, — но есть. И вот, по этим мостам мы устремляемся со Станиславом в увлекательные, хотя и опасные передвижения по мирам, частью которых являемся сами, хотя и не всегда это понимаем.

*Средь буйных зарослей алоэ
 Не слышно криков — «звезды...»
 Колючки кожистые тропы,
 От Азии и до Европы
 Пути исхожены уже...
 Но утешает подорожник;
 Стопу нагую проколов,
 И боль — как жертвенный треножник
 Дымится кровью,
 В изголовье
 Нас сторожит Небытие...*

Но нет, не стоит полагать, будто автор, насыщенный впечатлениями, оглушённый громами гибнущих эпох, превратился в глашатая депрессивного пессимизма, проводника фатальной

безысходности, раз за разом наступая на укрытые дорожной пылью тернии, что обагрены кровью путника. Автору ведома спокойная и величавая нега природы, ведь он часто встречает на пути своём созвучие душевных звонов, прерывает свой путь, растворяется в симфонии природных голосов и, не замечая Времени, любит пространство, частью которого является сам.

*Земля клубится дымно, как туман,
 Туман клубится дымно, как земля...
 В тумане скрылись тропы и поля,
 В тумане скрылась горная страна,
 Которой нет на карте, есть — во снах;
 Там птицы крик ночной — как тяжёлый страх,
 И горы есть, и скалы, и заря...
 Которой имя — тайна — Хайастан...*

ОСЕННЯЯ ТАРУСА

*Таруса пригласила к Оке...
 Тропинки близ домишек тёмных
 Ведут ко храму на горе;
 Леса вокруг густы, укромны...
 Поляны трав быстрее пройти,
 Песка недлинная полоска
 Внизу виднеется неброско.
 Там плотогоны по реке
 Сплавливали брёвна по течению,
 И между листьев — тени, тени...
 Догонят по пути к реке.*

Дорога... Всякий ли путь — дорога?.. А поскольку с дорогами у нас, как и с дураками, проблем никогда не было (чем богаты, тем и рады!), то в дорогу, обычно, стараются взять с собою попутчиком того, кто не напугается ужасами, вызываемыми передвижением по этой, прости, Господи, дороге. Станислав Айдинян, вдоволь хлэбнувший напастей и недоразумений во время своих передвижений по Пространству, умеет выбирать себе попутчиков. Их души созвучны его душе, их взоры не замутнены неудачами и обидами — дорога для них это жизнь со всеми характерными коллизиями и радостями, печалью и красотой. И только в пространстве нашей цивилизации можно встретить таких попутчиков, с которыми не страшна никакая дорога...

*Ты безумна немного,
 Это к воле дорога
 По тропинкам запретной страны.
 Ты мечтаешь?
 Мечтанья создают очертанья,
 Воплощая тревожные сны...*

*По дороге до Трифа
Ты себя позабыла –
Лёгкой, гибкой в волнах.
Осыпается осень –
Лист небесный и просинь
В огневых облаках.*

Любит Айдинян своих попутчиков, как если бы спасали жизнь друг другу на пути... Их имена в циклах «Поэты Одессы», «Поэты Москвы», «Художники», «Современники». Вот и Юлия Долго-рукова или Катя Фальц-Фейн, Люсьена Клаушник... искренние попутчицы.

А Время тоже движется мимо путешествующих, правда, не всегда линейно, иногда дискретно, порою – вспять. Когда случается внезапная остановка на дороге, остановка Времени, невозможно не увидеть – здесь прошла война. Война, как буднично порою звучит это слово, как будто не война это вовсе, а соседка, ежедневно встречаемая по пути на работу, уныло бредущая в магазин всегда в одно и то же время за молоком для детей и хлебом для семьи. Много её было, так много, что порою кажется – не вспомнишь, забудешь тех, кто близок и любим был тобою вчера.

ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ВОЙНЫ

*Туда, где не растёт зерно,
Проникла мысль – её июлю
Был вихрь – и всполохи – и стон
Над омертвелою землею.
И мысль кружилась над тем,
Где раньше люди, люди жили,
Та мысль – последней смерти тень
Над братски-тёплой могилой.*

И вот –

ХИМЕРИОН.

Айдинян встретился однажды в Одессе с необыкновенным творчеством известного в прошлом врача-профессора Георгия Цомакиона, всю жизнь создававшего химеры – визуальные, материализованные образы искушений, соблазнов и страстей, глубоко проникающих в подсознание, вынуждающих принимать миражи за реальность бытия, неотвратимо влекущих человека к гибели, гибели человека в нём. Как сказал однажды Илья Рейдерман, поэт и одессит, Айдинян «...как бы хочет эти химерические существа понять изнутри. Они – сгустки тьмы, они больны необъяснимою тоскою и влюблены в пустоту. Однако они вклю-

чены в чертёж творения, и у них есть право на существование».

*Химера ждёт за углом,
Мы обойдём кругом,
Убедимся – химера ждёт,
Как крысу в подвале кот.*

Переворачиваешь страницу, а там – новое внезапное открытие:

*Собака – злобная преданность,
Кот – бархатная хитрость;
И оба прозорливы и лживы,
Как маркизы при дворе короля Людовика
В то садово-парковое,
блистательно-порочное время...*

Это известные «Химеры» Айдиняна, с которыми внезапно сталкиваешься при изучении его поэтического багажа. Как известные давным-давно, с детства, наверное, вещи или явления, вдруг увиденные с незнакомого ранее ракурса, представшие перед нашим взором другим ликом, скрытым от прежнего восприятия. Как много мы знаем о мире и о себе... Как мало мы знаем о себе и о мире! Ищем, рефлекслируем, путаемся в мыслях, сбиваем в кровь ноги и костяшки пальцев на руках, вызываем о помощи к совести людской, к высшим силам – ответа не находим. Но стоит перевернуть ещё две страницы, как замечаешь, что впереди, наподобие далёкому свету в тоннеле, начинает слабо брезжить путеводная звёздочка, а ты, не выпуская её из виду, мало помалу осознаешь ничтожность своей сопричастности происходящему, подобной той, что испытывает статист, участник бенефиса известной примадонны на сцене всемирно известного театра. Спектакль сделан теми, о ком и в будущем будут помнить: режиссёр, примадонна... Не вспомнят никогда статистов... И вот это понимание тоже благо, благо понимания своего места в мироздании, своей ниши в небоскрёбе, своей роли в театре жизни и... смерти.

*Химера под крылом несли чертёж
Переустройства мироздания,
Но лапу ей подставил друг-Грифон...
В отместку за непониманье
И за вниманье к суете земной...*

Привыкнув оценивать всё происходящее по двухбальной шкале, рассматривать явления только в чёрно-белом их проявлении, без полутонов и других красок, не стоит пускаться в рассуждения

о Добре и Зле. Ригоризм суждений, заключённых в подобные шоры, грозит духовным коллапсом, затягивающим дух и плоть в дыру, безысходное Чёрной. Где выход? Можем ли мы его обнаружить, вооружённые двумя тонами? Никогда... Что делать? Не судить.

*Химера под именем «Нет»,
Спорит с химерой под именем «Да»,
Их столкновение – бред,
Их столкновение – беда.
Между ними провал в неизвестность,
Во невесомость тройных равновесий;
Где третья точка – дыра
В Бесконечность,
Откуда сквозняк,
От которого прячется
Чаще за «Нет»
Реже за «Да», –
Левой и правой точки винта –
Парохода Вселенной...*

Только балансируя, ничего не отвергая и не принимая на веру, только полагаясь на интуицию и жизненный закон Любви, вызывающий к преданности, только так можно, преодолев наваждение химер, найти тот Мир, где «Полёт фаворского огня – К Христовой выси поднебесной». Тот Мир, о котором грезил Велимир Хлебников и пытался эскизировать Блок, мелькавший миражами перед взором Гумилёва, который угадывал Айдинян, определивший химеричность возникающих на пути к нему преград.

*Химеры – существа из мглы,
Химеры – лунных листьев блики,
Химеры – порожденья стыков
Миров, что без любви больны.*

Дочитана последняя строка. Поезд ушёл... Куда он увёз стихи, подобные самым близким и необходимым в жизни друзьям, по каким-то неведомым причинам не успевшим выйти из поезда к нам на платформу? Разочарование? Нет, ожидание их возвращения и надежда, что обрётённая уверенность в собственных силах поможет жить в совсем не однозначном мире. В Мире, не всегда здоровом, но не живущем без Любви. Станислав Айдинян совершил «подвиг» – написал и издал книгу! Когда-то он напишет ещё..? Стихи на страницах – путеводитель по Вселенной, логия для шкиперов с обозначенными по курсу рифамин, мелями, мальстрёмами, ревущими широтами – химерами. Минуя их, войдём в тот Мир, что завораживал Вячеслава Иванова, Андрея Белого, в какой-то мере Николая Гумилёва... Ещё раз полистаем страницы, оставим на руках частички миров, представленных Станиславом Айдинином; запах полиграфической краски, ощущение шершавости страниц на пальцах, возвращающиеся образы грядущего, пронизанного струями согретого солнцем воздуха... Сколько людей, столько и миров. А, может быть, и больше. У Айдиняна их много, и он делится ими, щедро дарит нам их – берите, пользуйтесь, любуйтесь!

*Механика небесных жерновов
Невидимо земле необходима;
И пролетают мимо, сквозь века –
Ночей метеориты-пилигримы.
И музыки расплавленной нутро,
Что через хаос девственно струится,
Мелодию планет переплёт
И Абсолютом солнца воплотится...*

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 01.06.2015 р.
Формат 60х70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 20,39.
Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17